ПЧЕЛЫ

екатерина
нигматулина

18+

Пчелы

Екатерина Нигматулина

Аннотация
Екатерина Нигматулина. Пчелы: [роман]
Пролог. Укус
Глава первая. Синий
Глава вторая. Маточное молочко
Глава третья. Липа цветет первой
Глава четвертая. Мед
Глава пятая. Зимовка
Глава шестая. Соты
Глава седьмая. Опыление
Глава восьмая. Яд
Глава девятая. Шершни
Глава десятая. Воск
Глава одиннадцатая. Танец
Глава двенадцатая. Зосима-пчельник
Глава тринадцатая. Улей
Эпилог. Прополис

Аннотация

В жизни Аглаи, однообразной и предсказуемой, неожиданно появляется «волшебник». Она встречает его на курсах английского языка. Гудвин — блестящий педагог и неординарный человек, непохожий на других. Ему сложно не доверять, им невозможно не увлечься. Только со временем Аглая осознаёт: она одна из многих «пчелок» в его «улье», и у каждой свое предназначение.

Екатерина Нигматулина
Пчелы: [роман]

Мужу, Марине и моей Бабушке

Я молчу. Я восторженно (и, вероятно, глупо) улыбаюсь, смотрю в ее зрачки, перебегаю с одного на другой, и в каждом из них вижу себя: я — крошечный, миллиметровый — заключен в этих крошечных, радужных темницах. И затем опять — пчелы — губы, сладкая боль цветения…

Евгений Замятин. Мы

Погружался я в море клевера,
Окруженный сказками пчел.
Но ветер, зовущий с севера,
Мое детское сердце нашел.

Призывал на битву равнинную —
Побороться с дыханьем небес.
Показал мне дорогу пустынную,
Уходящую в темный лес.

Я иду по ней косогорами
И смотрю неустанно вперед,
Впереди с невинными взорами
Мое детское сердце идет.

Пусть глаза утомятся бессонные,
Запоет, заалеет пыль.
Мне цветы и пчелы влюбленные
Рассказали не сказку — быль.

Александр Блок

Господи Боже и вы, чудотворцы Зосим и Савватий, сохраните и помилуйте мою пчёлку в пасеке от всякого хищения… Полети, моя пчела, на все четыре стороны за жёлтыми восками, за сладкими медами, приноси мёд в свои ульи. Как осётр-рыба бежит в море, так бы ко мне, рабу Божию, летала на пасеку. Как из столбовых рек и протоков бежит сильная рыба в море, так бы ко мне, рабу Божию, моя пчела летала со всех круговерхов, из тёмных лесов, с лугов, с болот, с топей, с чёрных грязей, из чистого поля, набравшись, напившись жёлтыми восками, садилась в свои ульи со всем смиренством, с плодом и с повозом, Господу Богу на славу, а мне рабу Божию, в пожиток, во веки веков, аминь.

Тамбовские губернские ведомости. 1864. № 16

Пролог
Укус

Людус. Эрос. Сторге. Филия. Прагма. Агапэ. Мания.

Мания.

Мания.

Мания.

Аглая сидела на валу. Не плакала. Выпотрошенная рыба, которой тонким острым ножом располосовали брюхо, засунули туда жилистые пальцы и медленно вытащили кишки, не плачет. Умер, поздно реветь. Папа привозил с рыбалки щук, костлявых, серо-бурых, с габсбургской губой, точь-в-точь как у обэжешника. Плотву, смешную, крошечную, с испуганными кроваво-красными глазами. Судака, прозрачного, элегантного, со сладковатым белым мясом, ели первым. Хотелось бы быть судаком, но кого она обманывает? Точно же плотва.

Гудвин выпотрошил аккуратно, нежно, пунктирно, то тут, то там вкалывая анестезию. Нет, нет, потерпи, не больно. Вот так, милая. Хорошо. Никакие они были не пчелы. Рыбешки они,

рыбешки. Пока живые, красивые, извиваются, можно держать в аквариуме, любоваться, вынимать сачком, исследовать, как бьются в судорогах, опускать обратно в воду — дергать за ниточки жизнь. Ах, как славно! Ах, как бесстыдно! Вольно как! А когда рыбы подыхают, жутко же воняют, хочется срочно выкинуть. Рыбы — странные создания, их тело совсем не выносит смерть, не дает времени смириться с ней. Подох — смерди, на большее ты не годишься.

Папа рыб уважал. Гудвин рыб боялся. Слишком близко к смерти.

Пчелы — другое дело.

Только времени у пчелы мало, пол-ложки меда за всю жизнь. Если тебе не повезет, конечно, и ты не окажешься маткой, королевой улья. Но куда ей до матки? Жизнь каждой матки начинается с насилия. Обычная трудовая пчела на такое неспособна. Износишь крылья — становишься рыбкой. А рыбки дохнут и смердят. Неживое вызывает отвращение. Неживое с жизнью несовместимо. В шестнадцать умереть особенно обидно.

Мания. Людус. Эрос. Сторге. Филия. Прагма. Агапэ.

Аглая перечитала написанное в тетради.

Агапэ. Прагма. Филия. Сторге. Эрос. Людус.

Мания.

Острым, заточенным, как жало, карандашом «Конструктор-ТМ» быстро, жадно, безжалостно вычеркнула по очереди.

Агапэ.

Прагма.

Филия.

Сторге.

Людус.

Эрос.

Оставила одно. Надавила на карандаш, начала обводить, но не закончила. Грифель не выдержал, щелкнул: пересох от долгого хранения. Аглая швырнула карандаш в лихорадочно радующуюся жизни мать-и-мачеху. Синий карандаш распотрошил цветы, приземлился чужеродным элементом. На него тут же опустилась маленькая пчела. Рабочая. Не матка. Пчелы всегда летят на синий.

Глава первая
Синий

Десять лет без права выхода досрочно. Аглая зажмурилась. Глаза резало. Нос щипало. Виски колотило. Это еще повезло, что десять. Когда заканчивала началку, грянула реформа образования: четвертый класс исчез, испарился. Бамбара, чуфара, лорики, ерики, пикапу, трикапу, скорики, морики! Явитесь передо мной, летучие обезьяны, заберите четвертый класс в страну черных пчел! Из третьего Аглая пошла сразу в пятый, скрестила за спиной пальцы: вдруг потом можно в седьмой, девятый, а там еще чуть-чуть — и… свобода! Чуда не случилось. Свободы тоже. Чудеса и свобода после развала СССР были по карточкам, как масло и яйца. Скачки во времени упразднили вместе с тетрадками с гимном на задней обложке. Снип-снап-снурре, пурре-базелюрре! Конец сказки. Оле-Лукойе, конечно, посадил тебя у седла, но зонтик открыл нецветной, ярких снов не будет. «В этой стране, как в черной дыре, не действуют ни законы физики, ни здравого смысла», — ухмылялся папа, поглаживая филатовские усы. Папа тогда

еще возил Аглаю на синем мотоцикле «Урал» на дачу — люлька, брезент, ноги упираются в мешок одуванчиков, корм для кроликов (Дед на даче разводит) — и рисовал на ватмане детально проработанную схему жизни пчел — домашка по биологии. Плакат выцвел, но до сих пор висел на первом этаже школы, Аглая так никогда и не призналась, что рисовала не она. Восхищения биологички записала на свой счет, отказываться не стала. Не пойдет же папа рассказывать, чей плакат. Папа уже никуда не пойдет. От него осталась только олимпийская кружка — индийский чай со слоном, кипяток, пять ложек сахара.

— Эй, ты окей? — Наташка тихонько толкнула в локоть. Волосы у Наташки за лето отросли, мама запретила ей до восемнадцати стричься: «У нормальной девочки косы длинные!», прокалывать нос: «Ты как бык, что ли?!» — и краситься: «Интердевочку мне тут не устраивай!» Наташка слушалась: не стриглась, нос не прокалывала, не красилась. Была нормальной девочкой, как-положено-девочкой. Аглая тоже не красилась. Мама ей не запрещала, но пудру Lancome в черной блестящей коробочке с золотой розой-львиный-зев, длинную палетку Ruby Rose с зеркальцем — синие тени вытерты до металлического дна

— и толстенькую тушь Clinique — не осыпается, ресничка к ресничке — запирала в ящике стола на ключ, в ванной не оставляла.

— В порядке. — Аглая разжмурилась. Десять лет. В школе. Может, лучших лет ее жизни. Мысль — звук крошащегося пенопласта. Вероничка, когда слышала, как крошат пенопласт, зажимала уши, шипела на всю комнату: «пш-ш-ш-ш-ш!» — невидимых кошек отпугивала. Десять лет. Все в жопу. Слово «жопа» Аглая никогда вслух не произносила, только про себя, украдкой, как волшебное заклинание, которое точно работает, но что делает — непонятно. Слово «жопа» у Аглаи не выходило как нужно, даже пытаться не стоило. «Здравствуй! Жопа! Новый год!» — нагло, настежь ругалась баба Вася во дворе на постоянно работающий в окне ее квартиры на первом этаже телевизор. То ваучеры для приватизации введут, то Мавроди окажется очередным жуликом. «Жо-о-опа! — растягивал гармонью слово Дед, задерживаясь на каждом звуке. — Только в вашей чертовой новой России жо-о-опа — это не просто часть тела. Такую страну развалили, жо-о-о-полизы американские!» Развал Советского Союза Дед считал своим личным, самым большим и единственным поражением в жизни, событием,

сместившим земную ось и поколебавшим, но не сломившим его веру в советскую утопию и человека. Что тут скажешь кроме слова «жо-о-опа»?! Матом Дед при них с Вероничкой никогда не ругался. «Жо-о-опа» была его Кейптауном, пределом дозволенного, его мысом Доброй Надежды. У бабы Васи и Деда слово «жопа» получалось отлично: тяжело, наотмашь, пощечиной. Слишком жужжащее, слишком твердое, слово «жопа» звонко лопалось пузырем жвачки «Дональд» — лучшие вкладыши-комиксы, самые большие пузыри — во рту, воздушным «А-а-а-а!» оставляя на устах говорящего сладкое, бубльгумное послевкусие недоумения. Бах! Что-то в материи Вселенной при каждой произнесенной «жопе» менялось, это точно. Только вот что? Слово «жопа» жалилось, конечно, но иногда его просто нечем было заменить. Чудеса и свобода по карточкам, жопа в ассортименте. Так и жили.

— Аглая у нас староста класса. Как и в прошлом году. — Ольга Николаевна чуть наклонила голову, ласково посмотрела.

Аглаю было за что любить: ответственная, организованная, отличница. В розовых лосинах в класс не заявляется, ходит в синем трикотажном костюмчике с рынка — пиджачок, прямая юбка

до колена, хлопковые колготки. Всегда аккуратно причесана — хвост или две косички. Родители приличные, интеллигенты, оба Бауманку окончили. Инженеры. Что-то про баллистические ракеты. Девочка с доски почета на первом этаже. Девочка, которая никогда не подведет. На вес золота девочка. Особенно в такие времена, как наше: разнузданное, наводящее ужас, время — исключение из всех правил, время наперекосяк. «Дымом дымится под тобой дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади…»[1], а они все равно есть, эти девочки-отличницы с доски почета на первом этаже. Чудный звон колокольчика.

За спиной Аглаи пискляво хмыкнула Настька. Третья парта у окна, блатная. Аглая пришла в гимназический «А» в пятом, Настька там уже сидела, держала оборону. Аглая попала в пятый «А» случайно. Вера Владимировна поймала ее в коридоре: «Глаша, завтра срочно ко мне в кабинет на тестирование! Хватит тухнуть с бэшками! Преступление не использовать твои мозги». Аглая часто заморгала — она что, тухнет с бэшками? у нее что? особенные мозги? — но на следующий день к Вере Владимировне явилась, тестирование

[1] Примечания: 1
Н. Гоголь «Мертвые души».

написала. Гимназический пятый «А» встретил Аглаю холодно, Настьки-ным смехом, наглым, мучительным, пенопластовым. Они все с первого класса вместе учились. Когда Настька хохотала на весь класс, хотелось ее придушить, но Аглая даже не оборачивалась. Вот еще! Не дождется. Они даже в глаза друг другу не смотрели, знали обе: они из разных никогда не пересекающихся каст, одна — красивая, другая — умная.

— А мы и не против, других желающих нет! — послышался Петькин голос с задней парты на среднем ряду.

Петька за лето вытянулся, отпустил волосы до плеч. Косил под Ди Каприо. Тоже мне Джек Доусон! Лучше бы математику подтянул. Недели не прошло, а он уже двойку схлопотал. Веру Владимировну сложно вывести из себя, спокойная, четкая, сосредоточенная, любимая Аглаина учительница. Но Петька удивительно глуп, настолько глуп, что даже терпение Веры Владимировны сбоит. Она замирает, как суслик, выпучивает глаза и молчит. До десяти про себя, наверное, считает. Раз. Опять домашку не сделал? Два. Как, как можно дроби в десятом классе не знать? Три. Лентяй ты, Петя. Просто лентяй. Четыре. Петя, ты это серьезно? Пять. Еще раз повтори.

Шесть. Восемь на девять — сорок?! Это в какой же системе координат, скажи на милость? Семь. Дурак ты, Петя, дурак. Восемь. Тонкомозглый тупица. Девять. Господи, ну сколько можно! Десять. И-ди-от. Идиот!

— Аглая также отвечает за уборку класса. Не забывайте записываться. Дежурим по двое два-три раза в месяц. Влажная уборка класса обязательна. Моисеев, ты услышал меня? — Ольга Николаевна подняла очки в темной закругленной роговой оправе, точно Людмила Прокофьевна из «Служебного романа», посмотрела на Мишку. Непонятно было, лучше она в этих очках видит или, наоборот, хуже. В ответственные моменты психологического давления или крайней степени экзальтации Ольга Николаевна очки приподнимала, хмурила аккуратно выщипанные брови, по завету Верочки прореженные рейсфедером. Когда же она говорила о Пушкине, очки снимала совсем, клала на стол, прозревала под живительным действием солнца русской поэзии.

— А чего я? Я мыл, Ольга Николаевна! Это, небось, Сморчок не мыл, а свалил на меня, — протянул Мишка и широко, радостно улыбнулся. Мишка единственный в классе улыбался почестному, без задней мысли. Его будто слепили

из пластилина, смешного, игрушечного, чтобы он вот так всем улыбался: просто и честно. Нос картошкой, уши торчат и оттого, кажется, тоже улыбаются. Конопатый Антошка из мультика.

— Миша! — Ольга Николаевна поджала губы, улыбку сдержала, погрозила Мишке пальцем. Нацепила что-я-говорила-про-Сморчка-взгляд, нахмурилась, но глаза не слушались, улыбались.

Ольга Николаевна подняла ключ от класса, трофейно очертила им в воздухе полукруг, положила на Аглаин учебник. Старец Фура торжественно передает ключи от форта Боярд своему Паспарту. Ольга Николаевна похлопала по ключу с учебником, будто успокаивая. Ну ничего, ничего, все будет хорошо, и этих переживете! На обложке русского за десятый класс красная книга пожирала знак параграфа. Пищевая цепочка великого и могучего выглядела неуклюже и жалко. С дизайном в новой стране было плохо. Никак не было. «Спид-Инфо» и учебники, вероятно, верстали одни и те же люди.

Аглая посмотрела на врученный ей ключ, кольцо всевластия местного масштаба. Девчонки опять будут клянчить поставить дежурить с Петькой, будут тайно стирать имена друг друга, вписывать свои.

Грудь у одноклассниц растет, а ума не прибавляется. Аглая послушно кивнула. Да, Ольга Николаевна. Конечно, Ольга Николаевна. С удовольствием, Ольга Николаевна. Классная довольно улыбнулась, поправила кудри. Электробигуди «Локон». Двадцать два рубля. Двести двадцать ватт. У мамы такие: и кудри, и бигуди. Ольга Николаевна забубнила про программу чтения на десятый класс. Островский. Тургенев. Некрасов. Достоевский. Толстой. Осталось отсидеть два года. Два долгих года, душных, тягучих, потных, как спортивная раздевалка. Семьсот тридцать дней минус каникулы. Школу придумали садисты.

Ольга Николаевна стояла у доски, будто в аквариуме, открывала рот, артикулировала хорошо, четко. Можно было не слушать, и так все понятно. Юбка-карандаш, строгий пиджак — все по фигуре, На-стькина мать, швея с золотыми руками и дрянным характером, полгорода обшивает. Овальная брошь, серебряная окантовка, мраморный срез голубого камня. Всю зарплату Ольга Николаевна спускала либо на одежду, либо на собрание сочинений Пушкина с золотым обрезом, двадцать томов. Пушкина привозит Костик с рынка. У Костика можно достать и Пушкина с зо-

лотым обрезом, и энциклопедию «Что есть что?» — «Семь чудес света», «Динозавры», «Крестоносцы», «Рыбы», — и кассеты для видика. Костик — парень предприимчивый и интеллектуально беспринципный. Ты ему говоришь, что тебе надо, он достает. Тут вопрос цены.

Костик единолично управлял книжной точкой у выхода с рынка, носил красную шапку-петушок с надписью «Спорт» и в своем деле пропагандировал идеалы Французской революции — выступал за свободу торговли и самовыражения, за полное литературное равенство. Различий внутри литературной экосистемы Костик не делал, с одинаковым энтузиазмом продавал и Пушкина с золотым обрезом, и любого Толстого на выбор — Толстые в ассортименте, господа! — и «Ночь живых мертвецов» из серии «Библия ужасов», и Говарда Ф. Лавкрафта с голозадой красоткой на задней обложке — очень ходовой товар, и «Тайную доктрину» Блаватской — Вездесущий принцип, космогенезис, слепая материя, шестая коренная раса — тут надо вчитаться, но говорят, это самый верный эзотерический источник. «Нового Кинга перевели», — заговорщицки говорил Костик, поправляя шапку-петушок, и доставал из-под прилавка заветный экземпляр. Стивен

Кинг о своей сумасшедшей популярности в далекой новой стране не подозревал. Как и другие иностранные авторы. А их знали. Знали, любили, цитировали. Переводили на филфаках с энтузиазмом, но наспех, пропуская непонятные слова и целые абзацы: быстрее, Ирунчик, быстрее работаем, народ требует зрелищ. Издавали несметными тиражами в ярких обложках вырвиглаз. Особой популярностью у Костика пользовались новеллизированные фильмы ужасов: «Челюсти», «Чужие», «Кошмар на улице Вязов» с посиневшим, видимо, от подмосковного мороза Фредди Крюгером. Ольгу Николаевну Костик уважал, жалел, относился по-отечески покровительственно. Когда она в своем драповом пальто и шляпе подплывала к прилавку, Костик приосанивался, инстинктивно застегивал зеленую олимпийку Adidas и приседал в некотором подобии книксена. Ольга Николаевна единственная всегда обращалась к нему на «вы». Никто больше так не обращался к нему ни до, ни после. Для всех он был вечным Костиком, а для нее — Вы-Константин. Костик Ольге Николаевне — глаз вырви, а Пушкина с золотым обрезом доставал и наценку делал минимальную, как пацан — пацану.

— Владимир Семенович Высоцкий. — Ольга

Николаевна поправила очки, сложила ладонь в ладонь, сама с собой заключила известный только ей одной договор. — Владимир Семенович Высоцкий. — Пауза. — Величайший поэт-песенник. — Пауза. — Лирик. — Пауза. — Граж-да-нин. — Ударение досталось каждому слогу, получилось не патетически-возвышенное, а бытовое, сплюснутое. Гараж, да, Нин, гараж.

Как только Ольга Николаевна начинала делать паузы, следовало молчать с серьезным лицом, задумчиво кивать, умножать в уме трехзначные цифры, не дай бог засмеешься. Аглая кивала. Папа мечтал о гараже, но никогда так и не получил. «Урал» всегда стоял под окнами. Летом — распахнутый, запрелый, удалой. Зимой — ласково укрытый брезентом и снежным сугробом с Аглаю ростом. «Мы плывем на льдине, как на бригантине, по седым суровым морям»[2].

— Что еще за Высоцкий, Ольга Николаевна? А как же Пушкин?! Я только вашего Пушкина полюбил, а вы какого-то Высоцкого нам! Зачем нам Высоцкий? — подскочил Петька. Петька врал, подлизывался. Не полюбил он никакого Пушкина. Он вообще учиться не любил. Петька

---

[2] Примечания: 2

Колыбельная Медведицы из мультипликационного фильма «Умка» в исполнении А. Ведищевой. Автор текста Ю. Яковлев.

просто знал кнопку Ольги Николаевны — «Урри, где у него кнопка, Урри?»[3] — и давил на нее, как крыска на педаль удовольствия: Пушкин, Пушкин, Пушкин. Петька знал, что делал. Пушкина Ольга Николаевна не просто любила, она его боготворила. И как солнце русской поэзии, и просто как солнце, живительную силу, единственную, что ни разу ее не предала, не оставила. Помогла пережить и Советский Союз, и перестройку, и хлеб по карточкам, и новую, непонятную, смутную Россию, в которой Пушкина можно было достать только у братков. У греков был Гелиос, у египтян — соколиноголовый Ра, у славян — Ярило, смахивающий на Льва Толстого на коне, а у Ольги Николаевны — Пушкин, кудрявый, вечный, никогда не заходящий. Светящийся шар, идеальная сфера горячей плазмы поэзии и магнитных полей прозы. Желтый карлик, метр шестьдесят без каблуков, чуть выше конторки. Центр ее солнечной системы. Черно-белый портрет работы Кипренского Ольга Николаевна вырезала из «Литературной газеты», носила в кошельке, в отделении с прозрачным окошком. Открываешь кошелек, видишь не свою бедность,

[3] Примечания: 3

Из художественного фильма «Приключения Электроника». Реж. К. Бромберг.

а Пушкина с шотландским тартаном на плече, всегда спокойного, всегда идеально одетого, всегда здесь, с тобой, в России, никуда не уехавшего, как Толя — Оля, поехали со мной, здесь ничего уже не будет, здесь будет только хуже, — оставшегося навсегда.

— Не переживай, Петя, с Пушкина мы начнем уже на этой неделе. А Высоцкий, Петя, к твоему сведению, из Пушкина вырос… Может, ты хочешь взяться за подготовку вечера?

Петька сморщил нос, будто стухшие яйца унюхал, замолчал.

— Ясно, Петя, я так и думала. — Ольга Николаевна вздохнула, обвела класс ободряющим взглядом ребенка во дворе, который предложил поиграть в фанты, но знает, никто не согласится, все хотят в казаки-разбойники. — Кто возьмется за Высоцкого?

— Я! — Аглая подняла руку до того, как поняла, зачем она это сделала. Высоцкого пел папа под гитару, собирал стихи, перепечатывал на машинке. Переплетал.

— Умница, Аглая. Спасибо! — Ольга Николаевна вскинула левую руку, костлявые пальцы с перстнями-бородавками приземлились Аглае на голову, слегка с любовью надавили. Рука у

Ольги Николаевны была тонкая, но тяжелая, не выпрямишься.

Запахло можжевельником, защипало щеки. Аглая уставилась в парту. Новая, гладкая, как каток, залитый зимой во дворе. Класс летом отремонтировали средствами родителей. У них теперь лучший в школе, Ольга Николаевна очень своим классом гордится. И Вера Владимировна, и Любовь Степановна, и Михална — все приходят чай пить с кура-бье. Крошки потом не выметешь.

— Аглае нужен соведущий. — Ольга Николаевна высоко задрала подбородок, убрала руку с Аглаиной головы, цаплей пошла вдоль рядов, медленно, зависая, выкидывая вперед длинные ноги. Колготки Golden Lady цвета загар, блестят. Такие на рынке только под заказ, ждать неделю.

— Ребята, активнее! — Ольга Николаевна вытянула длинную шею, высматривала, какую лягушку сожрать.

— Давайте я, Ольга Николаевна! — Олька Воронина. У Ольки собака, колли, и много настольных игр: «Эрудит», «Колесо фортуны» с настоящей рулеткой, «Русское лото». Есть даже «Менеджер» в длинной коробке с мужиком в усах и черных очках. У Аглаи дома не было настольных игр, только карты и шахматы. С Вероничкой они

играли в пьяницу. Вероничка сначала канючит: «Давай поиграем!» — а когда проигрывает, не разговаривает с ней. Пару дней дуется. С Дедом они играли в дурочку. «Я в дурака не играю, только в дурочку», — говорил Дед. С родителями — в преферанс. Раньше.

Кирюша, может, ты? Ты и почитаешь заодно. Твой тембр хорошо ляжет на лирику Владимира Семеновича.

Кирюша — вторая парта справа, в портфеле всегда бутерброд с докторской колбасой — неторопливо встал, согнул голову, будто на полонез Наташу Ростову приглашал.

— Буду рад, Ольга Николаевна!

Кирюша всему всегда рад, на все всегда согласен. Аглая тут же пожалела, что вызвалась. С Кирюшей никто в классе не дружил. Его не трогали, не обижали, но дружить не дружили. Кирюша был чужеродным классу элементом, толстенький, ответственный, в костюме, со старыми родителями. Аглая таких до Кирюши не встречала, не знала, что такие бывают. Мама Аглаю в двадцать четыре родила, и то поздно. А Кирюшу тогда во сколько? В сорок, что ли?! Стыд какой!

— Н-да, не герой романа, сочувственно шепнула Наташка.

— Наташа, ты тоже хочешь? — Ольга Николаевна оперлась о парту, нависла.

— О нет, нет! Я Аглаю послушаю, Ольга Николаевна. — Наташка училась хорошо, по касательной, не напрягаясь. Троек особо не получала, но и за пятерками не гналась. Кому они нужны, эти пятерки?! Наташка мечтала подстричься, проколоть уши и встречаться с Матвеем. Матвей Наташкиного порыва не считывал. Ни совместная уборка класса — я вас поставила вместе на вторник, — ни приглашения на медляки на огоньках — «I follow the Moskva / Down to Gorky Park / Listening to the wind of change»[4] — действия не имели, Матвей относился к Наташке, как к писателям в классе на стене — доска, три гвоздя, чего висят, непонятно, но, вроде, мешать не мешают. Аглая про себя думала, что Матвей дурак, но Наташке не говорила. Просто опять ставила их вместе дежурить.

Высоцкого на трех гвоздях не было. Службу в сентябре несли Лермонтов, Пушкин, Толстой. Остальные ждали очереди в шкафу. Три гвоздя для русских писателей прибил Кирюшин папа, старый еврей с чемоданчиком инструментов и

---

[4] Примечания: 4
Песня «Wind of Change» группы Scorpions.

лысиной. Единственный отец на всех родительских собраниях. Вежливый, седой, покладистый, он сам стыдился, что такой старый, в глаза никому никогда не смотрел и на все, что ни попросишь, соглашался. Ольга Николаевна сразу взяла его в оборот — кто-то должен был прибивать гвозди, заносить парты, чинить постоянно ломающийся кран. Кирюшин папа прибивал, носил, чинил. Ольга Николаевна пристально следила за ротацией русских классиков в визуальном пространстве российских школьников. Раз в неделю снимала левый портрет, протирала розовой махровой тряпочкой — микрофибра, такие только в электричках продают, настоящее чудо инженерной мысли в бытовом хозяйстве — и отправляла отдыхать в шкаф. Писатели рядком послушно передвигались на один гвоздь влево: Пушкин занимал место Лермонтова, Толстой — Пушкина, а пустой гвоздь доставался какому-нибудь Гоголю с немытой головой и каре биологички. У Гоголя был самый хитрый взгляд из всех обитателей стены: будто ему задали учить наизусть «Русь-тройку», а он не выучил. У Толстого — самый суровый, давящий, смотришь на него и сразу понимаешь: в Бога не веришь, а грешна, и грехи свои тебе никогда не отмолить, старухин

у Толстого взгляд был, старухин. У Лермонтова — самый растерянный и обиженный, будто он пытался что-то объяснить всем, да никто не понял. У Достоевского взгляд был стеклянный, пустой, Толстой тебя взглядом сжирал, Достоевский — сжирал себя. Пушкин смотрел устало. Пора уже было на покой, в шкаф, да не отпускают. Он висел над доской чаще других. Ольга Николаевна, в отличие от Костика, эгалитаризм в русской словесности не приветствовала.

* * *

— Ты на английский записалась?

Наташка. Перемена. Подоконник в коридоре. Круглое сухое печенье с названием мексиканского сериала, «Мария». Сериал Аглая с Бабушкой вместе смотрели. Каждый день. «Первый канал Останкино». 19:00. Премьера худ. телефильма «Просто Мария». Мария Лопес с длинными черными косами, подлец Хуан Карлос, красавец Хосе Игнасио, маленький Чучо. Год жизни в Мексике, не слезая с дивана.

— Куда?

— На английский. Курсы открыли, на старой фабрике, в поселке. Там уже полкласса. Я вчера На-стьку с мамашей ее видела. Ты чего все про-

спала?!

Неприятно кольнуло в животе. Опоздала. Всегда обо всем узнает последняя.

— А ты что, записалась?

— Ага, мы с мамой в выходные сходили. Там ничего так. Модно! Парты как в американских фильмах, со столиками!

Наташка пришла в пятом классе, в октябре, сразу после Аглаи. У Наташки был зеленый ранец с котенком по имени Гав и огромный, размером с Наташкину голову, бант. Ольга Николаевна посадила их вместе. Так и подружились. Дружба не по выбору, по обстоятельствам. Вынужденная и крепкая. Когда любить больше некого, любишь еще сильнее, и кажется, что взаправду. Аглая скучала по началке. Понятно, беззаботно, парты-на одного, маленькие, деревянные, одна за другой, как сиденья в автобусе. Аглая, командир октябрятской звездочки, сидела за первой. Толстая Анька Коровина, цветовод, — за второй, соседка по подъезду Тося, санитар, — за третьей, Коля, двоечник-физкультурник, которого Аглая подтягивала вечерами по русскому, — за четвертой. Пятого звена у звездочки не было, хромая у нее была звездочка, ущербная, светила не в полную мощь. Ну ничего! Мы еще посмотрим, кто

план по посещению больных одноклассников перевыполнит, кто больше макулатуры соберет! Аглая отрабатывала за троих, мечтала скорее стать пионеркой, попасть на Красную площадь. Цвета дядиного москвича галстук видела даже во сне. Аленка со двора, дочка Веры Владимировны, на три года старше, галстуком хвасталась. Выходила гулять прямо в форме, после школы не переодевалась. Вытягивала жирафью шею, вышагивала, как петух по двору, била по рукам всех, кто пытался до галстука дотронуться. Вот еще! Брысь, мелюзга! Испачкаешь! Завидовали все: Вероничка, рыжая Олеська, а больше всех — Аглая. А потом всё как всегда. В год, когда Аглаю наконец должны были принять в пионеры, случилась бабы-Васина здравствуй-жопа-новый-год. Пионерскую организацию отменили. Мгновенно. Подло. Втихаря. Аглая долго не могла поверить, а когда поверила — даже Аленка галстук сняла, — схватила прозрачную звездочку с портретом кучерявого Ленина, похожего на Вероничку, запихнула под матрас. Обманул! Лежи под матрасом! Пусть там тебе будет темно, пыльно и обидно, как ей! И пусть тараканы на тебя накакают, и будешь ты весь в черную точку с тараканьей ветрянкой! И я не буду тебя оттирать! И зеленкой

замазывать! Предатель! В пионерскую организацию Аглая больше не верила, разочаровалась на всю жизнь. Но парты все-таки были хорошие, крепкие, на одного парты.

— Ну что, пойдешь? — Наташка доела последнее печенье. У Наташки был хороший аппетит, она в два счета с Аглаиным перекусом справлялась.

— Не знаю, — соврала Аглая, твердо решив идти записываться сегодня же, после обеда.

* * *

— Агуля, ты? — Бабушкин голос донесся с кухни, легкий, ласточкин. Бабушка, конечно, видела ее в окно, весь трехминутный путь от школы прекрасно просматривался с седьмого этажа.

— Я. — Аглая бросила кеды в прихожей. — Дед на даче?

— Так еще утром уехал же. Теплицы закрыть да на участке прибраться. Зима же скоро.

Аглая кивнула сама себе. Это она тоже знала. Она также знала, что убираться Дед, конечно, не будет. Весь день проболтает с Михалычем, так что и Михалыч не уберется.

— Обедать будешь. — Бабушка произносила вопросы про еду с утвердительной интонацией.

Безапелляционно. Заранее сама за тебя соглашаясь.

— Буду. — Аглая с Бабушкой не спорила. Бесполезно.

На плите в большой желтой эмалированной кастрюле с маками кипела картошка, та самая, до горизонта и обратно. Папа оказался прав. Движения Бабушки ускорились. Нагнулась, прищурилась, увеличила газ. Щелк! Взяв полотенце, приподняла крышку. Бом! Крышка музыкальной тарелкой звякнула о кастрюлю. Вода поднялась мыльной пеной, забурлила сильнее. Вот так! Бабушка одобрительно кивнула. Она вела непрекращающийся разговор с едой, как мать с новорожденным, которая знает, что ребенок ответить не может, а все говорит и говорит, задает вопросы, делает паузы, будто ждет ответа. Варюсь, варюсь, Нина Степановна, стараюсь! Бабушка заглянула в сковороду к котлетам. Ладные, ровненькие, как пирожки.

— Картошечку варю. — Бабушка дотронулась до картошки ножом. Не готова. Еще чуть-чуть.

Аглая села в кресло, поджала под себя ноги. Кресло провисло, истерлось до деревянной перекладины. Завалено подушками. Красная с серпом и молотом, жесткая и тяжелая, каменная, внизу,

на ней — черная, изъеденная молью, с вышитыми жостовскими цветами. Мягко не было, было ровно. Дед не разрешал выбрасывать старую добротную советскую мебель. При любом упоминании хватался за сердце, ложился на диван умирать.

— Свеженькая, молодая! Только из погреба принесла! Своя, кожица прям под водой сходит. Хороша уродилась!

На картошке Аглая видела папу в последний раз, собирали урожай уже без него. Дядя Валера помог. Аглая хорошо запомнила последнюю картошку. Будто кто-то невидимый, всезнающий предупредил: запоминай, это важно, Аглая, нужно запомнить. Она запомнила, как вылезла из синего…

Аглая вылезла из синего мотоцикла, аккуратно проеденного по швам ржавчиной мотоцикла — Вероничка так обгрызала Бабушкины ватрушки: тесто обкусает, а творог оставит — и потянулась. Сидеть в железной люльке «Урала», похожей на космическую капсулу, приходилось поджав ноги и до подбородка натянув на себя брезент. Дует. Забудешь завязать волосы — в жизни не расчешешь. Бабушка и та не справится. А она даже жвачку у Вероничи из волос выковыряла

так ловко, не пришлось отрезать клок. Вероничка выла, Бабушка спокойно чесала, нараспев приговаривая любимое: «Терпи, казак! Атаманом будешь!» Когда Аглая была маленькой, часть про казака поняла сразу, Дед ей про казаков рассказывал. У них усы как у моржей, и они всё на свете умеют. А вот кто такой атаман, не знала, слышалось «а то мамой будешь». Получалось: родишь, жизнь закончится. Пупса, подаренного бабой Надей, Аглая терпеть не могла, засунула подальше в шкаф, не играла.

Майские выдались холодные, но без снега. Надели огородное, поехали сажать. Растянутый мамин свитер с полосками на рукавах (румынский, считай — вечный, тетя Зоя донашивала за Бабушкой, мама — за тетей Зоей, Аглая — за мамой, потом Вероничке перейдет), лосины цвета морской волны (блестящие были, да все истерлись, только на картошку и годятся теперь), кеды «Два мяча», как у Электроника (почти новые, папа их сносить не успел, нога быстро выросла, баба Надя запрятала на антресоль, гордо вручила через много лет Аглае со словами: «Никогда ничего не выбрасывай, поняла меня?!» Аглая поняла, не выбрасывала).

Родители исчезли в вагончике, загремели

железными ведрами, доставали, расставляли, насыпали. Всё делали молча. Поругались утром. Мама что-то сказала про рыбалку. Папа что-то буркнул про работу.

Повинность сажать картошку, пропалывать, собирать колорадских жуков Аглая несла стойко. Тут все было просто и понятно. Ешь значит копаешь. Зато на картошке они всегда устраивали пикник. Голубое хлопковое покрывало в цветочек с бельмом облепихового варенья (Бабушка отстирывала, отстирывала, да не отстирала) расстилалось у бытовки. Дом строить денег не было, Егорыч подогнал списанную «буханку». У «буханки» сняли колеса, поставили на полозья от огромных саней, густо закрасили синей краской. «Буханка» ослепла почти полностью, было не видно ни фар, ни лобового стекла, только сзади два маленьких решетчатых окошка оставили зрячими. Егорыч припаял на них железные прутья — залезут еще! Не «буханка», а сани Деда Мороза, переделанные в карету скорой помощи. Фургончик Элли. Аглая его побаивалась. Унесет еще ураганом.

Вспотевшая в фольге картошка в мундире важно водружалась посередине покрывала. Радом — сваренные вкрутую яйца с синей каемкой

вокруг желтка (Бабушка боялась сальмонеллы, меньше пятнадцати минут не варила), корочки душистых сладких сушеных дедовских яблок (не отгрызть, в чае вымачиваешь), батон из пекарни, утром только испекли, еще, кажется, теплый, но самое главное — Twix, Snickers, Milky Way из ларька на Первомайке, мама купила. И всё ей, Аглае, одной! Хоть объешься!

Аглая перепрыгнула канавку, посмотрела на десять бескрайних соток. Когда-то их было шесть. Папа с настойчивостью, достойной советского инженера, покоряющего атом, припахивал каждый год новые владения: чуть-чуть, и еще немного, и еще чуточку. Со Степаном, горбатым трактористом, они действовали дружно, слаженно, тихой сапой осваивая подмосковные почти канзасские степи. Папа привозил Степану рижские шпроты и водку, Степан папе давал добрые советы: «Не наглей, Мартыныч! Борозду чуй! Борозду!»

Пахло свежей землей, дождем и майскими жуками. Мускулистое, вспаханное Степаном на прошлой неделе черное поле жадно предвкушало наживу.

Принялись за работу. Папа копал лунки, крепкие руки с легкостью управлялись с лопатой. Вонзить, поднажать, выкинуть. Вонзить, подна-

жать, выкинуть. Мама на карачках следовала за папой по пятам. Ведро пушистой белесой золы, мешок с удобрением, выцветшая на солнце кепка. Родители работали синхронно, слаженно. Прямо как Аглая с Аленкой, когда они через скакалку в детстве прыгали. Роза, береза, мак, василек! Алка, фиалка, красный цветок! Никого лучше них во дворе не было. Они прыгали прямо и задом, одинарным прыжком и двойным, скрестив руки на груди или держа их сзади, на месте или с разбега, по одному или вдвоем, через две связанные скакалки вместе или через две вращающиеся в разных направлениях. Скакалка чеканила асфальт, а они громко считали. Давай! Слабо десять раз по десяти?! «Весна, весна на улице, весенние деньки! Галдят грачи на дереве, гремят грузовики»[5].

Аглая от мамы и папы отставала, волокла за собой ведро сморщенной бородавчатой семенной картошки, вздыхала, кидала в золу. «Ровнее! Глубже!» Папа иногда останавливался, ставил на лезвие резиновый сапог, закуривал, оценивал работу дочери, говорил только два слова: «Ровнее!», «Глубже!», будто русский был у него не родной и

---

[5] Примечания: 5
А. Барто «Веревочка».

выучил он только эти два слова по острой необходимости. Руки двигались механически, зола прилипала к пальцам вместе с мокрой землей. Тело быстро вошло в ритм. Ровнее, глубже, ровнее, глубже. Время растягивалось. Заныла поясница. Аглая вытерла пот со лба синим рукавом, подняла глаза на папу:

— Долго еще?

— Только начали. — Папа не остановился, ткнул пальцем вверх: — Горизонт видишь? Вот дотуда и обратно. Так три раза.

Аглая вздохнула как подросток, презрительно, тяжело, безысходно. Папа только отмахнулся, будто Аглая — слепень. Зачем спрашивала? Ответ всегда один и тот же. До горизонта и обратно, а потом еще раз, и снова. Участок у них был неровный, холмистый. Ровного папе не хватило. Когда участки распределяли, он еще майора не получил. Чтоб этот Степан провалился со своим трактором! Линия горизонта уже была где-то в царстве Бастинды или Гингемы.

— Скоро устроим перекус, давай, один рядочек еще. — Мама высыпала остатки золы из ведра, пошла набирать новое.

— Лучше бы дома осталась, — буркнула ей вслед Аглая.

— И что дома сидеть, штаны просиживать?! Лучший отдых — смена деятельности. Я посмотрю, как ты потом эту картошечку будешь уминать.

— Ненавижу картошку, — соврала Аглая. Только картошкой она и питалась. Картошка, огурцы, котлеты. Все. Больше она ничего не ела. Зачем? Нет ничего вкуснее Бабушкиной жареной картошки. Ни-че-го на свете. Сливочного масла Бабушка клала от души, щедрый шматок. Набирала подтаявшее жирное масло столовой ложкой, шлепала на сковороду, улыбалась, щурилась, повторяла священнодействие еще раз. Картошку резала ровными брусочками, заговаривала заклинаниями, кидала в шкварчащее масло, ждала, мешала, отскребала, солила. Никто так не умел. У мамы картошка выходила клеклая, потная, недожаренная, у Бабушки — хрустящая снаружи, мягкая внутри, идеальная. Отскребаешь от сковородки корочки и ешь с горячим черным хлебом и дедовскими пупырчатыми колючими огурцами. Счастье! Бездомным голодным котярой заурчал живот. Аглая приложила руку, погладила. До горизонта и обратно, до горизонта и обратно. Ведро пустело. Солнце в мае выдавало тепло дозированно, тебе чуть-чуть и тебе немного. Ровнее! Глубже!

Ровнее! Глубже! Загромыхали пустые ведра, мама перевернула, поставила табуретками. Аглая подняла глаза. Голубое покрывало судорожно вздрогнуло в маминых руках, ковром-самолетом опустилось на землю. Горизонт!

— Обедать! — Мама помахала полуоткушенным огурцом.

Аглая прищурилась, сглотнула слюну, спотыкаясь, бросилась вниз к вагончику. Пикник!

Сонно, устало загудел под плечом холодильник. Горизонт видишь? Вот дотуда и обратно. И так три раза. Когда они вернулись домой, папа сказал, что очень устал, сразу лег спать, не ужиная. А на следующий день не вернулся с работы. Просто больше никогда не пришел.

Холодильник вздохнул, замолчал. Аглая открыла глаза. Кухня была крошечная. Вокруг стола — узкий п-образный проход. Дед пролезал только боком, папа с мамой расходились живот к животу, не смотря в глаза. По стенам — ящики, деревянные, зеленые, покоцанные. Мелок «Машенька» оставил на них индейский боевой раскрас, призванный оказывать психологически-химическое давление на тараканов, устрашать. Тараканы мелка «Машенька» не боялись, так, классики на асфальте, лабиринт. В ходе

непрекращающихся боев с Бабушкой они своих позиций не сдавали. Непонятно было, кто к кому в квартиру забрался: тараканы к Бабушке или Бабушка к тараканам. Аглая отработанным, верным, передающимся из поколения в поколение движением снимала с ноги тапку. Хлоп! Жидкое, хрусткое тараканье тело лопалось, щелкнув, как раздавленный подошвой молодой желудь. Но тапкой всех тараканов не перебьешь. Тараканы быстро бегали и плодились. С ними пришлось научиться жить. Тут главное было не отступать от правил, соблюдать кодекс. Идешь ночью на кухню воды попить, перед тем как щелкнуть выключателем, не забывай зажмуриться и досчитать до десяти. Забыла зажмуриться — твоя вина, стой смотри, как тараканы разлетаются по кухне рыжими семечками из переспелого, лопнувшего на асфальте астраханского арбуза. И не визжи, не визжи! Всех перебудишь!

Окно. Квадратный стол, красно-белая клетчатая клеенка со шрамами. Папа забывает… забывал взять доску. Отрезал хлеб прямо на клеенке. Мама на него ругалась. Бабушка его жалела. Устает же. Что поделаешь. Две табуретки по кругу, один стул. Плита — белая, толстобокая, чугунная. Мойдодыр из мультфильма. Так и ждешь, что плита-Мойдо-

дыр сейчас протянет тебе кусок душистого мыла, звонко хлопнет дверцей духовки и крикнет свое: «Кара-барас!» Мама хотела плиту поменять, Бабушка не разрешала. Понятно почему. Плита, как дворовая собака, разрешила себя приручить только одному человеку в семье, Бабушке. Выбрала себе хозяйку. Шла рядом. Рычала на посторонних. *Родненькая* для Бабушки, для всех остальных она была *плитой-убийцей.* Когда Аглая с Вероничкой пытались испечь безе, духовка пережевывала пышное белое облако белков, выплевывала коричневыми коровьими лепешками, растекающимися по противню. Когда мама пыталась приготовить на Новый год курицу, толстая тушка скукоживалась до размеров голубя. Когда тетя Зоя пыталась затеять пирожки, тесто в них всегда наполовину оставалось сырым, липким. «Вы с ней ласково, ласково…» — объясняла Бабушка, хитро улыбаясь. Знала — ни у кого терпения с ее плитой не хватит. Бабушка до миллиметра рассчитывала поворот тугих ручек конфорок: замирала, прислушивалась, кивала, как Трейси Уитни со стетоскопом, вскрывающая очередной сейф. Никто так не умел. Плита — злобная скатерть-самобранка из «Чародеев» — тут же в ужасе бормотала: «Ой, батюшки, не признала! Сейчас!

Сейчас! Не извольте беспокоиться!» Безе Бабушке выдавала белое и твердое, курицу — сочной и мягкой, пирожки — ровно пропеченные, никаких жевательных проплешин.

На стене напротив окна — бабушкин сундук с сокровищами, единственное место, куда никто не смел без ее разрешения лазить. Личное пространство советскому человеку не полагалось. Бабушка это уважала, но ящик на кухне себе отвоевала. Деревянный, пузатый, с красной курицей на крышке-гармошке. Хранила в нем самое сокровенное. Кожаный венгерский кошелек, Дедов подарок на рождение тети Зои, с фотографиями Аглаи и Веронички из садика. Аглая в голубом платье, с большим розовым бантом на макушке. Бант был не ее. Бант на заколке прикалывали всем девочкам по очереди, чтобы было красиво и честно. Вероничка — надутая, как хомяк, в красном платьице, с мишкой в руках. Мишка тоже не свой, садовский. На верхней полке ящика Бабушка хранила рецепты на длинных желтоватых перфораторных карточках с бледными рядами единиц и нулей. Мама приносила списанные карточки с работы, из вычислительного центра, Бабушка переписывала на них рецепты из толстого «Домоводства», от тети Зои и из программы

«СМАК». Вьетнамский бальзам «Звездочка» в красной жестяной баночке-пуговке. Мятный гвоздично-эвкалиптовый запах. «Звездочкой» мама мазала виски от мигрени, папа — сигареты, получались с ментолом, Бабушка растирала Аглае и Вероничке пятки, когда девочки сопливели зимой, и укусы комаров летом, Деду лечила поясницу от ревматизма. Склянка с крышкой, заклеенная толстым белым пластырем, Бабушкин размашистый почерк: «45 % спирт». Друг мамы, хирург, доставал. В спирт обмакивали обмотанный тряпкой факел — ставили при кашле банки на спину. После банок спина была лошадиная, в яблоках.

— Тебе котлетку свеженькую, только поджарила, или сосисочку?

— Котлету. — Аглая из сосисок выросла, раньше любила. Молочные. Розовыми змеиными кольцами аккуратно сложенные в пакете. Тетя Зоя всегда привозила. Бабушка разрезала сосиски на кругляшки, кладом закапывала Аглае и Вероничке в пюре.

На кухонном подоконнике толкались голуби, серые, напуганные. Точь-в-точь тетки в тревожной очереди за сосисками: выпученные глаза, мелко кивающие головы, вечный вопрос в глазах.

Что дают? По сколько дают? Вы последняя? Я за вами! «Весь подоконник засрали!» — ругалась мама. «Так тоже ж живые, есть хотят», — пожимала плечами Бабушка.

— Что в школе? — Бабушка перевернула котлету.

— Вот пойду на английский. На фабрике курсы новые.

— На фабрике? Это где тетя Фекла работала? — Бабушка развернулась к Аглае, выпучила глаза, склонила голову набок, стала похожа на сидящего на краю крыши голубя. — Далеко ж, в поселке. — Бабушка обняла крышку кастрюли полотенцем, взяла за ручки, слила. Из раковины вхолостую повалил пар — над таким дышишь, накрывшись полотенцем, когда кашляешь. Толкушка мерно заработала, шматок сливочного масла, щепоть соли, еще шматок масла.

Гааза у Бабушки были синие. Аглае такие не достались, и Вероничке не достались. Ни маме, ни тете Зое, никому. Себе их Бабушка оставила, как кухонный ящик с курицей, дочкам и внучкам не передала.

— Мы с Наташкой ходить будем. Вместе.

Бабушка поджала губы, медленно и громко выдохнула.

— Достань масла еще.

Аглая поднялась на коленях на кресле, открыла холодильник, достала пачку «Анкор», протянула Бабушке. Бабушка одобрительно закивала. «Анкор», чудо молочного производства: желтое, жирное, живое, как в детстве, когда масло подпольно у бабы Васи из железного ведра покупали. Дед списывал поганое масло начала 90-х на развал СССР, как, впрочем, и все остальные мировые беды и кризисы. Бабушка только хмыкала. Она бы, не задумываясь, обменяла и паспорт СССР, и паспорт новомодной России на большую пачку добротного новозеландского масла в пятьсот граммов. Бабушка вообще ни в какую власть не верила, но ни с кем не спорила. Кивала и Деду, не терявшему надежду на светлое коммунистическое будущее, и дяде Валере, попавшему под чары Жириновского — четкий человек, пророческие вещи говорит, и папе, который голосовал за «Яблоко», партию ценностей и принципов. С ними, Агуля, давно уже все ясно, одно слово — бесы. Не хочу на них время свое тратить, дьявола прикармливать. У меня вон тесто простаивает.

— С Наташей — это хорошо. Всё не одна… А то на фабрику-то страшно, далеко. Но ты учись, Гуленька, учись, свободной будешь. Вот я недо-

училась, всю жизнь…

Что всю жизнь, Бабушка не договорила, достала тарелку с Курочкой Рябой, детскую, любимую. Круглая баба в платке, рыдающий дед в синей рубахе, коричневая курочка. И дед, и бабка, и курица вытерлись, стали бледными, как само детство. Бабушка закапывала в эту тарелку Аглае сосиски: «Ко-ко-ко, ко-ко-ко / Не ходите далеко / Лапками гребите / Зернышки ищите! Курочку спасите!»[6]

Бабушка положила три ложки пюре с горкой, гордо флагом на Эверест водрузила сверху котлету.

— Давай за стол. — Бабушка помедлила секунду, пододвинула тарелку к месту у холодильника. — Давай, давай, — махнула рукой, будто не Аглаю звала, а мошкару отгоняла.

У окна в обед сидел папа. В васильковой милицейской рубашке. Каждый день приходил домой обедать. Тарелка Бабушкиных домашних пельменей, ломоть хлеба, чашка чая с пятью ложками сахара. Мама ругалась, что никто пельмени с хлебом не ест. Папа ел. Но где-то в другом месте теперь. Дома он не обедал. Где он обедал или хотя

---

[6] Примечания: 6

Из песни «Цыплятки» («Вышла курочка гулять…»). Автор текста Т. Волгина.

бы где он теперь жил, Аглая не знала. Никто не говорил. Она не спрашивала. Папа заведовал отделом расследований в милиции. Все время пропадал на участке. Единственный оказался с высшим образованием, его сразу стали продвигать. С каждой новой звездочкой на погонах приходилось все больше работать и еще больше пить. Будучи майором, папа неплохо держался. Не спиться ему помогала активная социальная и спортивная жизнь: он тренировал местную футбольную команду «Динамо», ездил на рыбалку и зимой, и летом, на местном телевидении вел программу «Исторические заметки», где воодушевленно пересказывал Соловьева, Пикуля, Стругацких. Аглая не сразу заметила, что папа с ними больше не живет. Он все время уезжал куда-то. А как заподозрила — рыбалка все-таки две недели длиться не может, — было уже неудобно спрашивать. Столько времени прошло. Да и у кого? Мама с Бабушкой упорно делали вид, что ничего не случилось. Всё как всегда. Папу они не упоминали. Аглая начала сомневаться, что он вообще был.

— Спасибо. — Аглая вымазала остатки картошки черной горбушкой.

— На здоровье! Агуля, ты в поселке мне смотри

поаккуратнее, ни с кем незнакомым не разговаривай, в машины чужие не садись! Если что, громко кричи и беги. Поняла меня?

Аглая все прекрасно поняла. Как Союз развалился, мир перестал быть безопасным. «В подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок..»[7] Аглая взяла в коридоре пожелтевший телефонно-адресный справочник, открыла карту. Весь город помещался на одном развороте. Город человеческого размера, как говорил Дед, не то что ваша Москва. Центр с валом. Первомайка, улица Горького, железная дорога, спальные районы, Пименовка, Горводокачка, Турбаза. Мама мечтала, что им дадут свою квартиру на Турбазе, так и не дали. Жили с Бабушкой, зато почти в центре. Аглая отыскала адрес заброшенной носочно-чулочной фабрики: Третья Садовая, 34/2. По Горького вверх, на холм. Тетя Фекла там тридцать лет проработала, пока фабрику не закрыли в перестройку. У них на фабрике жил кот Носок. Носок был полосатый и все время спал в кресле директора. Тетя Фекла его себе домой забрала, как их всех сократили.

---

[7] Примечания: 7

Песня «Утекай» группы «Мумий Тролль». Автор текста И. Лагутенко.

* * *

Бесчувственный подмосковный бог разрезал год на месяцы впопыхах, покромсал кое-как да и бросил. И так сойдет! Лето беспомощно хватало ртом воздух, пытаясь слепо нащупать так и не выпавшую кислородную маску, уже в августе. Зима крепла весь октябрь, а к началу ноября бабой Надей бесцеремонно вваливалась в город, усаживалась пышным снежным задом, сидела до апреля, даже не думала вставать. Вечно всем недовольная, вечно всех критикующая, беспросветная и холодная. Все черт-те как, неровно, негладко, прыщевато. Швы было видно, нитки торчали. Трудовичка бы за такую работу влепила трояк. Кто так швы строчит, Дымова? У тебя откуда руки, прости за вопрос, растут?! По мнению трудовички, руки у нее росли из той самой метафизической жопы. Ну и пусть! Она любила все это, природное, дурно скроенное, наспех сшитое, рукотворное.

Любила воробьиную весну. Простыни горькой черемухи, про которые папа пел под гитару. Лилово-миндальный запах кудрявой сирени. Бабушка непременно наломает охапку во дворе, засунет в водку настаиваться, потом им ноги с Вероничкой

растирает, когда болят. Венки из одуванчиков. Руки плетут венок сами, как волшебное веретено: скрестить, обернуть, продеть, скрестить, обернуть, продеть, и вот у тебя на голове уже горько пахнущий венец-оберег, никто не тронет!

Любила короткое, но такое длинное, сладко-медовое лето. Пряное, легкомысленное, свободное. Все можно! Всё жизнь! Хоть целый день на улице! Бегай в казаки-разбойники, гадай ложные стрелки! Прыгай в козла в торце дома. Мяч летит высоко, выше всех! Закапывай секретики под изумрудным бутылочным стеклом — маргаритка, бусинка, блестящий фантик от конфеты! Прыгай до ночи в резиночки — пешеходы на первых, пешеходы на вторых, двадцать по два на третьих, а четвертые — четвертые только Аленка прыгает! Устраивай магазин на лавочке: «Вот, купите огурцы-осиновые-сережки! Только привезли! Или не желаете свежего печенья из подорожника?» Все коленки в зеленке, разодраны до кости, и абсолютное счастье, про которое, как про секретик под березой, сладко вспоминаешь весь год.

Любила связанную крючком тягучую белую зиму, когда думаешь, что лета-то никогда и не было и, наверное, уже не будет. Зима вечная. А потом выйдешь во двор, а дядя Стёпа немили-

ционер с папой залили ночью каток, гладкий, сияющий, новенький! Черт, коньки с антресоли! Быстрее! Дед, быстрее, неси табуретку, я хочу быть первая!

Любила разнузданную рыжую, заштопанную кленовыми заплатками осень. Особенно сентябрь. Как сейчас. Прелый, бисерный, одержимый своим скорым концом и оттого буйный, страстный, живущий в первый и в последний раз. Осень еще была совсем одета. Не просто одета — разряжена, яркой куклой-чайницей в золотом кокошнике, в пышной красной юбке, в белой сорочке, сложив на груди руки, восседала, улыбалась. Суставы кленовых листьев, жирные, прочные, еще верили, что жизнь навсегда, что смерть придумали завистники, что нет ее, смерти, держались за ветки, шептали друг другу во сне: «Не отпущу! Не отпущу! И ты меня не отпускай!» Сентябрьский терпкий морок заставлял их верить, что это навсегда, и нет, нет, именно их дерево никогда не опомнится, не проснется, не отряхнется только выбравшимся из речки псом. Да, они вечные, и ты вечная.

Пустынная улица Горького была засажена каштанами. До фабрики можно было добраться и по местному Арбату, Первомайке, широкой,

пешеходной, шумной и нарядной. Но Аглая Первомайку не любила, как московский Арбат. Ездили они на Арбат с классом. И что? Толпы туристов, вымпелы с предателем Лениным, ободранные пластиковые складные столы с коврами вдоль всей улицы, кроличьи шапки-ушанки, голодные бродячие собаки, пошлые матрешки с лицами костюмных мужиков, военная форма. Даже медали продавали. Те самые, что Дед, высокий, гордый, красивый, надевал каждое Девятое мая на синий китель. Аглая с Вероничкой любили медали рассматривать и про каждую истории слушать. «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». «За взятие Вены».

Юбилейные. «Двадцать лет Победы». «Тридцать лет Победы». На Арбате медали на пластиковых складных столах выглядели невпопад, безжизненно. Понимали, что не место им тут, но ничего не могли поделать. Такая судьба. В Москву Аглая ездила с классом регулярно, в театр, повышать культурный уровень. Культурный уровень повышался вяло. Подмосковным школьникам доставались билеты на самые тягомотные, тухлые спектакли, на которые москвичи сами не ходили. Режиссерам было скучно их ставить,

актерам скучно играть, детям скучно смотреть. Аглая смирилась: театр — это мешок, школьники — опилки. Аглая в Москве любила только метро. Мраморное, широкое, со сладко-мазутным запахом шпал, железа, туннельной пыли. Запах хотелось втянуть носом, наполнить им легкие, живот, задержать дыхание, нюхать по чуть-чуть, чтобы до следующей поездки хватило. Аглая страшно завидовала тем, кто живет в Москве и нюхает метро каждый день.

По левой стороне Горького скалились беззубые двухэтажные бараки, страшные, грязные, с осыпающимися штукатуркой фасадами. В одном из бараков жила Настька, Наташка рассказывала. Аглая держалась от бараков подальше, шла по правой стороне, парадной: гастроном, школа, панельки. Панельки. Так их нараспев называл Дед, ласково, нежно, по-детски. Панельки Деда любили, верили ему. Нет, мы не безликие, серые, тонкокожие коробки. Мы детские разноцветные карамельки, панельки-карамельки. Снежок с хрустящей начинкой, кислый «Дюшес», коралловые барбариски, «Раковые шейки», пугающие тебя своим названием, а на самом деле звонкие, сладкие, миндальные. Деда комиссовали после службы в Венгрии, дали в панельке квартиру,

свою собственную, без подселения, большую, пятьдесят два метра, трехкомнатную. Там они все до сих пор и жили, в панельке-карамельке: Дед, Бабушка, Аглая, мама и… всё. На каникулы приезжала Вероничка. На праздники — тетя Зоя и дядя Валера. А летом с мешками неправдоподобно жирных семечек размером с глаз Дедовы родственники из Новоанновки. Квартира всегда всех размещала, магически расширяла пространство.

На торце панелек то тут, то там возникали гигантские мозаичные панно с героями русских сказок: Красная Шапочка, Конек-горбунок, Репка, Золотая рыбка, Гуси-лебеди. Левиафанские, пышные, блестящие. Аглая тянула Деда за руку, чтобы пойти долгим путем с лягушатника, посмотреть. Улице Горького в причудливой лотерее распределения мозаик достался Колобок. Лыбящаяся лиса-мутант, радостный зубастый (почему зубастый?) Колобок, точь-в-точь Кирюша, косоглазый заяц-переросток размером почти с волка, жалкий, совсем не страшный волк.

Поселок на окраине города начинался сразу за окружной дорогой, на холме. Панельки там не строили. Вдоль широкой пыльной дороги нахохлившимися курами, как на насесте, дремали частные дома. Деревянные заборы, желтеющие

кусты сирени, покосившиеся облупленные табуретки. На табуретках, закинув ногу на ногу, курили мужики. Резиновые сапоги, семейные трусы, расстегнутые до солнечного сплетения растянутые мятые рубашки, униформа закольцевой дороги. Такую в универмаге не купишь, требуется лет пять активной носки, еженедельная стирка в «Вятке»-автомат и месяцы пропалывания огородных грядок.

Наташка сказала, третий поворот. Щебень пылил кеды. Асфальта в поселке не было. Откуда? В городе все дороги в колдобинах, кто ж в поселке будет асфальтировать?! Аглая поежилась. Неуютно, одиноко, как за гаражами. Первый поворот. Второй. Третий.

Шарахнулась.

Дорогу перегородила жирная дерганая птица с головой кэрролловского додо и туловищем распухшей до размеров бочки черной курицы Погорельского. Хозяйка переулка Аглае не обрадовалась, мотнула свекольным ожерельем, бородавчатым, доисторическим, взвизгнула, вскинула мощные крылья, махнула, да так сильно, что волна пыльного воздуха ударила голые коленки. Черт! Сейчас цапнет! Птица гугукнула, подскочила, как ниндзя, выкинув вперед креп-

кие ноги в бархатных бриджах. Почти достала. Вот же! Аглая успела отпрыгнуть, не завизжала, только руки отдернула, будто обожглась. За спиной от души заржали мужики на табуретках. Птица застыла, сделала шаг назад, склонила набок слишком маленькую для столь упитанного тела голову в голубой маске, уставилась Кашпировским, глаза в глаза. Секунду помедлила, тряхнула хвостом — японским веером, нервно, ритмично выкидывая вперед шею, заверещала: «Вон! Вон! Во-о-он!» Господи! Это же царица мясного отдела гастронома тетя Галя! Ночной кошмар города. Аглая моргнула, ринулась вниз по переулку. Ни разу не обернулась. Оказавшись у фабрики, лихорадочно дернула скрипнувшую железную калитку, влетела во двор. Сердце колотилось, будто она у тети Гали палку Клинской сырокопченой колбасы стащила и удрала. Мужики остались далеко. Только их ржач до сих пор раздавался в голове. Перевела дух, выглянула за решетку. Птица и не думала за ней гнаться, довольно прохаживалась туда-сюда. Отвоевала.

* * *

Двухэтажная носочная фабрика, заброшенная после развала Союза, удивительно хорошо сохра-

нилась. Выстояла. Ее не разобрали, не зассали, даже стены разрисовать из баллончика — современное искусство зрело под кожей страны, как чирей, много лет и наконец лопнуло, разлилось гноем граффити — не успели. Чистое, ладное двухэтажное здание из красного кирпича. На крыше — вышка сотового оператора. В городе появился новый доходный бизнес — сдавать помещения. Сдавали всё, от подвалов до пожарных лестниц. Снимали тоже всё. Вот и крыша кому-то пригодилась.

Железная дверь. Все, у кого хватило денег, такие поставили. Развал Союза открыл портал святочной нечисти. Ответственный за закрытие портала, видимо, эмигрировал куда-нибудь в Германию или Израиль вместе с ключом. Спившиеся ведьмы, оборотни-наркоманы, черти-домушники, ветшицы-цыганки, шаликуны-мошенники теперь бродили по русской земле ошалелые, опьяненные, не соблюдая ни графика литургического календаря, ни субординации. Свободы всем даром и пусть никто не уйдет обиженным!

Фабрика, снаружи скучная, привычная, советская, внутри обернулась Царевной-лягушкой. Не узнал меня, Иван-царевич? Met you by surprise. Не фабрика, а французский коллеж, столь же ска-

зочный, как и тридевятое царство. I didn't realize. Тот самый, в который ходила Вик из «Бума». That my life would change forever. Белые стены. Запах свежей краски. Dreams are my reality. Яркие плакаты-постеры. The only kind of real fantasy[8]. Пробковые доски с объявлениями. Аглая вертела головой, как в парке Горького. Она что, в кино?

— Ты новенькая? — Маленькая юркая женщина со вздернутыми, удивленными густыми бровями и массивным коралловым ожерельем поверх темносинего костюма-двойки окликнула Аглаю. Не дождавшись ответа, представилась: — Светлана Сергеевна, администратор, завхоз. Зови меня тетя Света. Меня все так зовут. А ты?..

Аглая.

— Глаша, значит! Глашенька, давай. — Тетя Света кивнула на длинный темный коридор: — Тебе сначала вон в тот кабинет, к директору. Он тебя протестирует, а потом сразу ко мне, выдам учебники, расписание… Парамонов, стой! Опять без сменки?! — Тетя Света сделала большие глаза, отчего ее брови подпрыгнули до линии волос, еще раз кивнула Аглае на темный коридор и бросилась догонять кучерявого мальчика, удира-

---

[8] Примечания: 8

Песня «Reality» Ричарда Сандерсона, вошедшая в саундтрек фильма «Бум» (1980). Реж. Клод Пиното.

ющего на второй этаж.

Аглая сглотнула, потерла запястье. Сменку забыла. И про тестирование Наташка ничего не говорила. Она же не готовилась совсем. Английский за пять лет обучения в школе далеко от «Hello, my name is Aglaya! Nice to meet you!» не продвинулся. Уроки вел Крот, угрюмый, молчаливый, с крошечными впритык посаженными глазами и острым носом. Крот ходил в одном и том же сером пиджаке, пах скисшим супом, на уроках не разговаривал. И они не разговаривали. В начале урока Крот задавал переписать очередной текст «London is the capital of Great Britain» из книжки топиков в тетрадку, а сам молча, близко поднося к мышиному носу листок бумаги, выводил муравьиным почерком на доске иероглифы транскрипции, которые никто не понимал, даже он сам. Своего кабинета у Крота не было, занимались в коридоре, рядом с трудами. В полной тишине. Молчишь, переписываешь — получаешь пятерку, болтаешь — схлопочешь кол. Крот единственный в школе использовал систему оценивания на полную катушку: от единицы до пятерки, по колено и без того скудную советскую пятибалльную шкалу не рубил. Другие учителя ниже тройки никогда не ставили. Жалели, на-

верное, да и валандаться с второгодниками не хотелось. В кротовой коридороноре всегда стояла идеальная тишина. Даже Настька не хихикала. Как корова, медленно двигая мощной челюстью, жевала мятную жвачку, переписывала. Настька, правда, переписывала не английские тексты про политическое устройство Соединенного Королевства, а заполняла бесконечные школьные анкеты. Прошу тетрадь не пачкать. Листы не вырывать. Маленьким детишкам в руки не давать. Аглая посмотрела в коридор. Не нужен ей никакой английский, нечего позориться. Развернулась идти назад, но не тут-то было. Тетя Света преградила ей путь, одним глазом присматривая за Парамоновым, схваченным и доставленным в холл переодевать сменку.

— А ты куда собралась?! Вон туда. Давай, давай, хвост пистолетом! — Тетя Света выпихнула Аглаю в темный коридор, индюком встала в проходе, звякнув коралловым ожерельем, сложила руки на груди. Не пущу. Иди.

Аглая вцепилась в лямки рюкзака. Пошла. Темносиняя дверь с железной табличкой Director Dr оказалась в самом конце коридора. Дойдя до двери, Аглая снова захотела тихонько удрать, но тетя Света погрозила ей из прохода пальцем: не

смей, а потом подняла кулак, постучала о воздух, будто Аглая и стучать не умела. Аглая хмыкнула: умела она стучать, что ж она, совсем, что ли, и уверенно постучала.

— Да. — Голос был мужской, низкий, слышался через дымку, словно марлей в несколько слоев обмотанный.

Аглая дернула ручку — дверь не поддалась. Обернулась: тетя Света, и что теперь? Но тетя Света, как назло, исчезла. Аглая поджала губы, нахмурилась, постучала еще раз.

— Да заходите же! — повторил низкий голос в марле.

Аглая толкнула дверь. Ничего. Да что ж такое! Оперлась плечом о холодный металл, сжала ручку. По телу прыснули мелкие мурашки. Аглая вздрогнула. Кед соскользнул. Плитка под ногами чиркнула. Фабрика вдруг опомнилась, встряхнула каменными плечами: «Я ж кверх ногами стою!» Начала было переворачиваться с пола на потолок, но не успела. Дверь лязгнула, широко распахнулась чем-то ярким и синим. Аглая зажмурилась, полетела вниз, но не упала. Янтарный яблочно-мальвовый запах подхватил ее за локти, удержал. Мальва растет у Деда на даче, у недостройки, в сорняках и мусоре. Бес-

принципный цветок-невеста с обгрызенными кружевными листьями. Его улитки любят. Дед мальву специально не сажает. Мальва к ним с соседского участка от Юрьича каждый год забирается. Самовольно переходит границу.

— Поймал! — Марлевый голос засмеялся, тихо, внутрь себя, громче не стал.

— Простите. — Аглая оперлась о синее, мягкое, поднялась, сделала шаг назад, задрала голову. Она была директору по плечо. Почему-то очень захотелось пить, упасть на колени, окунуть голову в звонкое железное ведро и пить сладкую колодезную воду большими глотками, как Иван в первом сне, когда он тоже летал и был бабочкой. Во рту было так сухо, что даже сглотнуть не получалось. Сухощавое сентябрьское солнце держало затылок директора на прицеле толстым, полновесным лучом.

— Ну, здравствуй, Суок! — Директор, крепко держа Аглаю за плечи, куклой поставил ее на место. Стой! Не падай! Стоишь? Держишься? — Он сделал шаг назад, прищурился, оценил, хорошо ли поставил, прочно ли, отпустил, улыбнулся и тут же сделал неправильное — протянул Аглае правую руку для пожатия. Линии на большой ладони были четкие, словно их прорезали тол-

стой леской на пластилине, а потом леску так и не убрали, оставили. — Ну что же ты! Давай знакомиться. — Директор тряхнул ладонью.

Нужно пожать, сообразила Аглая. Папа Егорычу руку пожимает всегда. И Дед — Юричу. Аглая посмотрела директору в глаза, крепко сжала руку — наверное, так. По телу бенгальскими искрами брызнуло тепло. Кольнуло пятки. Аглая наконец сглотнула, слюны во рту стало неожиданно много.

— Как тебя зовут?

— Аглая. Я на тестирование, на английский.

Руку он не отпускал, держал.

— Ну проходи, Аглая, на тестирование. Хорошее, крепкое рукопожатие у тебя, это важно.

Голос из марли звучал как в волшебной пещере в Алуште. Вероничка тогда шептала в каменное окошко в скале, а Аглая на другом конце все, все слышала. Вот Вероничка втягивает носом воздух. Вот смеется. Вот зовет: «Гага, Гага! Ты меня слышишь?» Ушам щекотно и весело.

Аглая зашла в просторный пустой кабинет. В нем пахло книгами. Не русскими. Русские книги пахнут пожелтевшим клеем, чернилами и только что вскопанной землей с дождевыми червями. Здесь запах был новый, незнакомый: сухой,

древесный, с нотками набухших перезрелых до чересчур сладкого повидла под тонкой, но уже отвердевшей кожицей груш.

— Не обращай внимания. — Директор проследил за Аглаиным взглядом. — Мы в прошлом году только выкупили это здание. Ремонт заканчиваем, переехали летом. Обустраиваемся. Ты садись, Аглая. — Он кивнул на кресло возле заваленного распечатками стола. На кого он похож? — Значит, ты, Аглая, девочка с крепким рукопожатием, пришла изучать английский?

Аглая хотела рассказать про Наташку, про Крота, про тетю Свету, которая велела ей сюда прийти, но мысли осокой застряли в велосипедном колесе, запутались в спицах. Упершись руками в руль, она жала всем весом тела на педали, хмурилась — все напрасно, колеса поскуливали, но не прокручивались. Аглая просто кивнула.

— Отлично! Начнем с небольшого тестирования. — Он порылся в распечатках на столе, вытянул листок А4, положил перед Аглаей. Из нагрудного кармана достал черную ручку, протянул.

Жми, Аглая, жми! Педали скрипели. Опять пересохло во рту. Тест. Аглая уставилась на ручку,

не понимая, что с ней делать.

— Да ты не бойся! — Директор привстал, перегнулся через стол своим мальвовым запахом, сочным, июльским, многоцветным. — Знаешь, Аглая, я людей вижу насквозь, рентгеновским снимком. — Он сделал паузу, провел открытой ладонью вверх-вниз, сканируя воздух. — Есть у меня такая суперспособность. И вот я вижу, что ты, Аглая, знаешь гораздо больше, чем думаешь. — Он откинулся назад на стуле. — Давай сделаем так. Чтоб ты не переживала, я выйду на пятнадцать минут, отдам Светлане Сергеевне учебники для новых групп, разберусь с расписанием. А ты сиди, пиши спокойно. Ни о чем не переживай. Вернусь, решим, в какую группу тебя определить. Может, мне повезет и ты попадешь ко мне. — Директор скрестил указательный и средний пальцы на правой руке, спрятал за спину, подмигнул и, взяв охапку распечаток со стола, вышел.

Аглая заерзала на стуле, проверила, на месте ли он. Взяла черную чудо-ручку. Американская. Alexander. US Embassy. Moscow. Модная. Щелкнула кнопкой. На строчке Name вывела своим правильным, петлистым, почерком: «Аглая». Почему-то по-русски. Черт, вот дура! Аккуратно зачеркнула, написала по-английски: Aglaya. На

столе щелкнули часы. Белые. Точь-в-точь как в «Дне сурка». Panasonic RC-6003. «Засони, подъем! И не забудьте надеть теплую обувь! На улице холодно! У нас всегда холодно!» С одной стороны — радио. Band. FM. AM. С другой — чешуйчатые веки цифровых глазниц. Верхняя чешуйка минутной шестерки упала, сменилась семеркой. Аглая вздрогнула. Черт! Черт! У нее всего пятнадцать минут!

Первое задание. Прочитать текст. Аглая облегченно вздохнула. Они только и делали, что читали с Кротом тексты на уроках. Облегчение моргнуло два раза, испарилось. Текст оказался совсем не похож на топики в школе. Аглая читала его, но смысла не понимала. Что-то про яркий солнечный свет, что-то про темноту, что-то про Пола Ньюмана. Еще там был мальчик. Почти красные волосы. Почему красные? Зелено-серые глаза. Каку нее. Подмышки у Аглаи вспотели. Ни в какую группу она не попадет, конечно, ее вообще сейчас отсюда выгонят. Аглая пыталась выстроить слова в понятное, осязаемое, но значение текста от нее ускользало, соплями прилипало к нёбу, не отхаркивалось. Тру? Фальсе? В мозгу будто разлили жирное деревенское молоко. Не жидкое, водянистое, магазинное. А как в детстве, молоко

— сладкую сметану. Ничего было не видно. Часы перещелкнули с нуля на кротовскую единицу.

Второе задание. Тест на времена. Аглая обвела ответы наугад. Молоко в мозгу, скисая, густело. Прозрачная сыворотка опускалась вниз. Что-то мерзко желеобразное, белое забивало все каналы восприятия. Буквы путались. Переставали читаться. Часы удивленно, часто моргали. Зачем она пришла? Что она тут делает? Когда ставится — ing?

Задание номер три. Write a little text about your hobbies and what you love. Аглая вздохнула. Хоть тут повезло! Они такой топик учили наизусть, сдавали в прошлом году. «95 тем по английскому языку». Крот слушал прикрыв глаза, звучащая речь доставляла ему физическую боль. Аглая уверенно вывела: "I specialise in the humanities. Social sciences and English have always been my favourites, but my chief interest is law". Потом подумала и вычеркнула фразу про «лау», это же что-то про юристов. Часы щелкнули в последний раз, замерли на двойке — услышали шаги хозяина, подсказали ему Аглаину оценку. Аглая положила ручку на тест, выпрямилась, прижала руки поближе к телу, спрятала потные подмышки.

— Ну как ты тут? Справилась?

Директор в руках держал цветы. Не мальву, мощные кукурузного цвета гладиолусы, цветы с ослиной челюстью. У Деда росли белые и розовые, с бутонами-кисточками вверху шапки, ростом с Вероничку. Цветы на первое сентября.

— Светлана Сергеевна привезла с дачи, велела поставить. — Он водрузил трехлитровую банку с гладиолусами на стол. — Красивые, но бесполезные. Хотя, знаешь, в Древнем Риме их любили, носили луковицу на груди. — Директор прижал ладонь к сердцу: — Вот здесь. Амулет, защищающий от сердечных ран.

Он взял Аглаин тест, быстро пробежал по нему глазами, кивнул. Right! Not too shabby! Щелкнул черной ручкой, что-то написал на тесте, вручил обратно Аглае.

— Я тоже люблю английский, Аглая, и не люблю законы. Люблю все красивое, теплое и бесполезное. А ты говоришь, ничего не знаешь. Посмотрим, куда тебя определить. Думаю, на красном уровне у Ольги Федоровны тебе будет скучно, конечно, а вот на оранжевый к Маргарите Антоновне или на желтый ко мне, это мы решим. Но… Он подошел к шкафу, достал отпечатанный на кофейной бумаге учебник. — Грамматика, Мёрфи, наша с тобой библия, повтори дома пять

первых юнитов. У нас три недели ориентировочных занятий. Сумеешь подтянуться быстро — я тебя возьму к себе. Уверен, ты справишься. Держи! Расписание у Светланы Сергеевны. Не опаздывай. Не пропускай. Учу только тех, кому интересно. Но ты, если вдруг ко мне не попадешь, не расстраивайся. Договорились? У нас все учителя отличные! — Он вытащил из банки гладиолус, протянул Аглае: — Пусть тебе будет красиво учить английский. И еще вот… — Директор порылся на столе. Достал кислотно-зеленый пакетик с конфетами. Не русский. — Тяни. Sour Patch Kids. Смешные американские мармеладки в форме марсиан.

— Спасибо. — Аглая достала из пакетика голубого марсианина с выпученными глазами.

— Ну, пока, Аглая. Больше не падай. Просто постучи, я открою. Вот так. — Он взял ее ладонь с марсианином в свою, по одному загнул пальцы, накрыл кулак второй ладонью, постучал в воздухе. Кивнул на дверь: — Давай! Я на тебя рассчитываю.

Аглая вышла. Выучить пять юнитов. Он на нее рассчитывает.

В третьем кабинете тетя Света вручила ей квитанцию на оплату, еще две коричневые распе-

чатки, записала полное имя, домашний телефон, велела расписаться.

— У меня нет подписи. — Аглая быстро запихнула учебники в рюкзак, будто боялась, что тетя Света заставит их сдать обратно, раз подписи нет.

— Ну, нет и нет, напиши фамилию просто. Да положи ты гладиолус, что ты в него вцепилась?

Аглая вывела свою фамилию, Дымова, выпуская из рук гладиолус, попрощалась с тетей Светой, вышла.

На улице смеркалось. Худой черный фабричный фонарь-флейта выдувал стеклянные ноты: до-до-до-до. Перед воротами Аглая обернулась. В кабинете директора на первом этаже горел свет, но за изумрудными занавесками ничего не было видно. Гудвин. Он похож на Гудвина, поняла Аглая. Великий и ужасный волшебник, которого никто не видел. В этот момент Гудвин, будто почувствовав, что обрел имя, отодвинул занавеску, поймал взгляд Аглаи, улыбнулся. Аглая моргнула и быстро, как Парамонов от тети Светы, побежала к воротам.

Аглая не запомнила, как дошла до дома. Перед подъездом она остановилась. Ладонь, которая оставалась сжатой всю дорогу, застыла раковой

клешней. Аглая один за одним медленно вытянула онемевшие пальцы. На липкой, усыпанной сахаром ладони лежал голубой марсианин, пучил на нее глаза. Аглая поднесла ладонь ко рту, слизнула марсианина. Резко, кисло ужалило язык. Аглая нахмурилась. Так бывало, когда Бабушка, хитро улыбаясь, смотрела на них с Вероничкой, маленьких, сверху вниз и говорила: «Агуля, Вероничка, леденцы!» Аглая хватала красного петушка на палочке, засовывала с разбегу в рот… а когда открывала глаза, понимала, что носы у них с Вероничкой сморщены гармошкой. Вкус у леденца был не леденечный, а вяжущий, жгучий, с кислинкой. Бабушка лукаво подмигивала: «Маточное молочко, Агуленька! Вкусное, Агуленька, вкусное. Ну да, кисленькое чуть-чуть, зато поле-е-езное какое. Я только на краешек капнула… Вот такую капельку! Будете есть маточное молочко, Агуленька, вырастете большие и сильные. Волшебное оно, маточное молочко-то, волшебное…»

Глава вторая
Маточное молочко

Аглая в детстве ничего не боялась. Только утонуть. Однажды чуть не стала головастиком. Дед таскал их с Вероничкой летом на дачу. Чего в пыльном городе сидеть? Добирались на восьмом автобусе. Удобно. Остановка в пяти минутах от дома, рядом с магазином. Выходили — нет, не выходили, выбегали — всегда впритык. Дед никогда никуда не выходил вовремя. Никогда никуда не спешил. Он знал: его дождутся. Его и правда всегда дожидались. Аглае и Вероничке дедовское спартанское спокойствие не передавалось. Увидев на остановке длинный белый похожий на жука автобус с красной полосой на брюшке, они пускались со всех ног. Дед и шага не ускорял. Даже когда автобус закрывал двери и, чихнув, трогался, Дед спокойно, уверенно, как Чапаев, выкидывал вверх и вперед руку и командовал:

— Жда-а-ать!

Машины, споткнувшись, испуганно тормозили на пешеходном переходе. Море волнуется раз! Водитель автобуса в кепке-блинчике бросал руль

и вместо того, чтобы отчитать Деда, вытягивался палочником из окна, отдавал честь и, выжав педаль тормоза времени, так и зависал. Море волнуется два! Время покорно останавливалось. Море волнуется три! Дед широким шагом, насвистывая, переходил дорогу, запихивал раскрасневшихся, но счастливых — успели! — Вероничку и Аглаю в заднюю дверь автобуса, кивал, оглядываясь на хвост из автомобилей, разгадывал морские фигуры. Дельфин! Медуза! Краб! Дед был лучший на свете вода. И лучший на свете Дед.

— Быстрее, пионЭрки! Быстрэ-э-э-е! Не задерживаем общественный транспорт Советского Союза! В коммунизм на опоздавшем автобусе не доедешь!

Дед втягивал себя, как на турнике, внутрь, отечески хлопал автобус по двери. Махал водителю. Семь футов под килем, капитан! Время оживало, трогалось, покачиваясь из стороны в сторону, ехало дальше, на дачу, со всеми положенными по расписанию остановками.

Деду никто не перечил. Все его слушались. Было в нем что-то, вызывающее в людях покорность. Пассажиры, поджав губы, конечно, зыркали на них, но молчали. Сразу было ясно: спорить с Дедом себе дороже.

— Билеты, — просыпалась, широко зевнув, кондукторша в синем болоньевом плаще. Всегда одна и та же. Шла с коричневой брезентовой сумкой на шее в комплекте с восьмым автобусом, как гаечный ключ в железном конструкторе. Взбитая, как белковый крем, пергидролевая челка выпрыгивала из-под красного берета.

Аглая и Вероничка испуганно молча вжимались спиной в Дедовы ноги, старались не смотреть на табличку «Совесть пассажира — лучший контролер». Дед спокойно задвигал их в угол автобуса, разваливался на заднем поручне, как на заборе, заслонял.

— Этим девочкам… — Он делал долгую паузу, пронзая немигающим взглядом теребящую моток билетов на ремне кондукторшу. — Билет не нужен! Эти девочки… — Дед поучительно тряс толстым указательным пальцем. — Из пионЭрского лагеря «Орленок»!

Фраза про пионЭрский лагерь «Орленок» Аглаю озадачивала. Аглая с Вероничкой ни пионерами не были, ни в лагерь никогда не ездили: ни в «Орленок», ни в Артек, ни в захудалый лагерь работников фрезерного завода, где, как рассказывали, однажды утонул мальчик. Кондукторша качала выдающейся взбитой челкой, тоскливо

чмокала, убирала руку с мотка билетов, гладила, успокаивая, свою сумку, как беременная — живот, махала на Деда рукой. Видимо, знала про льготы тайного общества «пионЭрских» лагерей.

Ехать до дачи было минут тридцать и еще столько же идти пешком. Сначала по полю (рожь, пшеница, синие колокольчики вот-бы-такой-формы-себе-платье, бессвязное сварливое свиристение кузнечиков: пинь! пинь! пинь! что? что вы хотите сказать? я не понимаю!), а потом по лесу (как зайдешь, тебя тут же оранжевоклювые дрозды приветствуют: фю-фю-фи-фу-фи-фу, свистят на флейтах, а ты изо всех сил втягиваешь носом запах мха, хвои, мокрой земли, а в глубине леса — пряный абрикосовый аромат, ни с чем не спутаешь — лисички пошли!).

Садовое товарищество пряталось за высоким покосившимся бетонным забором с ромбиками — оптическая иллюзия как архитектурный манифест. В заборе мерещились то воздушные змеи, то пухлые греческие амфоры, то кривовато собранный кубик Рубика. Забор каждый год закрашивали яично-желтой краской, каждый год кто-то настырный неотступно писал на нем: «Люся, стыдно, когда видно!» Кто такая Люся, что у нее видно и почему ей должно быть стыдно,

оставалось загадкой.

Как только ты оказывалась по ту сторону, лес сменялся садом. Ясноглазые яблони, кусты сахарной красной смородины, охровые облака облепихи, тлей присосавшиеся к веткам-невидимкам. Мощные черешки сиреневых люпинов, размером с Аглаю. Роскошные розовые сердца дицентры — вот бы стащить пару цветков для наряда Королевы Червей, девчонки обзавидуются! Желтые гроздья ослинника с лепестками-крылышками бабочек-лимонниц. Пестро-острые астры, каждая — яркий шерстяной клубок, тетя Зоя о такой пряже и не мечтает, не купишь. Затерянный в подмосковных прериях райский сад. Никто про него не помнит. Никто не знает, что он есть. Дожди там идут сиренью, снег — пухом одуванчиков, а время не идет вовсе, стоит цветущей сине-зелеными водорослями водой в пруду.

Их дом у самого леса, на краю, в дачную идиллию не вписывался. Дом, как Дед, ни на что не был похож. Недостроенный, двухэтажный, выше остальных на целую голову, с плоской гудронной крышей, на которую Вероничка и Аглая вытаскивали старое, сбившееся клоками одеяло и загорали. Дом стоял в вечных лесах, уже и сам не надеялся, что его когда-нибудь достроят,

вынут из ходунков, отпустят бегать самостоятельно. Мама и тетя Зоя на Деда ругались. Аглая и Вероничка радовались — леса точь-в-точь повторяли испытание «Карниз» в «Форте Боярд»! Рассохшиеся деревянные брусы в одну детскую ступню. Широкие доски, прерывающиеся в самых неожиданных местах — зависнешь на одной ноге на такой, по всему телу бешеные будоражки скачут. Ключ вешали с торца дома, добираться до него было лучше не спеша алле! алле! — держась растопыренными руками о воздух. Упадешь — угодишь в кусачую, косматую, как пес, крапиву.

По всему деревянному дому из потолка черными обрубками-пучками торчали электрические провода. Дед отказался платить взносы в СНТ, ему отказались подключать электричество. На проводах-обрубках Дед сушил в целлофановых пакетах хлеб — подкармливать лис и кабанов в лесу.

Входная дверь закрывалась на гвоздь-крючок. Соседи крючок вынимали, сваливали Деду жалко-выбросить хлам: голубую печатную машинку, у которой заклинило половину клавиш; железный хромой стул цвета солдатской формы; велосипедное колесо со спущенной шиной. Аглая и Вероничка таскали со свалки инвентарь для игр. На сломанной машинке печатали работа-

ющими клавишами подсказки старцу Фура. Из хромого стула сооружали пиратский корабль, который по очереди захватывали: «На або-о-ордаж!» Старое велосипедное колесо приспособили под телепортатор, работал безотказно. Хочешь — воюй с роботами-вершителями на планете Вариана созвездия Кассиопея. Хочешь — смазывай маслом попавших в беду обитателей планеты Железяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами[9].

Тишина на участке стояла идеальная. Все звуки дачного садового товарищества прятались в пруду. Пруд рокотал лягушачьим криками, угукал далеким зовом невидимой кукушки, лопал пузыри от катающихся на коньках длинноногих водомерок — буль! Пруд был огромный, до того берега ни за что не доплывешь. Дед видел еще, как пруд копали. Глинистый, с пластилиновыми берегами, неряшливо вылепленный пропустившим все инструкции воспитательницы детсадовским ребенком. Глубокий — до дна Аглая доставала только стоя на бетонной плите у берега. Они с Вероничкой с плиты никогда не сходили, на ней и барахтались.

---

[9] Примечания: 9

Из мультипликационного фильм «Тайна третьей планеты». Реж. Р. Кочанов.

В пруду по весне выводились головастики, черные, жирные, хвостатые, как пророщенные семечки подсолнечника. Головастики-семечки, толпясь, присасывались к пластилиновому берегу и быстро-быстро дергали тоненькими хвостами-черточками. Аглая и Вероничка ловили их пригоршнями, сажали в граненый стакан, рассматривали. Наглядевшись, Аглая несла стакан к пруду. «Еще, еще», — пищала Вероничка. «Нет, — бескомпромиссно отрезала Аглая. — Подохнут!» Аглае не хотелось, чтобы головастики дохли, хотелось увидеть, как их хвосты из ниточек превратятся в длинные лепешки, как высунутся лапки, как случится чудо, дачная Золушка на полвесенней ставки за ночь пришьет им всем маленькие ножки, отрежет хвосты и… по дачным дорогам запрыгают холодные пупырчатые, как дедовские тепличные огурцы, лягушки.

Сколько тогда Вероничке было? Лет пять? Ей, значит, семь. Дед в серой широкополой охотничьей шляпе с карельским ястребиным пером восседал на ступеньках пруда, жевал стебель осоки и читал «Советский спорт». Нес повинность, приглядывал за внучками. Одних отпустишь, бабка-моя-стоглазый-Аргус узнает, сожрет заживо! В воду Дед никогда не заходил, после Дуная и

Тисы называл подмосковные водоемы лужами.

Футболки прилипали к телу, пузырились. Ни Аглая, ни Вероничка плавать не умели. Мама и тетя Зоя пытались научить, да девочки оказались неспособные, тонули, как чертовы чугунные утюги.

— Гага, гага, — верещала Вероничка, запрыгивая на выскальзывающий надувной круг с олимпийским мишкой.

Круг прислала на Новый год мамина подруга по Бауманке. Сокровище! Вся дача просила погонять. Не давали. Вот еще! Аглая зажимала нос, обхватив костлявые колени рукой, ныряла в мутную воду, как папин поплавок на удочке, всплывала. Воздух ласково гладил по голой спине, хвалил: «Ай да Аглая! Ай да молодец!»

— Гага, смотри! — Вероничка подпрыгнула, прокрутилась, шлепнула ладошками по воде, засмеялась.

Олимпийский мишка тоже сверкнул резиновой улыбкой, качнулся, подпрыгнул, выскользнул.

— Не брызгайся! — фыркнула, зажмурившись, Аглая.

— Эй, куда?! — Вероничка взвизгнула.

Вода чавкнула. Аглая замерла. За медведем! Дура! С плиты! Живот стал жесткий, не свой, твер-

дый, как забор в ромбиках. Вода чавкнула еще раз, выплюнула на мгновение чужеродное тело — не распробовала свежую утопленницу, малышка еще, не ждала такого царского угощения — и снова заглотила пухлощекую девочку. Лакомство какое! Лакомство! Последнее, что запомнила Аглая, — смеющееся лицо Деда — Шляпа, перо, стебель осоки. Аглая не успела подумать, что такого смешного в том, что Вероничка тонет. Наверное, что-то да было. Сиганула с плиты. Выкинула вперед одну руку. Попыталась схватить Вероничку другой. Медведь, будто ожидая подвоха, отпрыгнул. Не поймаешь! Теплая мутная рыжая вода вопила от радости. Две! Две мавки! Как раз к Русальной неделе! Вот это подарок на Троицу! Ну что за удача! Что за улов! Вероничка! Вероничка! Есть! Вынырнуть. Визг. Шея. Работать. Руки. Нога. Плита. Ай! Нет! Кожа! Плита! Еде плита? Визг. Шея. Чугунные утюги. Головастики. Не успеет. Подохнет. Футболка больно впилась в тело. Стакан. Сейчас их посадят в стакан, будут на них смотреть, но до пруда обратно не донесут…

— Ну ду-у-уры! — Дед выволок их на берег за шиворот.

Поцарапанная шея ныла. Пупырчатое лягушачье тело мелко тряслось, челюсти стучали друг о

дружку, как ложка о стакан в поезде. Вероничка, всхлипывая, подвывала: «У! У-у-у! У-у-у-у-у!»

— Марш домой! Греться! Ду-у-уры вы, девки, ну ду-у-уры!

Аглая встала. На Деда не обернулась. Стыдно было на Деда оборачиваться. Подумала о Люсе на заборе, всхлипнула. Не подохли, значит. Может, и Люся выжила. Отпустили их, в стакане подержали и отпустили. Только почему так тихо? Куда делись все звуки? Вода, что ли, в ушах застряла?! Аглая наклонила голову, хотела запрыгать на одной ноге, как дядя Валера учил, не смогла. Вероничка присосалась к ней, как головастик к пластилиновому берегу, не отпускала. Аглая слышала, как у Вероники булькает сердце и стучит в животе. Они так и булькали и стучали, пока Дед не притащил со второго этажа пахнущие старыми газетами одеяла, Аглаю с Вероничкой в них не укутал и чаем из самовара не напоил. И вкуснее чая Аглая никогда в жизни ни до, ни после не пила. Дед самовар шишками разводил. Не чай даже будто пила Аглая, а сосну, хлебала большими глотками, обжигая щеки, язык, нёбо и чувствуя себя очень, очень живой.

Плавать Аглая научилась только в Алуште много лет спустя, и то по-собачьи, не по-настоя-

щему. Страх утонуть еще долго дергался внутри светом плохо вкрученной стоваттной лампочки накаливания. А потом потускнел, успокоился, стал фоновым. Лампочка перегорела от частого мигания. И вот теперь опять… Только не лампочка это была в этот раз, а дикий сигнальный фонарь, который беспокойно вертел циклопьей головой, не давая спать. Ее не возьмут в желтую группу! Ее не возьмут в желтую группу! Почему ей нужно было попасть именно в желтую группу, Аглая объяснить не могла, просто знала — от этого зависит вся ее жизнь. Не возьмут — и тогда, тогда лучше уж стать бесхвостым головастиком и утонуть. Вот прямо сейчас.

Аглая влетела на фабрику за пять минут до начала занятия. Первый день трехнедельного курса-ориентировки пошел не по плану с самого утра. Как назло, именно сегодня Ольга Николаевна сняла очки в роговой оправе, решила посвятить Аглаю в хитроумный мир окказионализмов Высоцкого, подготовить к поэтическому вечеру. Гусатая гусыня, киснуть-кваситься, бермуть, вело-мото-кино-фото-видеомагнитофон, анти-анти-антиордината, ядрена вошь.

Неостановимо восторженная Ольга Николаевна тыкала Аглае в лицо своей тетрадью в линееч-

ку с заметками, закатывая глаза, декламировала: «Я стою, как перед вечною загадкою, / Пред великою да сказочной страною — / Перед солоно- да горько-кисло-сладкою, / Голубою, родниковою, ржаною!»[10] Глашенька, ты чувствуешь, чувствуешь? Кисло-горько-солоно-сладкой! Аглая ничего не чувствовала, кроме того, что сейчас заплачет. Она молча, хлюпая носом, кивала Ольге Николаевне, не понимая ровным счетом ни слова из того, что та ей говорила. Это про маточное молочко, что ли, пыталась догадаться Аглая. Такой вкус у маточного молочка — кислый, горький, солоновато-сладкий. Аглая иногда поглядывала на икону Пушкина над доской, звала: «Сюда! Сюда! Ну сделай же что-нибудь, Пушкин, Пушкин, ты могуч!» Пушкин услышал, Аглаю пожалел, хоть и поздно. Прислал Веру Владимировну. Педсовет, Оля! Иди, Глашенька, завтра договорим… Аглая вылетела из класса быстрее, чем Ольга Николаевна успела спрятать тетрадку с окказионализмами в стол.

«Ядрена вошь! Ядрена вошь», — вертелось у Аглаи в голове. Она даже на обед к Бабушке не забежала. Бабушка так и провисела в окне, охая и грея макароны по-флотски под байковым одея-

---

[10] Примечания: 10
В. Высоцкий «Купола».

лом, чтоб не остыли.

* * *

Тетя Света сидела в холле одна, вытянув короткие ноги в балетках-мыльницах, подпирала Шварценеггера на плакате — черные очки, бульдожья морда: I'll be back. Тетя Света сочно, плотно причмокивая, пила кофе из красной кружки Nescafe. У них тоже такая была. Папа пару лет назад с детским энтузиазмом юного филателиста бросился собирать алюминиевые мембраны от банок. Легенда о бесплатных кружках Nescafe ходила по всему городу. Говорили, их присылают по почте. Бесплатно. Папа, который не верил ни в одну религию, кроме религии младших научных сотрудников, слепо, страстно отдал свою бессмертную душу секте Свидетелей красных кружек Nescafe. Начал причащаться, пить кофе вместо чая. Морщился, фыркал, ругался на горький вкус, но пил. «Поколение, оболваненное сникерсами, — комментировал папино помешательство Дед. — Жополизы капиталистические! И говно из выгребной ямы хлебать готовы, давиться, только бы… Продались!» В существование бесплатных кружек Дед не верил. Кружку тем не менее прислали. По почте. Бесплатно. Милосерд-

ный капиталистический бог услышал сомнения детей своих, дал знак. Кружка была толстобокая, взаправдашняя, сияла божественным красным светом. Даже Деду понравилась, цвета советского флага, ничего. Папа кружкой гордился, демонстрировал всем, как охотник трофейную голову оленя, даже в милицию носил, хвастался в отделе. Каждое утро пил из нее чай. Кофе папа после свершившегося чуда пить бросил. Он, как оказалось, его не любил. Дед зрил в корень. Красная кружка исчезла из квартиры вместе с папой. С явленным тебе чудом расставаться не следовало, кто знает, не последнее ли, сколько тебе этих чудес за жизнь по квотам положено.

— Дымова! Чего опаздываешь? — Тетя Света поставила кружку Nescafe на деревянную лавку, взяла список, провела пальцем. — Так. Дымова. Тебе в актовый зал. На второй этаж.

Аглая кивнула, бросилась на лестницу. Тетя Света ее притормозила:

— Эй! Эй! Да не торопись ты! Успеешь, я еще звонок не дала. Ну-ка! — Тетя Света зашуршала фольгой. — Последние два кусочка. — И протянула две толстые полоски «Ореховой» шоколадки, любимой.

Аглая замотала головой. Кроликом выпучила

красные от ужаса глаза. Ах, боже мой, боже мой! Я опаздываю! Что они, сговорились, что ли, все?! Гусыни гусатые!

— Чего это ты придумала? От шоколада отказываться! — Тетя Света по-индюшачьи тряхнула головой, тыкнула указательным пальцем себе в лоб: — Мозгам пища нужна! Ну-ка! Ешь немедленно!

Аглая моргнула. Так Бабушка всегда говорила, доставая из ящика припрятанного «Мишку» или «Осенний вальс» и улыбаясь: «Знаешь, почему ты у меня такая умная? Потому что конфеты любишь!»

— Бери, бери! Пока не съешь, звонок не дам! — Тетя Света повелительно кивнула на медный колокольчик.

Аглая взяла шоколадку, разломила пополам. Подушечки указательного и большого пальцев покрылись густым слоем темного шоколада. Мелко дробленный фундук царапнул кожу. Аглая засунула шоколад в рот. Облизала пальцы. Горько, сладко, чуть солоновато. С орешками. Как у Высоцкого.

— Другое дело! А теперь марш в актовый зал! — Тетя Света подняла медный колокольчик. — Я подожду, пока ты добежишь.

Аглая завернула второй кусок шоколадки в фольгу, хотела отдать, но тетя Света только рукой на нее махнула: иди уже. Аглая спрятала шоколадку в карман кофты, побежала.

Тетя Света обещание сдержала. Прозвонила, только когда Аглая добежала до актового зала. Красные кирпичные стены. Ни шпаклевки, ни обоев. Просто кирпич, где-то ровный, где-то верхний слой глиняной кожи содран. Окна в пол. Деревянные шелудивые рамы. Начищенные до блеска, без разводов, стекла. Тетя Света мыла раму. Парты со столиками на одного, как в первом классе, только пластиковые и стоят не в ряд, а полукругом. Человек двадцать пять желающих. Толпа целая. И все точно в желтую группу хотят.

Гудвин сидел, оседлав перевернутый задом наперед стул, в самом центре перед белой, а не черной доской, вертел в руках не мел, а фломастер. Гудвин Аглаю не заметил, о чем-то беседовал с кудрявым Парамоновым (на этот раз в сменке). Гудвин был не в синем. Замшевый верблюжьего цвета пиджак, футболка «Hard Rock Cafe», черные джинсы, белые кроссовки Adidas с болотного цвета полосками. Прозвенел второй звонок. Как в театре.

Самую красивую девочку в группе Аглая за-

метила сразу. Ее невозможно было не заметить. Это была девочка-инопланетянка. Короткая джинсовая юбка. Длинные ноги Синди Кроуфорд. Морской загар. На подмосковной даче такой не заполучишь. Подмосковный загар слепой, бледный, вспухший расчесанными волдырями укусов слепней. Подмосковный загар зудит, ложится пятнами — хочешь смыть, да он не смывается. Не загар, а кожное заболевание, не описанное ни в одной медицинской энциклопедии.

Определить самую красивую девочку, найти На-стьку в новой группе было Аглаиным рефлексом, инстинктом самосохранения, навыком выживания в неблагоприятной окружающей среде. Нет, Настек Аглая не боялась. Чего их бояться? Разные весовые категории. Настьки — они как красная икра, яркие, блестящие, стоят дорого, а на вкус попробуешь — засоленная соль, слизью лопающаяся во рту. Аглая боялась другого — встретить девочку быстрее себя, умнее, сообразительнее. Страх был необоснованный, слепой, иррациональный. Умнее себя она еще ни разу никого не встречала, ни в началке, ни в средней школе. Даже в гимназическом, где, не успев прийти, она схлопотала свою первую в жизни двойку. Третье сентября. Ольга Николаевна. Словарный

диктант. Программа в гимназическом была в разы сложнее, чем у бэшек. Увидев ярко-красную царапину в тетради, а под ней — вставшую на дыбы алую двойку, раскрывшую свой кобро-образный капюшон, готовую атаковать, Аглая испытала первый в своей жизни экзистенциальный ужас — и в Арзамас ехать не пришлось. В ту ночь на кресле-кровати лежала парализованная, не двигалась, смотрела в потолок. В спальне пахло мокрым воском, только начавшим снова застывать, черным и дымным. Думала, умерла. Но нет, не умерла, к утру воскресла, взяла себя в руки, выучила все словарные слова на месяц вперед. На всякий случай. Ольга Николаевна карандашную двойку в журнале стерла, нарисовала синей ручкой задорную, откормленную пятерку, посмотрела на новую девочку ласково, уважительно. Хорошая девочка, толковая, присмотрюсь!

Аглая смирилась с тем, что не могла заставить свою торчащую снегиримыми клювами грудь вырасти пухлой, ровной, подпрыгивающей, как у Настьки, не могла заставить свои пушистые волосы выпрямиться ровной чертой, проведенной будто по линейке, плотно ложиться сзади, как у Ксюшки, не могла вытянуть свой смешной кур-

носый нос, доставшийся ей от Бабушки. Все это было не в ее власти. Ну и ладно. Ну и пусть. Зато она всегда была умнее всех в классе, понимала учителей даже не с полуслова, а с четверти, а что не понимала, выучивала наизусть и повторяла про себя много раз, пока смысл выученного не прояснялся. Она просто брала весла и гребла. Егорыч научил.

Егорыч в молодости служил на флоте. Выносливость, дисциплина, четкость движения. Оттолкнуть нос! Уключины вставить! Весла разобрать! Он брал ее с собой рыбачить на лодке, папа не брал, боялся, а Егорыч не боялся и брал, командовал четко и весело, бородато улыбаясь. Весла! Приподнять на локтевом сгибе. Кисть на валек. Лопасти параллельно. На воду! Занести лопасть к носу, развернуть, опустить! На воду — раз! Глубокий вдох! Два-а-а! Выдох. Три! Довыдох. Не терять из виду цель. Держать точку! Раз! Два-а-а! Три! Только вперед! «И в кого ты такая?» — удивлялся папа. Никто отличником в семье не был. Бабушка восемь классов окончила. Дед в шестнадцать ушел на фронт, остался самоучкой. Папа был принципиальным хорошистом. Жизнь — это не дневник с пятерками. Аглаю он не понимал, но на работе дочерью-отличницей

бесстыдно хвастался. Да что ж ты будешь делать, опять на одни пятерки год закончила, все учится и учится, никто ее не заставляет! Заставлять Аглаю было не нужно. Аглая гребла весело и упорно. Приплывала к противоположному берегу первая. «Отлично, Аглая! Умница, Аглая! Все посмотрите, как сделала домашнюю работу Дымова!» «Суши весла!» — бородато командовал Егорыч. Набрав скорость в новом классе, можно было весла отпустить, лодка плыла сама. Учителя ставили пятерки автоматом. Это так просто и так очевидно: Дымова — отличница.

Аглая стояла в дверях, не отрываясь смотрела на девочку-инопланетянку. Тело замерло, будто уже побывало в будущем и, заранее все испытав, посылало Аглае трудно расшифровываемый сигнал. У-Янус. Мы с вами не беседовали вчера? Девочка-инопланетянка сидела не по-советски, вольно, закинув одну длинную голую ногу на другую. Короткие густые волосы, мальчишеская стрижка. Длинная челка, зачесанная набок. Широкая белая рубашка-облако с расстегнутой верхней пуговицей. Белые длинные носки-макароны, тоже Adidas. И ботинки — черные, блестящие, с желтой строчкой у подошвы, солдатские, дерзко висящие на тонких щиколотках. «Анти-анти-

антиордината», — вспомнилось Аглае слово из тетрадки Ольги Николаевны.

— Aglaya, hello! So nice to see you back! Take your seat next to Polina, right over there.

Аглая моргнула. Гудвин смотрел прямо на нее, заметил наконец пришельца, кивал на девочку-инопланетянку. Ядрена вошь! Аглая вцепилась в лямки рюкзака. Держись! Полина высоко вскинула тонкую руку, помахала ей. А потом сделала для самой красивой девочки в классе нехарактерное, противоречащее всем законам противостояния красивых и умных — приветливо улыбнулась, выставив напоказ острые белые зубы.

— Come on, love! We've already started! Quick! Quick! Grab a seat!

Аглая не понимала слова, которые произносил Гудвин, но понимала его пантомиму регулировщика трамвая. Гудвин энергично крутил правой рукой в сторону девочки-инопланетянки. Аглая послушно кивнула, села рядом.

— Полина, — прошептала девочка-инопланетянка бананово-клубничным ароматом жвачки Love is, смешивающимся с ее собственным апельсиновокарамельным запахом, восковым и плотным.

У Полины были густо-серые глаза, правильные,

без желтых кошачьих радужек — вечное лунное затмение, как у Аглаи с папой. Белки у Полины были бледно-белые, четкие. Аглая видела такие лишь однажды, в Третьяковке, у Царевны-Лебеди Врубеля. Казалось, что Полина их с картины вырезала и приклеила себе.

— Тебя как зовут? — Эта странная девочка ее, как Настька, не боялась, не шарахалась, смотрела прямо в глаза… и улыбалась.

— No Russian in the auditorium, sunshines! No Russian! — Гудвин погрозил им пальцем.

Аглая покраснела и принялась доставать учебники, а Полина просто перекинула ногу на ногу, посмотрела на Гудвина в упор, смело, бесстыдно, и ответила:

— I do apologize, professor. I just meant to welcome her, make Aglaya feel at home.

Гудвин показал большие пальцы вверх, встал со стула, хлопнул в ладоши:

— Let's dive in, loves!

Аглая моргнула и прыгнула, нырнула. Вниз. В кроличью нору. Падала она стремительно. Банки мармелада со стен выхватывать не успевала. Время визжало, дергалось, колотилось. Аглая выставляла вперед руки, пытаясь затормозить. Ничего не выходило. Размышлять о том, сколько

миль она пролетела и далеко ли еще до центра Земли, времени не было. Гудвин постоянно что-то говорил, что-то спрашивал, велел открыть учебники, перевернуть страницу, что-то читать, что-то повторять. Все проносилось мимо, замирая лишь иногда, когда говорила Полина. Полина говорила на английском легко, живо, воздушно. Она всё понимала. Не только отвечала на вопросы Гудвина, но умудрялась и шутить. По-английски. Она Гудвина смешила. Не глупо поскользнувшись в дверном проеме, а по-настоящему, мгновенно сочиненным каламбуром, длинными — у Аглаи дыхание перехватывало, какими длинными — фразами.

Английский туманом, как тот, что пускали Пугачевой на сцену, когда ледяной горою айсберг вырастал из тумана, заполнил собой все пространство актового зала, затянул идеально вымытые тетей Светой стекла. Туман был сжиженный, сгущенный, как сладкое молоко в банке, из которого Бабушка варила им с Вероничкой ириски на Новый год. Аглая даже не пыталась в нем что-то рассмотреть. Стояла, увязнув по свою двойную макушку. Две жизни, Агуля, тебе Бог послал, целых две жизни! Главное — не захлебнуться. Текучий, топкий туман

забил ей рот, уши, глаза. Аглая все ждала, когда приплывет Егорыч на лодке, вытащит ее за шкирку, вручит весла. Греби, Глашунь! На воду — раз! Глашуня, сосредоточься! Но Егорыч не приплывал. Никто не приплывал. Аглая залипла в тумане туповатой полумертво трепыхающейся мухой, чего-то ждала. Этап «Hello! How are you? My name is…» закончился минут двадцать назад. Аглая с облегчением оттарабанила «My name's Aglaya», а потом всё. Айсберг из тумана не вырос. Едко резало глаза. Зато в актовом зале ужасающе-прекрасной мордой белой лошади начала периодически всплывать и зависать фраза «Any volunteers?». Фраза несколько секунд висела рядом с Гудвином, а потом растворялась, рассеивалась. Пшик! Гудвин снова ее подбрасывал. Аглая фразу пристально рассматривала. «Эни. Волан. Ти-аз, — повторяла про себя. — Эни. Волан. Тиаз». Лошадка… Медвежонок… Лошадка… Медвежонок… Пшик! Гудвин бросал фразу вновь. Чаще других ее подхватывала Полина. Замахивалась, как Штеффи Граф ракеткой, отбивала обратно Гудвину. Гудвин радовался, мальвово смеялся, поднимал большие пальцы: «Велдан, Полина! Велдан!»

Когда Полина в очередной раз отбила подачу

Гудвина, Аглая все поняла. Тело было именно здесь, в этом моменте, об этом ее предупреждало, жало на красную адреналиновую кнопку: «Беги! Беги! Беги!» Девочка-инопланетянка была не просто Полиной, а той самой, еще юной, но точно уже той самой Полиной из будущего. Сотрудницей Московского института времени, изучающей историю двадцатого столетия, одним поворотом руки управляющей и временем, и роботом Вергером, посвящавшим ей стихи, она была… и космическими пиратами. Мамина аксиома «все девочки делятся на умных и красивых» с Полиной не работала. Мама, мамочка, у тебя здесь ошибка. У тебя здесь ошибка, мама. Аксиома на Аглаиных глазах выродилась в дурацкое чертово правило, анти-анти-антиординату с одним дурацким чертовым исключением — Полиной. Бермуть какая-то!

— So, you went to London. Is that so? Did you eat any beefsteak with beefeaters, Polina? — Гудвин ставил ударение на последний слог ее имени, Поли-на, будто не говорил его, а пел. По-ли-на! По-ли-на́! По́-ли-на! По-ли-на! По́-ли-на! По-ли-на́! Гудвин говорил и с другими волантиаз, улыбался, подбадривал: «Велдан!» Но два больших пальца вверх показывал только девочке-инопланетянке.

Аглая руку не подняла ни разу. Топла в тумане, тихо, неуклюже, смотрела на морду идеальной серебряной лошади. Эни. Волан. Тиаз.

Первый раз Гудвин напрямую обратился к Аглае только в самом конце урока, посмотрел внимательно. Дидьялёнитэзвел? Аглая замерла, перестала дышать. Повертела головой: нет, он точно смотрел прямо на нее желтыми глазами, мраморными, взорвавшимися вокруг зрачка звездной туманностью варенной полтора часа сгущенки. Аглая перестала моргать. Хотела смочить пересохшие от ужаса приблизившейся вплотную морды белой лошади глаза, но не могла. Вымазанные сгущенкой веки залипли. Тело сидело прямо, но от нее отдельно. Мозг, лихорадочно вглядываясь в туман, пытался хоть что-то разобрать: дядя, лёнит, кто это, вел. Это ничего не значило. Это был не английский, которому их учили в школе. Это был вообще не английский. Китайский? Арабский? Сербский? Аглая безголосо звала Егорыча: «Егорыч, миленький, ну пожалуйста! Его-рыч!» Вдавливалась вся в пластиковую спинку стула: «Табань! Табань!» Егорыч так далеко никогда не заплывает. Сейчас станет совсем темно, опять запахнет только что потухшими свечами, и она умрет. В этот раз на-

совсем. Заныло и окаменело нёбо, защекотало нос. Глаза защипали, стали стеклянными. Все поплыло. Лошадка… Медвежонок… Лошадка… Медвежонок… Аглая видела лицо Гудвина, как через окно восьмого автобуса с запотевшими летом стеклами. Слишком жарко и слишком холодно одновременно. Все-все смотрят. Прыщавый мальчик с другого конца полукруга стульев смотрит. Кудрявый Парамонов скривил в подобии улыбки рот и смотрит. Полина качает идеальной щиколоткой и тоже смотрит. Сейчас они все поймут, что Аглая здесь случайно, позовут тетю Свету, и та заставит ее сдать учебники. Дидьялёнитэзвел? Аглая заерзала на стуле, сглотнула, на всякий случай вцепилась в распечатки на столике. Тонуть и умирать она будет вместе с ними. Застынет археоптериксом в темном трюфельном тумане. Ее будут изучать как окаменелость будущие поколения старшеклассников.

— Камон, далин. — Гудвин подмигнул Полине, что-то сказал.

Полина потянулась к Аглаиному уху. Аглая отдернулась, уставилась на Полину. Что это она? Полина засмеялась, сделала жест, не бойся, снова потянулась к ее уху, клубнично-бананово прошептала:

— Он спрашивает, учила ли ты раньше английский. Скажи: «Анфоченетли, ай хэвнт стадид инглиш бифо».

Аглая моргнула, утренней росой на ее длинных ресницах остались не успевшие потечь густые, кисельные слезы. Вместо Егорыча приплыла Полина. Девочка-исключение-из-правил с плоскими, выцветшими на солнце веснушками протягивала ей весла.

— Ай хэвнт стадид инглиш бифо, — шепнула еще раз Полина и подбадривающе кивнула.

Полина повторила слово за словом по слогам. Ан-фоч-ен-ет-ли. Английские слова имели вкус инопланетных апельсиновых жевательных конфеток, которые им раздавали по одной в начальной школе. И мишек Гамми, ярких, прозрачных. Их выдавали по три. Красного, желтого и желтого, Танька, поменяй мне желтого на зеленого, у тебя их два! Гуманитарная помощь из Америки. Ан-фоч-ен-ет-ли. На Полининой правой щеке выскочила непарная ямочка, будто кто-то изнутри закусил ей щеку прищепкой, а ей было не больно, а весело. Полина подбадривающе кивнула.

— Ай хэвнт. Ай хэвнт. Стадид инглиш. Стадид инглиш. Бифо. Бифо, бифо, — сглотнула и зачем-

то повторила второй раз Аглая.

Она посмотрела на Гудвина, как глупый шестимесячный щенок, до которого наконец дошло, что от него хотят, когда говорят «Дай лапу!». Гудвин улыбнулся — у него было очень много зубов во рту, — показал ей палец вверх, подмигнул. Все мы здесь не в своем уме, и ты, и я.

— Well done, Aglae.. — «А-гла-е» — ударение в ее имени он тоже заменил, переписал, присвоил. — Thank you, Polina, you are a darling. You wanna become my assistant, love? You two make quite a couple. — Гудвин сделал вид, что аплодирует, подошел к доске.

— Что он сказал? — Аглая сжала ладонь в ладони, будто пыталась запихнуть уже распустившийся цветок обратно в бутон.

Полина зевнула, широко, высоко потянулась. Прямо на уроке. Ни у кого не спрашивая.

Предложил стать его ассистенткой, сказал, мы с тобой отличная парочка.

Отличная парочка? Может, ее все-таки не выгонят. Может, тетя Света не заберет учебники. Аглая расцепила пальцы, засунула руки в карманы кофты. В правом что-то зашелестело. Она достала кусочек «Ореховой» шоколадки, оглянулась. Гудвин писал на доске слово un-for-tuna-tely.

Аглая протянула шоколадку Полине:

— Хочешь?

Ямочка опять сверкнула на правой щеке, Полина кивнула, взяла шоколадку:

— My favourite! Thank you!

Гудвин, услышал шелест, повернулся, склонил голову набок:

— What's with all that rustling? We aren't in a diner, loves!

Полина пожала плечами, развернула шоколадку, помедлила секунду, широко открыла рот, отправила туда весь кусок целиком. Долька «Ореховой» растянула ей щеки. Полина показала Аглае большой палец, закивала. Аглая в первый раз за полтора часа улыбнулась. Она не ушиблась. Она не застряла в тумане. Она через него пролетела, приземлилась и быстро вскочила на ноги. Весло ей первый раз в жизни протянул не Егорыч, а другая девочка. Самая красивая. Самая умная. В черных ботинках. С инопланетным именем — прощайся, две минуты у тебя, прощайся — ПО-ЛИ-НА.

* * *

Аглая принялась за изучение английского, как Вероничку спасать сиганула — с разбегу.

Будто жила до этого заколдованной диснеевской принцессой в высокой башне и вдруг очнулась, услышала зов судьбы, ту самую песню в мультфильме, после которой жизнь главной героини уже не останется прежней. Аглая выписывала из словаря незнакомые слова. Каждое третье пялилось на нее со страницы и не узнавало. Кто ты? Зачем ты на нас смотришь? Делала один и тот же юнит в Мёрфи по пять раз. Разве такие учебники бывают: понятные, нескучные, с примерами? Заучивала наизусть правила различия Present Simple и Present Continuous. «We use the continuous for temporary situations, we use the simple for permanent situations», — повторяла про себя, радуясь, когда какое-то слово вдруг щурилось, улыбалось, подмигивало. Temporary. «Невольно изречешь: „O tempora, o mores!",/Когда поразглядишь, какая в жизни гореcть!» Некрасов. Кирюша. Литература на третьем уроке. Тут же подскакивал permanent. Меня, меня ты тоже знаешь! Перманент, шестимесячную завивку, каждую весну делала тетя Зоя. Деревянные палочки-коклюшки, химический состав «Локон», тюрбан-простыня на голове, фиксаж, бигуди, инопланетный фен-бидон, Галька, лучшая парикмахерша города с золотым зубом, никаких

залысин, никаких париков в аренду. За три рубля шестьдесят копеек тетя Зоя становилась похожа на стриженую овцу. О, если бы не школа! Учить английский с утра до ночи. Вот о чем мечтала Аглая. Но… Ан-фо-че-нет-ли. Многое в жизни приходилось делать, потому что так нужно. Unfortunately. Полинино слово Аглая повторяла заклинанием, гадала на нем, как на ромашке: fortunately — unfortunately, плюнет — поцелует, к сердцу прижмет — к черту пошлет. К черту послать школу! К черту!

* * *

Аглая широко зевнула. Дед зачмокал во сне. Сегодня не кричал ни разу. Дед часто ночью вскакивал, с выпученными, чужими глазами утробно завывал: «Бежи-и-им!», «Ло-о-ожись!». Послед войны, так никогда и не выскобленный. Гнил в утробе с полвека, не давал матке, выносившей здорового, примерного бойца (все медали на одной стороне кителя не помещались, девятка по военной шкале Апгар), сократиться до размеров довоенного времени. Не было такого размера. Командир не предупредил, что больше никогда не будет. А может, и сам не знал. Люди забывают войну так же, как беременные забывают боль

при родах. Адреналин. Ускорение сердечного ритма. Усиление мышечной активности. Вот только гипоталамус окситоцин не синтезирует. Спасать тебя некому. Ни любви. Ни доверия. Ни привязанности к новорожденному, столь, казалось, желанному, миру-младенцу. Деда забрали за год до окончания Отечественной, мальчишкой совсем, в шестнадцать. Он ушел на фронт с куском материнского, белого, как передник гимназистки, и жирного, как собранные с парного молока сливки, сала. Последним, что запомнили глаза, была родительская мазанка. С батей строили. Месили глину с соломой, добавляли Буянкин навоз, белили. Буянка была корова спокойная, но с характером, прям как моя бабка, говорил Дед. Анисий, меньшой брат, разрисовал стены цветами: красные маки, синяя горечавка, розовые ромашки, а вверху, для матери, ее любимые подсолнухи — такие в Подмосковье не растут, не вызревают. Бабушка единственная в семье ночью Деда не боялась, укладывала обратно: «Тихо! Тихо!» — заговаривала, укрывала. Аглая так и не привыкла никогда. «Мы не заметили жую…» Спала с ними всю свою пятнадцатилетнюю жизнь в одной комнате и не привыкла. «И рамы зимние закрыли…» Просыпалась от потустороннего воя,

зажмуривалась. «А он живой, он жив пока…» Укрывалась с головой одеялом. «Жужжит в окне, / Расправив крылья…» Прижимала ладошки к ушам. И я зову на помощь маму. Повторяла все стихи Барто, которые помнила. «Там жук живой! Раскроем раму!»[11] Аглая знала, воет ее Дед, любимый, добрый, всех упырей от них с Вероничкой палкой отгоняющий, но это выл не ее Дед, а другой, жуткий, незнакомый, забравшийся в ее Деда и там застрявший.

Аглая потерла глаза. Густое серо-сиреневое октябрьское утро размазалось жидкой овсяной кашей по окну, как по тарелке. Яичными желтками тающих столовских кубиков сливочного масла горели окна хлебозавода напротив. Хлебозавод петухом просыпался в городе раньше всех, будил до рассвета безголосым кукареканьем окон: «Вставай! Вставай! Вставай! Манная каша остынет, придется есть серый клейстер, Аглая, давиться комочками!»

Аглая мелко поежилась. Зябко. Батареи еще не включили, спала в фетровых спортивных штанах, бабушкиных шерстяных носках и клетчатой фланелевой рубашке. Потянулась. Медленно. Без рез-

---

[11] Примечания: 11
А. Барто «Жук».

ких движений. Кресло-кровать рассохлось, стало раздражительным, как папа, когда в преферанс проигрывал: ты что тут понаписала, все напутала в вистах и горе. Кресло было трофейное, красивое. Гладкая ткань, не велюр, клетчатая, целая, ни одной дырки. Строгие формы, никакой пошлой пухлости армянского люкса. Папа притащил с рейда. Они заброшенную гостиницу опечатывали. Что в инвентаризацию не попало, разыграли. Вслепую. На спичках. Беспроигрышная лотерея для работников правоохранительных органов с зарплатой в сто пятьдесят рублей в месяц. Егорыч выиграл гейзерную кофеварку из нержавейки, Юрец — мороженицу из братской Прибалтики, Валере досталась скороварка, Николаичу — фотоаппарат Polaroid, сокровище, к которому было не достать кассеты, папе — кресло. Лучшее из того, что было, уверял папа. Подушки в кресле исхудали, поролон превратился в пластилин, пружины пересчитывали ребра. Бабушка красное верблюжье одеяло постелила. Аглаю в нем из роддома выписывали. Вероничка с Аглаей все детство скакали на этих подушках верхом. Лучших лошадей было не сыскать. Проигрыватель «Радиотехника ЭП-101-стерео». Рижский радиозавод имени А. С. Попова. 135 рублей. Подарок на

свадьбу. Пластинка «Бременские музыканты». Грустная синяя собака. Черный хитрый кот. Осел Джон Леннон. Петух — профессор в очках. Трубадур-хиппи в джинсах клеш. Принцесса в красном платье Твигги. По повозкам! Вперед! Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла! Е, е-е, е-е!

Аглая опустила ноги на гладкий линолеумный пол, поднялась, потянулась. «Тот woke up early in the morning», — мелькнула в голове заученная вчера фраза из юнита про Past Simple. Вышла из спальни на цыпочках. Чтоб Деда не разбудить.

Большая комната. Темно.

Мамина комната. Темно.

Коридор. Темно.

Аглая щелкнула выключателем туалета, зевнула, потянула дверь. Туалет — баллистическая капсула. Папа показывал ей рисунок в книжке. На вопрос: «А какого баллистическая капсула размера?» — папа задумался и ответил: «Да вот с наш туалет, только потолки у нас повыше будут». Аглая стянула разом штаны с трусами, уселась на расколотую и склеенную изолентой седушку. Дед все чинил изолентой: сгоревшую проводку, шариковые ручки, мебель, папин мотоцикл, туалетную сидушку. Трусы, набор «неделька». Сиреневые Friday с оранжевыми розами. Когда

«недельку» стали продавать на рынке целыми наборами, с понедельника по воскресенье, а не по одной паре, как раньше, мама потратила на трусы половину месячной зарплаты оператора ЭВМ. Купила про запас. «Да, — ворчал Дед, — теперь, если американцы нас все-таки шибанут, закопаемся в гору твоих трусов, втянем носом сладкий финский запах, авось пронесет. Их же и есть будем вместо гречки».

Неуверенно-желтый масляный цвет стен. Стены были выкрашены московской штукатуркой, прямо по бетону, никакой грунтовки, шпаклевки, выравнивания. Аглая сонно разглядывала застывшие песчинки и бугорки на двери. Нахохленная курица на насесте. Всевидящий никогда не моргающий глаз. Профиль Пушкина. Как в «Евгении Онегине», только без боливара. И тут он! Рядом с прямым пушкинским носом корявилась надпись: «Я тибя люблю!!!!!» Лешка-физкультурник нацарапал. Лешка жил на втором этаже, Аглая — на седьмом. Лешка был двоечником, Аглая — отличницей. Лешка сидел на четвертой парте, Аглая — на первой. Лешка был в Аглаю влюблен выше ушей с первого класса. Аглая в Лешку была влюблена где-то по пояс, максимум по плечо — он все-таки был двоечник. В шко-

ле Лешка о своем чувстве не распространялся. Правила есть правила. В школе Лешка дрался с Аглаей на вениках на переменах, кидал в нее бумажные шарики с четвертой парты, подкладывал майских жуков в ранец. Жук один раз выполз, жужжа, летал по классу, пол-урока ловили. Зато когда Лешка приходил к Аглае домой подтягивать русский, весь его хулиганский задор улетучивался. Лешка просто сидел и смотрел на Аглаю. Глупо. Не отрываясь. Аглая была очень красивая в желтом свете настольной лампы, пахла синими чернилами и ватрушками. Правила русского языка после таких уроков Лешка не то что не запоминал, забывал даже то, что мутным осадком еще болталось в мозгу с уроков. Аглая злилась. Ей поручили Лешку подтянуть, доверили… а тут… педагогический провал. Лешка же радовался. Это хорошо, что русский у него не улучшается! Пока он пишет жы-шы-с-бук-вой-ы, никто не посмеет у него Аглаю забрать. Вместо слов, которые Аглая ему диктовала, Лешка писал в тетрадке: «Давай паженемся!!!!!» Единственным знаком препинания, который Лешка уважал, был восклицательный. Лешка щедро приправлял им все послания Аглае. Однажды, когда Лешка уже уходить собирался, сказал, что ему срочно нужно

в туалет. Нет, до второго этажа он никак не дотерпит. Лешка заперся в туалете — баллистической капсуле, оставил орфографически сомнительное признание в любви с пятью восклицательными знаками. Аглая взяла красную ручку, ошибки исправила. Через две недели Лешка притащил Аглае огромный оранжевый апельсин, сунул в руки — свасьмыммартам, — зажмурился и хотел поцеловать, но промахнулся, попал мокрыми губами в нос, только обслюнявил.

А потом все закончилось, Аглая к ашкам перешла — все равно что в другой город переехала. Хотя, если бы она переехала в другой город, было бы лучше. Лешка бы на электричке к ней ездил русский подтягивать, и орфографически сомнительные письма бы писал. А тут… Километры межклассовой интеллектуальной пропасти на электричке не преодолеть. Лешка это хорошо понимал. Аглаю в неудобное положение не ставил. Как видел в коридоре — бежал в другую сторону, отмахивался от постоянно чудящегося ему желтого запаха апельсина, чернил и ватрушек.

Аглая натянула штаны, дернула смыватель. Опять поплавок застрял. Зевая, ухватилась обеими руками за керамическую крышку, потянула вверх. Тяжелая. Крышка дернула залипший по-

плавок. Вода зажурчала.

* * *

Бабушка уже готовила завтрак. Толстая связанная тетей Зоей жилетка (Деду мала оказалась, Бабушка донашивала), штаны в цветочек (подвернутые, на Бабушкин рост, метр пятьдесят два, взрослые штаны не шили), черно-седое неровно подстриженное каре (мама стригла, Бабушка лет десять как в парикмахерские не ходила, деньги не тратила), длинная челка заколота набок старой Аглаиной невидимкой с красной бабочкой. Ничто друг с другом не сочетается, а вместе посмотришь — Бабушка.

— Встала? Вот молодец! Доброе утро, Агуленька!

Пол столовой ложки муки. Артритные пальцы — костяшки — грецкие орехи, засунутые под кожу, выпирающие, — действовали быстро. Безымянный палец выгнут влево, танцует негритенком из «Чунга-Чанги», но от других не отстает. Щепоть соли. Чуть-чуть молока. Три яйца. Вилка зацокала по стенкам чашки.

— Омлет. — Бабушка вылила яичную смесь на черную чугунную сковородку. Зашкварчало, сладко запахло. Даже у стекол на окнах слюнки

потекли. Кто бабушкин омлет не любит?! Бабушка звякнула железной лопаткой, подняла один край омлета, давая яичной массе затечь вниз. Омлет у Бабушки выходил слоеный, суфле, раздувался до верхних краев чугунной сковородки, не имел ничего общего со школьным омлетом-медузой.

Ломоть черного хлеба. Тарелка. Омлет — венгерское покрывало. Взбитое, съедобное, из яичного тюля. Пионовое покрывало с розами Бабушка привезла из Будапешта, хранила в шкафу в спальне. Достала дважды за всю жизнь. Один раз — когда Аглаю из роддома принесли, второй — когда Вероничку.

— «Кушай тюрю, Яша… — Бабушка поставила тарелку с омлетом перед Аглаей, хитро прищурилась: — Молочка-то нет…»[12]

Аглая нахмурилась. Опять! Бабушка!

— Где ж коровка наша? Увели мой свет…

Аглая зажала руками уши, загудела:

— У-у-у-у-у!

Непереносимый и неизбежный стон бурлаков на Волге за завтраком. Бабушка знала, что Аглая его не любит, но повторяла. Сама не знала почему. Яша вырывался из нее материнским голосом,

---

[12] Примечания: 12

Н. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо».

низким горловым альтом, подставлял плечо под лямку добровольно, со всеми разделял страдания, всем сострадал. А-а-а-а-а! — еще громче завыла Аглая.

Бабушка замахала на Аглаю:

— Все, все, не буду. Молчу. Маму разбудишь! Ешь давай!

* * *

Аглая приходила в школу рано, к открытию. Седой охранник Степаныч отпирал стеклянные двери, пускал, сонно кивая сам себе: «Утро ужо, голубонь-ка, утро», возвращался спать в подсобку под мерное гудение радиоприемника. «Темная ночь, только пули свистят по степи…»[13]

«Ты чего так рано?» — сочувственно спросила ее как-то баба Нюра, техничка с волосатыми бородавками на лице. Безразмерная баба Нюра занимала своими выдающимися, словно надувными боками половину школьного коридора, а полы больше пачкала, чем мыла. Аглая соврала. Не задумываясь, быстро, бесстыдно, как стакан бабушкиного малинового компота из холодильника в жару залпом выпила. Сама удивилась, как

---

[13] Примечания: 13

Песня «Темная ночь». Автор текста В. Агатов.

ладно у нее вышло. Не больно, не натянуто, чисто. Что-то про график работы родителей. Что-то про один ключ. Ложь эта почему-то звучала реальнее самой правды и честнее. Баба Нюра погладила Аглаю мягкой, как калорийная булочка, ладонью по голове, угостила сахарным сухарем с изюмом из кармана растянутого двубортного синего халата. Больше не спрашивала, а вот сухарями подкармливала, жалела.

Аглая переодела сменку, бай, бот, бот, повесила куртку в пустую раздевалку, б-о-у-г-х-т, поднялась на третий этаж. Б-о-у-г-х-т. Сейчас она снимет стулья с парт, кэтч-кот-кот, Петька наверняка забыл вчера, си-а-у-г-х-т, повторит все неправильные глаголы, си-а-у-г-х-т, перечитает еще раз текст из второго юнита, чуз-чоуз-чоузен, доучит слова. Кон-си-квен-сиз. Кон-си-квен-сиз. Слово, похожее на Си Си Кэпвелла из «Санта-Барбары». Смешное.

Аглая любила сидеть одна в чистом пустом классе по утрам, представляла, что это ее комната, собственная. У Ольки Ворониной была не только своя собака, но и своя комната. Олька жила на турбазе, там новые дома построили, ее отцу-капитану дали квартиру. Когда Олька в прошлом году позвала их с Наташкой на день рождения, Аглая очень удивилась, что у Ольки в

комнате всего одна кровать стоит. Надо же, как бывает. У Аглаи даже угла своего не было. Просыпался бы Степаныч пораньше, она бы и в шесть утра в школу являлась, а потом, в восемь, бежала бы обратно домой, когда мама уходила на работу и можно было посидеть в ее комнате. Аглая щелкнула выключателем в коридоре. Коридор загудел, потрескивая, кашлянул с утра уже уставшим светом. Хорошо-то как! Хорошо! Аглая повернула ключ класса. Кам-кейм-кам. Коме-каме-коме.

Петька! Убью! Стулья стояли криво, пол был грязный, на доске каллиграфическим почерком Ольги Николаевны выведена домашка для пятиклашек, все крылья исписаны разбором предложений.

Защипало нос. Аглая шмыгнула, сморгнула подступающие слезы. Не реви! Петька все-таки не убрался. Не реви! Глашка, поставь меня одного! Это ты ревешь или я реву? Меня девчонки задолбали, сама видишь! Это я реву. Глашка, ну пожалуйста! Я все уберу! А ты не реви. Дурак Петька! Дурак! Я не реву. Аглая поджала губы. Английский. Кон-си-квен-сиз. Только Си Си Кэпвелл может лишить своего сына наследства и сообщить ему об этом в заказном письме. Вот такие последствия доверчивости. Сама виновата! Аглая

скинула рюкзак, посмотрела на часы на стене. Если не думать, действовать быстро, за полчаса управится, а потом… потом запрется в классе и никого до звонка не пустит, неправильные глаголы она во что бы то ни стало доучит!

Аглая хлюпнула носом, принялась за уборку. Выровняла по квадратикам на линолеуме парты. Три ряда. Подняла стулья, по восемь на ряд, больно саданув косточку на правой лодыжке железной ножкой. Черт! Стул был, конечно, Настькин, защищал хозяйкино место, огрызался. Английский только два раза дома проделала, заснула вчера. Дурак Петька! Дурак! Аглая подмела пол. Опять Сморчок без сменки пришел. Под партой целый песчаный карьер!

Протерла парты, каждую проверила снизу, отодрала жвачку с Мишкиной крышки. Жвачка сладкой слизью облизала пальцы. Жвачку эту Мишке бы на лоб приклеить! Вытащила из-под раковины красное пластиковое ведро, набрала воды. Хорошо у них в классе своя раковина. Кабинки-эксгибиционисты в школьном туалете не просто распахивали дверные плащи, нечего было распахивать, просто стояли голые, бездверные, смотрите кто хотите. Кто не хочет, тоже смотрите. На мраморный бюст Ленина в актовом зале

денег хватило, на двери в туалет — нет. Запах перебродившего борща, которым их с Веро-ничкой однажды пытался накормить дядя Валера, убеждая, что борщ свежий, никогда не выветривался. Баба Нюра до туалетов доходила через раз. Ее художественное полоскание старых панталон по полу освежающего эффекта не имело. Аглая за восемь лет приноровилась, терпела до дома. Главное, за завтраком много чая не пить.

Аглая окунула в ведро старую тряпку-футболку с крокодилом Геной. Шваброй мыть пол в школе не разрешали, неэффективно. Засучила рукава синего трикотажного пиджака, оттащила ведро в конец класса. Отжать тряпку. Протереть пол. Прополоскать. Отжать. Протереть. Прополоскать. Отжать. Одноклассники, даже самые сознательные, полы нормально не мыли, как баба Нюра, — поволозят мокрой футболкой по проходам, если воду раз сменят, уже хорошо. Даже Наташка! Ее Наташка! Аглая же меняла воду каждые две парты. Вода быстро чернела, волосяная тина покрывала поверхность. Кто так лезет?! Вика, что ли? Первый ряд, проход, второй ряд, проход, третий ряд, доска. В началке они всегда дежурили по пятеро, звездочкой. Мыли каждый свой ряд, а потом пили чай с баранками и дрались

с Лешкой на вениках. В гимназическом все стало безбараночно и одиноко. Аглая слила последнее ведро, выполоскала намокшего крокодила Гену, отжала, встряхнула, повесила сушить, вытерла рукавом лоб. Челка намокла, прилипла. Аглая хотела перевязать растрепавшийся хвост, передумала: без Бабушки все равно ровно не получится, еще время терять. Убью Пивоварова! Убью!

Аглая вымыла доску три раза, чтобы ни одного развода не осталось, встала на цыпочки, написала справа вверху дату. Буква к букве, ровный почерк с задней обложки зеленой тетрадки в двенадцать листов. Похожая на верблюда-гусыню остроносая «Ш», изящная «т» — перевернутая греческая омега, ладная, ровненькая круглолицая «а», задорная «я», Петрушкой раскинувшая ноги в красных сапогах. Заглавная островершинная «А» — любимая — правая нога на каблуке, гопака танцует, закорючка аккуратно завязана большим бантом куклы Суок из «Трех Толстяков». Это вам не криво согнутая проволочная «Е» и не скучная баранка «О». Лучшая у нее буква из всего алфавита, самая красивая.

Аглая намочила тряпку для доски, сложила пирожком. Поменяла мел. Полила цветы. Две толстянки в шкафу — советский бонсай — должны

были приносить деньги, но приносили только бесконечные побеги. Ольга Николаевна раздавала с любовью завернутые в тряпочку побеги толстянок коллегам. Толстянки захватили уже полшколы. Аглая протерла каждый листок тещина языка расцветки «зеленый гепард». Быстро полила молочай с мохнатой гусеницей посередине. Из-под стола Ольги Николаевны достала банку с четырьмя зубчиками чеснока для розовой герани, добавила туда перекись водорода и растертые таблетки янтарной кислоты. Полила. У всех герань была пожухлая, безжизненная, а у них зеленая, толстоногая, откормленная, как теленок. Слава богу, хоть плющ истребили! Все полки им были заставлены. Ольга Николаевна в начале года вычитала, что плющ приносит неприятности в личной жизни, все раздала. Аглая сняла стулья, аккуратно задвинула, оглядела проделанную работу. Улыбнулась. Бескорыстная гражданская солидарность одной со всем классом. В дверь постучал Мишка:

— Эй, открывайте, кто там закрылся!

Аглая взглянула на часы. Без пяти восемь. Черт!

Не успела ничего повторить. Убью Пивоварова! Убью!

* * *

Аглая поймала Петьку только на третьей перемене. Кэтч-кот-кот. Си-а-у-г-х-т. Петька смылся с первой литературы, удрал с математики. Не совсем дурак оказался. Знал, что поступил нечестно. Повезло только после биологии. Петька схлопотал вторую карандашную двойку, биологичка оставила его на воспитательную беседу по поводу Дарвина и теории эволюции. Петька на уроке утверждал, что археоптерикс — это древнегреческое божество, питающееся арахисом. Настьку Петькина теория привела в восторг, биологичку — в замешательство.

— О, Дымова! Привет! Что-то я тебя сегодня не видел. Прячешься, что ли, от меня? — Петька сшиб сторожащую его в дверях Аглаю.

— Я за тебя, Пивоваров, весь класс отдраивала утром. Одна. — Аглая уставилась на Петьку в упор. Не сдавать позиций! Стоять насмерть!

— Бокс, Дымова! — Петька стиснул кулаки, поднес к лицу, прижав локти к корпусу, опустил на грудь подбородок, чуть согнул ноги, привстав на носки, запружинил, исподлобья поглядывая на Аглаю.

— Почему ты пропустил дежурство, Пивова-

ров? — Аглая встала прямо перед Петькой, тоже сжала кулаки, но внизу.

Петька качался, обдавая Аглаю запахом сухариков с чесноком.

— Ды-мо-ва-а-а, на историю опоздаем! — Петька сделал хук правой в воздух.

Аглая не шелохнулась.

— Глашка, ты ж нормальная девчонка. — Петька бросил боксировать. — Ну зачем нудишь, а? Заладила: «Пивоваров», «Пивоваров»! У меня, Дымова, между прочим, имя есть! Петя меня зовут! Приятно познакомиться!

— Мне надоело за тебя убирать, П… — Аглая споткнулась о первую букву. — Пе-е-етя. Ты два дежурства пропустил. Вот! — Аглая ткнула Петьке в лицо разлинованным двойным листком в клеточку с графиком дежурств: — Видишь, Пе-е-етя? — Аглая нажала по очереди на каждый звук его имени, как на клавиши фортепиано. Первое задание в музыкалке: «Ан-дрей, во-ро-бей, не го-няй го-лу-бей!» — Одни красные крестики! Ты, Пе-е-етя, один большой красный крест!

— Проспал, Глашка, ну честно, проспал! — Петька махнул дикаприовским чубом, развел руки, сделал полшага в сторону.

Прозвенел звонок. Аглая сглотнула. Она ни-

когда на уроки не опаздывала, но если сейчас сдастся… Петька прищурился, облокотился о стену, сложил руки на груди:

— Глашка, вот ты мне скажи. Ты чего в таких бабских нарядах все время ходишь, а? Ну, глянь на себя… Тебе что… сто лет?!

Аглая опустила график дежурств, сделала шаг назад, будто решила посмотреть на оставшуюся на ее месте вторую Аглаю со стороны.

— Ну как бомж, ей-богу, Глашка! — Петька повеселел, перехватил наконец инициативу. — Что за пиджак на тебе висит, что за бабская юбка! Коленки торчат! Ты как отцовское пугало на поле! Всех ворон распугаешь! У-у-у-у-у! — Петька поднял две руки, растопырив пальцы, зарычал, как Петров в «Красной Шапочке»: — Жё сви лё лу гри!

Аглая часто заморгала, вцепилась в правый рукав пиджака пальцами, потянула. Костюм они с мамой на рынке купили. Обыкновенный костюм. Почему бабский? У Наташки такой же, только зеленый. Молча уставилась в пол. Подвернула коленки внутрь, спрятала под юбкой.

— Что за стремный прикид, Глашка? Ты ж не крокодил какой! Как эта… у бэшек… Как ее? Анфиска! Вот Анфиска крокодил натуральный, трусами не отмашешься! А ты?! Нет, Глашка,

ты не крокодил, это я тебе ответственно, профессионально, можно сказать, заявляю! У меня уж в этом есть кое-какой опыт! Волосы б тебе распустить! — Петька было потянулся к совсем растрепавшемуся Аглаиному хвосту.

Аглая не растерялась, заехала ему сжатым кулаком по руке. Сама со своими волосами разберусь! Петька не обиделся, хихикнул:

— Штукатурки бы чуть добавить! Губки б подкрасить. Губы у тебя ничего даже, Дымова! — Петька нагло, как-то голо уставился на ее губы, вытянул бантиком свои и закивал: — Потестим?

— С Настькой тесть. — Аглая закусила свои ни-чего-даже-губы, фыркнула.

Петька махнул на нее рукой:

— Зря отказываешься, Глашка! Я бы тебя поднатаскал, даже не без некоторого удовольствия…

Аглая смотрела на Петьку из-под челки.

— Ладно, давай свой график! — Петька протянул широкую ладонь. — Подежурю в этом месяце все твои смены! И свои. Один! Честно все вымою. Честно не просплю! Заведу будильник! — Петька покрутил большим и указательным пальцами, изображая завод будильника.

— Вот еще! — Аглая потерла пылающие щеки. — Чтоб у нас класс плесенью зарос за месяц!

— Не зарастет, Глашка! Сиять будет, руку на отсечение даю! — Петька ладонью отсек себе в воздухе по локоть руку. — Только уговор. Математика. — Петька прищурился.

Аглая покрутила у виска. Совсем сбрендил!

— Глашка, ну пожалуйста! Ты ж отличная девчонка. — Он опустился так, чтоб быть на уровне ее глаз. Рваная прическа. Гель для укладки. Прямые низкие брови. Прямые симметричные ноздри. Прямой, без горбинки, нос. Чертов красавец. — Мне контрольную вот так нужно написать. — Петька провел большим пальцем вдоль горла. — Я ни фига в этих дробях не понимаю. Владимировна грозится двойку в четверти вывести! Ты меня и физическим трудом облагородишь, и интеллектуально воодушевишь! Я сзади тебя сяду, со Сморчком партами махнусь. Ты просто тетрадку в середину положи и плечом не загораживай! У меня зрение как у орла!

Аглая молчала. Все смены? Один? Стулья поднимать точно не станет, полы мыть тем более, так, веником помашет…

— Глашка, исто-о-ория! На пять минут уже опоздали! Давай, Дымова! Побежали скорее!

Аглая кивнула. Петька подмигнул, пустился по коридору:

— Догоняй, Дымова! Разминка. По физре тебя в благодарность подтяну!

Аглая посмотрела Петьке вслед, потом на свои коленки, вздохнула, побежала за ним. Из-за Петьки не успела эпоху дворцовых переворотов повторить. Дурак Петька! Дурак!

* * *

Зеркало дома было одно. В коридоре. Аглая притащила с кухни табуретку, залезла. Посмотрела на себя в полный рост. Самое несуразное существо на планете. Синий костюм действительно на ней висел. Поролоновые подплечники торчали лопухами. Из-под плиссированной юбки выпирали коленки-бугорки-в-столичном-кексе. С серым синяком от мытья полов. Коленкам врезала Аглаина гиперответственность. Так им и надо! Аглая потерла колготки. Нет, бесполезно, стирать нужно, хозяйственным мылом оттирать. Широкополой шляпы не хватает, был бы настоящий Страшила с соломенными мозгами. Дурак Петька оказался прав.

— Ты чего на табуретку забралась? — Мама хлопнула входной дверью. Сиреневое пальто «Салют». Технология «Лоденфрай, ФРГ». Тетя Зоя, в институте когда училась, купила два одинако-

вых: себе и маме. Сносу им не было.

— Мам, я курицу купила. Куда ее? В морозилку? — Мама положила на галошницу черно-белый полосатый пакет с силуэтом развратной женщины Марианны в шляпе. — Ноги держи ровно. Чего кривишь? Как о… — Мама запнулась.

— Бабушка к тете Фекле ушла. — Аглая глянула вниз на свои кривые ноги, сдвинула их. Ноги хотелось обменять на новые.

— Да ты просто стой ровно, а то растопыришь… — Мама поймала в зеркале Аглаин взгляд, подбадривающе кивнула, нахмурилась: — Ты где так костюм изгваздала?! И колготки… Как отец, ей-богу… — Мама поняла, что сказала что-то запрещенное, как матом выругалась, быстро подхватила пакет, скрылась на кухне.

Аглая повертела рукава, пыльные, заляпанные, отряхнула. Пиджак не оттирался. Прямо как шубка, когда был папа и была зима…

Была зима, было много-много, столько-не-бывает снега.

Была шубка, новенькая, желтая в черную крапинку, шубка тигренка на подсолнухе. Мама полдня в Москве очередь отстояла, занесла в квартиру, как младенца из роддома, нежно обнимая, боясь ненароком повредить. Все собрались

посмотреть: тетя Зоя, Бабушка, тетя Фекла. Это ж надо! Достала! Ах, какая славная!

Был белый ремень с железной пряжкой, ловко подхватывающий на поясе, крепко обнимающий их обеих — и Аглаю, и шубку.

Был длинный красный клетчатый шарф, тети-Зоина работа. Бабушка завязывала шарф сзади: «Шею беречь нужно, Агуленька, надует, ой как больно шейке будет!» Шарф удавом в тридцать восемь попугаев и одно попугайное крылышко обвивал воротник. Два слоненка, пять мартышек, четыре Аглаиных шеи в воротнике. Шея теряла способность вертеться. Голова поворачивалась только вместе со всем телом.

Аглая с шубкой сливались в единый организм — шу-бодевочку, очень красивую шубодевочку, во всем городе таких всего две, она и дочка мясника с рынка.

Была белая, мягкая, как тети-Зоина пряжа, пушистая шапка-ушанка, космонавтским шлемом крепко держащая голову в безвоздушном пространстве, в невесомости, где нет ни света, ни звука.

Были коричневые колготы, от кого-то доставшиеся по наследству и оттого дотягивающиеся до подбородка. Колготы превращали худые Аглаины

ноги в толстые, выпученные, бегемотьи. Складки хлопчатобумажного жира собирались над коленками, под коленками, у стоп.

Были рейтузы, купленные Аглае по размеру и оттого уникальные, но из-за колготочной гармошки маловатые. «Нет, Агуленька, рейтузики надеть нужно. Мороз тебя за попу без рейтузиков схватит и укусит!» — Бабушка складывала ладонь волчьей пастью, щипала Аглаю за нос. Цап!

Были серые волосатые, как листья бабушкиных фиалок, валенки в черных галошах. В валенках Аглая из девочкошубы превращалась в голубого шагающего по столу пластикового ослика с торчащими ушами и красным шариком. Красный шарик мама кидала со стола, и Аглая топала, топ-топ, вразвалку, топ-топ.

Были санки. Со спинкой. С разноцветными, как цветик-семицветик, дощечками. Со сложенным в несколько раз верблюжьим одеялом, чтоб попа не мерзла.

Был папа, молодой, усатый, гордый. Мама с Бабушкой доверили ему Аглаю без присмотра. В первый раз. Отец-молодец.

То, что катались они с папой не по-людски, Аглая поняла не сразу. Кататься с папой было весело. Они забирались на вал, на самый верх, туда,

куда ни мама, ни Бабушка никогда не разрешали. «Нет, Агуленька, вот на этой горке давай, смотри, какая ладная, для малышей». Папа сажал ее на санки, как рогатку, оттягивал назад, прижимался усами к щеке, шептал: «Готова?! Держись!», отпускал вниз, с вала. Полозья фыркали снегом, сердце визжало получившей на Новый год заветного Чебурашку Вероничкой, нос не дышал. Десять секунд восторга и ужаса. Санки тормозили. Тпру! Аглая сидела не шевелясь, ждала папу. Папа слетал следом, на картонке, отряхивал Аглае мокрой шерстяной варежкой нос. Еще? Снова тянул ее на вал, высоко, высоко, выше всех. Они катались на санках, на картонке, на животе. Даже на спине — ложились на картонки и мчались вниз, наперегонки со звездами, просом рассыпанными чертом перед Солохой.

Только когда они вернулись домой, скатившись с горы столько раз, до скольких Аглая еще считать не умела, с разболтавшимся шарфудавом, стало очевидно, что катались они, конечно, не по-людски, никто-так-не-катается катались, убила-бы-ей-бо-гу — вот как катались.

— Что же это… — Бабушка всплеснула руками, повалилась на галошницу. — А шубка… шубка… Ж Бабушка закрыла ладонью рот, спрятала выры-

вающиеся непослушные слова, тихо заплакала.

— Где?! Еде ты умудрился в феврале найти грязь?! Нет, ну это ж надо! — Мама кипела, как чайник на плите, в который налили слишком много воды, и он выплескивается, и крышка железная у него пляшет. Мама подскакивала на месте, пучила глаза, раскачивая колючий шерстяной воздух, трясла руками. — Свинья, конечно, грязь везде найдет! Тут спору нет…

Аглая слышала отзвуки произошедшей катастрофы неясно, сквозь шапку-шлем, но понимала: случилось что-то плохое, пугающее, непоправимое. Но что, до нее никак не доходило. Аглая стояла перед папой, хлопала глазами, как кукла Маша, которая умела ходить и говорить «Ма-ма! Ма-ма!», а больше ничего не умела.

— Ее еще же Веронике донашивать! Мы с Зоей, с Зоей скидывались, вместе покупали! Это же… Это же!.. — Мама села рядом с Аглаей на корточки, начала раздевать. Из уголка ее глаза ползла блестящая слеза, улиткой оставляя на щеке липкий черный гуа-шевый след.

Маму было очень-очень жалко, у нее беда стряслась какая-то. Аглая поднесла мокрую варежку к маминой щеке, вытерла улиточную слизь. Но мама не успокоилась, она втянула носом воз-

дух, сморщилась, и тут… черногуашевых улиток стало много-много, они побежали наперегонки по маминым распухшим щекам. Кто быстрее до подбородка?! Это были неправильные, так-быстро-не-должны-бе-гать-улитки. Аглая три раза вдохнула носом соленый воздух, надула губы, хлюпнула, зажмурилась и тоже заревела, мокро и обжигающе.

— Видишь! Видишь! Что ты с ребенком сделал! — Мама, всхлипывая, сняла с Аглаи шапку-шлем, пригладила вспотевшие волосики, крепко обняла. — Глаша, Глаша, ты не ушиблась? Нет?

Аглая замотала головой, которая наконец начала двигаться. Мама расстегнула шубку, вынула из нее Аглаю, встала, пошла на кухню — там светлее. Аглая перестала плакать, перекачивающимся пластиковым серым осликом в валенках подошла к маме, ойкнула.

Шубка была вся… вся… будто ее мальчишки во дворе грязевыми снежками расстреляли. Из желтого тигренка превратилась в бурого медвежонка. Такую Вероничке не отдашь. Бедная Вероничка из-за них с папой осталась без шубки! Аглая обернулась на переминающегося с ноги на ногу папу. Папа все еще стоял на пороге. Под его большими галошами растекалась грязная

снежная лужа, валенки от страха описались, как Аглая, когда ее в детстве Дед Мороз напугал.

Мама всхлипывала и что-то все время говорила то шубке, то папе, то шубке, то папе. Шубка и папа молча переглядывались, не отвечали.

— Давай, Агуля! — Бабушка наконец отпустила рот, непослушные слова успокоились, больше выскочить не пытались. Бабушка встала с галошницы, подхватила Аглаю на руки, понесла в ванную. — Ты как чертенок! Мыться пошли!

Шубку потом отдали в химчистку на Горводокачке. Она стала как новенькая, пахла лимонными корочками. И Вероничка ее носила, и тети-Феклина внучка. А на санках с вала они с папой больше никогда не катались. И рассыпанные чертом перед Солохой звезды в мороз, лежа на снегу, не видели.

* * *

За кольцевой дорогой, в поселке, Аглаю догнал Гудвин.

— Аглая, здравствуй! Aren't I lucky to have caught you here?![14]

— Здравствуйте.

---

[14] Примечания: 14
Не счастливец ли я, что тебя здесь встретил? *(англ.)*

«Кот. К-а-у-г-х-т», — повторила Аглая про себя. На английский она переоделась. Мамина красная водолазка, темно-синие джинсы клеш, дядя Валера им с Вероничкой одинаковые из Китая привез, самое похожее на Полинино из того, что было у нее в гардеробе.

— Ты отлично включилась в учебу, Аглая. Если так и дальше дело пойдет, всех перегонишь. — Гудвин легонько толкнул Аглаю в плечо.

В водолазке было жарко. Итальянская. Escada, 100 % шерсть.

— Красиво, да?! Люблю наш поселок. Вроде время здесь есть, а вроде и нет его. Безвременье, в котором можно встретить удивительное. Тебя, например. Ты чего так рано? — Гудвин подпрыгнул, подстроился под Аглаин шаг, ответа не дождался. — Знаешь, я переживал, придешь ты или нет. Ты такая напуганная была на тестировании. И вот я, представляешь, думал о тебе, гадал. Придет. Не придет. Так ты еще и на первый урок опоздала, заставила меня поволноваться…

— Но я не опаздывала…

Аглая заправила за ухо пушистые волосы, сегодня пошла с распущенными, может, от этого еще так жарко. Надо было хвост завязать.

— То есть я опоздала…

Гудвин улыбался, но не ртом, а глазами и носом, она тоже улыбнулась.

— Меня в школе задержали…

— Хорошо понимаю твоих педагогов. Я бы тоже тебя с удовольствием задерживал после уроков… Ты не куришь? — Гудвин достал пачку сигарет Camel, смахнул вверх крышку большим пальцем, предложил Аглае.

Аглая испуганно уставилась на сигареты, будто Гудвин ей, как Лешка, рогатку протянул и предложил стрелять по голубям.

— Ну и правильно… Сможешь найти ошибку? — Гудвин кивнул на пачку.

Папа такие не курил. Camel Filters. Turkish & American Blend Cigarettes. Пустыня. Пальмы. Пирамиды. «Может, в слове cigarettes одна буква t?» — подумала Аглая, но ничего не сказала, замотала головой.

— Помнишь, как это было: «У верблюда — два горба, потому что жизнь — борьба!»[15] Camel на английском «верблюд двугорбый». А у этого горб один. «Вы либо австралиец, либо немецкий беженец»[16]. — Гудвин сам себе улыбнулся. — Вот

---

[15] Примечания: 15
Из художественного фильма «Гараж». Реж. Э. Рязанов.

[16] Примечания: 16
Здесь и далее цитаты из романа В. Набокова «Лолита».

так. Ошибка, а красиво! И какой успех. — Гудвин подумал, убрал пачку сигарет в карман.

Аглая гармошкой задрала рукава водолазки. Надо было футболку надеть. Это не Подмосковье, а египетская пустыня какая-то с одногорбыми верблюдами.

— Давай лучше расскажу что-нибудь интересное. Вот, например… — Гудвин кивнул на деревянную избу справа.

В поселке было много таких. Голубые потертые наличники с облезшими дощечками — клавишами металлофона в ряд. Можно взять молоточек, постучать. В таком доме жила тетя Фекла, они в ее погребе земляном, холодном царстве Кощея Бессмертного и мышей, картошку хранили.

— Жаль, все это умирает. Мимолетная красота. Видишь, верхняя часть наличников — это металлургические клещи, вон там, на кокошнике. — Гудвин остановился, взял Аглаю за плечи, повернул, правой рукой шмыгнул ей под вспотевшую подмышку, показал на окно.

Черт, он же поймет, что она вспотела.

— Плотники что видели, то и вырезали. Знаешь, зачем их вообще придумали, наличники? — Гудвин вынул руку.

Про наличники Аглая ничего не знала, зато

знала, что никогда в жизни больше эту дурацкую водолазку не наденет.

— Деревянные дома усадку дают, между домом и рамами щели образуются, наличники их закрывают. Всю эту красоту наводить стали позже корабельные плотники, те, что ладьи мастерили; помнишь обереги на носу от бушующих стихий, драконы, козлы, тигры, бычьи головы?

Они повернули за угол.

— Как быстро мы с тобой пришли. Говорю же, безвременье. Чувствуешь? — Гудвин остановился у калитки, под липой, втянул воздух. Замолчал.

Липа ровная, высокая, желтизну свою уже почти промотала, жухла цветом вафельного стаканчика. Ясно же, со дня на день подхватит простуду — душно что-то, жар, что же так душно, — счихнет оставшиеся листья, останется стоять голая, ждать зиму, а потом сдастся зиме в плен, до весны.

— Да, дождем пахнет. — Аглая посмотрела туда же, куда и Гудвин, на липу.

— Озоном, Аглая, озоном. У дождя нет запаха.

— Как это нет? — обиделась Аглая. Они с Вероничкой и Бабушкой всегда дождь нюхали, открывали настежь окна, высовывались с ковшиками, набирали вкусную дождевую воду и пили

потом ее по капле из игрушечных стаканчиков, как волшебный нектар. И даже вода дождем пахла.

Гудвин улыбнулся:

— Так, нет. — Он легонько щелкнул Аглаю по носу шершавым указательным пальцем. — Твой нос чувствует не дождь, *а озон.* Три молекулы кислорода.

— Дождь, мой нос чувствует дождь, — упрямо повторила Аглая, все больше, сама не зная почему, на Гудвина злясь, будто он хотел забрать у нее то единственное, во что она отчаянно безусловно верила.

Гудвин засмеялся:

— Ну хорошо, как скажешь. Красивая у нас липа, правда? Липа всегда цветет первой, подруг не ждет. Есть такие деревья, которые раньше других набухают весной почками, волосками пускают рябь по своим едва пигментированным зеленью листьям, пульсируют солнечными пятнами. Не хотят ждать. Всю молодую сладость этого мира себе забирают. — Гудвин потянулся рукой к ветке, сорвал листок, вручил Аглае.

Линии на ладони липового листа были четкие, глубокие, как у Гудвина. Линия жизни оберегом огибала холм Венеры. Линия судьбы, прямая,

ясная, утверждала свое существование четким восклицательным знаком. Яркая длинная линия сердца висела коромыслом через всю ладонь, тянулась от указательного пальца до мизинца.

— Опять желтое. — Гудвин подмигнул: — У нас с тобой традиция, похоже, намечается. «Пряная прелесть, нежный узор наготы». — Гудвин посмотрел на Аглаю, словно оценивал, кивнул на дверь: — Пойдем. Дождь начинается. Ты не грусти, обещаю, мы с тобой дождемся весны. Липа опять зацветет. Липа всегда цветет первой.

Глава третья
Липа цветет первой

На третьем уроке стояла невыносимая физра. Больше просто физры Аглая ненавидела только физру зимой. Приходилось тащить из дома лыжи — папины, зеленые, шелудивые, с неподходящим полустертым названием «Юность» — и наматывать круги по стадиону за школой. Аглая всегда плелась последней. Мамины одеревеневшие стоптанные ботинки постоянно сваливались. Физра и унижение были идеографическими синонимами с разной интенсивностью проявления позора. Старый, дряхлый. Унижение, физра. В таком порядке.

Самая низкая в классе, Аглая стояла в конце шеренги. Каждый урок приходилось делать шаг вперед, скулить постыдное: «Расчет окончен». «Расчет окончен», конечно, нужно было не скулить, а говорить бодрым пионерским голосом, но выходил скулеж. Только раз за всю школу шеренга заканчивалась не на ней. В шестом пришла Наташка, без бантов на полголовы ниже Аглаи, встала в самый конец. Аглая так радовалась, что

Надежда Петровна выпучила круглые обезьяньи глаза и подозрительно спросила: «У тебя все в порядке, Дымова? Тебе что, хвост мать перетянула?» К ноябрю Наташка подло, втихаря, не предупредив, Аглаю переросла. «Расчет окончен» вернулся к ней бумерангом, угодил прямо в лоб. Аглая больше на физкультуре не улыбалась, а Надежда Петровна не переживала за ее хвост.

Надежда Петровна вообще ни о чем особо не переживала. Она не верила ни в тоску, ни в уныние, ни в размазывание соплей по лавочке. Оптимизму, борьбе и спорту, трем фундаментальным опорам своего существования, она посвятила всю жизнь, никогда им не изменяла. У человека с большой буквы «Ч» должны быть принципы. У Надежды Петровны они были, твердые, как ее идеальные бицепсы. Поджарая, быстрая, физкультурой одержимая женщина, внешне смахивающая на многодетную мать из мультфильма «Осторожно, обезьянки!», Надежда Петровна не менялась все девять лет, что Аглая ее знала: не худела, не толстела, не седела, задора не теряла. В школе про Надежду Петровну шутили, что спит она в камере криозаморозки, на ее маленьком круглом лице морщины не появлялись. У всех других учительниц время безжалостно плело

паутину на лбу, в уголках глаз и губ, у Надежды Петровны — нет. Время у Надежды Петровны, как и остальные, стояло по стойке смирно.

Физкультурников в школе было двое: Надежда Петровна и Сашка Михалыч, высокий, ростом с дядю Степу, нескладный алкоголик-обэжешник. Сашка Михалыч был мужик добродушный, но безответственный. Когда он однажды заменял Надежду Петровну, которая уехала в Москву на курсы повышения квалификации физкультурных работников, Аглая размозжила себе подбородок. Споткнулась о железную перекладину и полетела прямиком на деревянный пол. Сашка Михалыч был с похмелья, недосмотрел. Вызывали скорую и маму с работы, накладывали швы. Больно не было, страшно только из-за густой лужи крови на полу и диких глаз Ольги Николаевны, прибежавшей ее спасать и ругаться на Сашку Михалыча. И тоненький шрам остался. Хвостом головастика до сих пор вилял на подбородке. У Надежды Петровны за семнадцать лет педагогической карьеры не было ни одного несчастного случая. На уроках царили армейский порядок и олимпийская дисциплина.

Надежда Петровна всю жизнь носила один и тот же спортивный костюм с лампасами, много

лет стабильного ярко-синего цвета (говорила, что он не выцветает, потому что в Советском Союзе ткани делали качественные, не то что сейчас, один китайский ширпотреб), и белые кеды с тонкими красными полосками, всегда идеально чистые (можно было подумать, что Надежда Петровна жила не в Подмосковье, а где-нибудь в Рио-де-Жанейро, где всегда сияет солнце, гуляет-таки в белых штанах среди танцующих чарльстон мулатов Остап Бендер, а дороги после дождя не превращаются в болотную жижу). На левой половине никогда не линяющей кофты красовались две буквы СС, на правой — СР, обычно разрезанные зубастой молнией на две части. СС и СР никогда на скромной груди Надежды Петровны не встречались. Развал Советского Союза зиял суровым упреком подрастающему поколению из урока в урок, поучал. Надежде Петровне всегда было жарко. «Окна не закрывать! Чтобы быть здоровым, нужны холод, голод и движение!» — повторяла она, если кто-то осмеливался пропищать жалобное «Я замё-о-орзла-а-а». В такие моменты теория о камере криозаморозки не казалась Аглае такой уж фантастической. Кто ее знает. На шее у Надежды Петровны висел железный свисток-талисман, подарок любимого

научного руководителя из Центрального ордена Ленина института физической культуры. Надежда Петровна никогда свисток не снимала, носила его, как Бабушка свой железный крестик. У нее была своя религия и свой бог.

Наташка и Аглая зашли в спортивный зал последние. Попробуй соберись с урока, добеги до раздевалки и переоденься за десятиминутную перемену. Раздевалка в пять квадратных метров походила больше на банку рижских шпрот, а не на комнату: две низкие деревянные лавки по стенам, уже, естественно, занятые (на одну толстую Таньку пол-лавки уходит), толкотня, неуютность, нагромождение полуголых девчачьих тел. Почти так же жутко, как в общественных банях, куда Аглая ходила с мамой и Бабушкой в детстве. В раздевалке было как в парилке: жарко, удушливо, тягостно. Через пару минут, еще штаны стянуть не успеешь, вся как маслом из-под шпрот намазана. Так еще и опаздываешь все время, не успеваешь, Надежда Петровна нервничает.

По-о-остр-р-роиться! — раздалось из дальнего угла зала. Четко, громко, раскатисто. Надежда Петровна поддерживала в спортивном зале свой собственный идеальный, ритмичный мир спорта, дисциплины и победившего коммунизма.

Пусть эти малахольные госсекретари страну и развалили, а она свой мир удержала, удерживает и будет удерживать!

— Опять прыгать будем. — Наташка поплелась к шеренге вяло, желеобразно, заливной рыбой, которую заставили доползти самостоятельно до тарелки, где ее тут же сожрут, даже не посмотрят. Наташка — заливная рыба кивнула на поблескивающие холодным пыточным цветом перекладины. Аглая обернулась. Черт! Только не прыжки в высоту! Хуже только карабканье по канату: кожа на ладонях натирается, как сухая палка, из которой пытаются добыть огонь, а ты хочешь, но не двигаешься, висишь ровно на том же месте, до которого смогла дотянуться, руки-то дохлые, и поднять хоть на один захват твое цыплячье тело силы в них не хватает. Под окнами по стене тянулись две перемотанные белой клеевой лентой перекладины: одна потолще и повыше — для мальчиков, вторая похудее и пониже — для девочек. Вика, высокая, спортивная, Настькина лучшая подружка, крутила задницей возле перекладины. Ей хорошо, перекладина вон ниже бедра. Аглае с Наташкой — по пояс, четвертые в резиночках, когда, чтобы перепрыгнуть, ноги до талии задирать приходилось.

— Безнадега, — равнодушно зевнула Наташка. — Опять вся задница в синяках будет.

— Не зевать в спортивном зале! Тебе что, Галкина, кислорода не хватает? Сейчас у меня на улицу отправишься разминаться! Надышишься! — Надежда Петровна на всякий случай зыркнула на окна, будто кто-то, пока она расставляла перекладины, посмел их закрыть. Убедившись, что окна послушно поставляют в зал кислород, она довольно кивнула. Подпрыгивающей походкой пошла вдоль шеренги, тыкая в носки кед «слепых куриц», которые не видели жирной белой черты на полу. Досталось, правда, только зазевавшемуся Мишке, и то не сильно.

Мишку все в школе любили. Он был хоть и троечником, но добрым и веселым, улыбался торчащими в стороны эльфийскими ушами так, что злиться на него становилось положительно невозможно. Остальные десятиклассники и не думали выходить за черту, стояли ровно, носок к носку. Девять лет курса дрессировки Надежды Петровны сломили всех, даже самых непокорных.

— Ра-а-ас-счи-и-итайсь! — Надежда Петровна едва заметно улыбнулась Петьке.

— Первый, — полно и радостно отчеканил

Петька, физра была единственным предметом, который он любил искренне и взаимно.

Шестой. Седьмой. Аглая смотрела прямо перед собой. В окно желто-зелеными растопыренными листьями лезли клены, высокие, всклокоченные. Ни одной липы. Двадцатый.

— Двадцать четвертый. — Наташкин номер чиркнул по правой щеке запахом ромашкового шампуня.

— Двадцать пятый! Расчет окончен! — Даже голову ей поворачивать не доставалось. Аглая сделала шаг вперед, маленький, цыплячий. Тут же запрыгнула обратно в шеренгу.

— Веселей, ребята! «Мы верим твё-о-ордо в героев спо-о-о-р-р-рта!»[17] — заскандировала Надежда Петровна голосом предводителя майской демонстрации. Сочно хлопнула в ладоши. — Ра-а-азминка! Бег в хорошем темпе! Пять минут! — Замерла, обвела всех ободряющим, искрящимся взглядом, сложила губы трубочкой, поднесла ко рту трофейный свисток, вдохновенно дунула. Надежда Петровна свистела так же, как и жила: с чувством, звонко, пружинисто. Свистела она чуть дольше необходимого, парусами раздувая впалые щеки,

[17] Примечания: 17

Здесь и далее цитаты из песни «Герои спорта» в исполнении М. Магомаева. Автор текста Н. Добронравов.

проверяла жизненную емкость легких. Порядок! Четыре с половиной литра. — На-а-а-чи-и-ина-а-ай! — Надежда Петровна выплюнула свисток обратно на скудную грудь, принялась энергично, будто кривой рукояткой двигателя вырабатывая искру, крутить правой рукой от локтя, задавая бегущему первым Петьке ритм. — Давай, Петя! Давай! Держим ритм! Хорошо идешь. Равняться на Пивоварова! Не отставать! О тебе, Петр, сложат песни! В спорте нужно жить ярко! Ноги, какие ноги у Пивоварова! Гепар-р-рд! В прекрасном мире будущего у всех будут такие ноги!

С ногами Петьке повезло больше, чем с мозгами. Это был неоспоримый факт. Длинные, мускулистые, в коротких шортах с лампасами, они казались идеально пропорциональными, каку Электроника. И очень-очень ровными.

Надежда Петровна периодически останавливалась, три раза свистела и, крутя рукой, Магомаевым речитативом повторяла: «Мы верим твердо в героев спорта! Нам победа, как воздух, нужна…» Она б, пожалуй, даже запела, если бы чувствовала в себе талант к пению. Но такого, слава богу, у нее не имелось. Надежда Петровна считала, что каждый должен заниматься своим делом и не лезть куда не просят. «Мы хотим всем

рекордам… Наши звонкие дать имена!» — хлопала она в ладоши. Глупее песни Аглая в жизни не слышала. Даже в тигров, послушно сидевших у ног Боярского, она верила больше, чем в этих мифических героев спорта с плаката на стене. «Мужеством, ловкостью, силой горды, — множим советских спортсменов ряды». Кто это хочет дать рекордам свои имена? Кто ряды эти множит? Аглая точно не хотела этого. Ни имен, ни рекордов, ни рядов. Петька вот, может, хотел, Аглая — нет.

Петькины гермесовы ноги шагали широко, три Аглаиных шага за один. Где-то к четвертому кругу он без усилий перегнал Аглаю на два круга, к седьмому — на четыре. Аглаины щеки кусались, лоб горел под обжигающим потом, в боку кололо. Черт с ними, с этими рекордами и рядами, главное — не окочуриться прямо в зале. Помрешь — со стыда потом сгоришь. Когда Надежда Петровна наконец засвистела во второй раз, еще громче, еще бодрее, Аглая, красная, клеклая, как маринованный помидор, затормозила, столом-книжкой сложилась пополам, уперлась ладонями в торчащие коленки, задышала по-собачьи. Сердце стучало везде и сразу.

— Молодцы, черти! Хорошо начали!

Аглая подняла глаза. Надежда Петровна сияла.

Настька, Вика, Мишка стояли в углу, у лавочек, ни капельки не запыхавшиеся, лыбились. Аглая знала, смеются над ней. Конечно над ней. Над кем же еще?! Щеки предательски пылали.

— Разогрелись, молодцы! Продолжаем ра-а-аз-минку! — Надежда Петровна кивнула на шведскую стенку, йодной сеткой разрисовавшей светло-бежевую стену спортивного зала. — Ви-и-исим на выносливость! Наталья, Настасья, Аглая, Татьяна, Ксе-е-е-ни-и-ия… к стенке ма-а-ар-р-рш!

Аглая разогнулась. Стоя дышалось легче. Безнадежно поплелась к крайней лестнице, держась за бок, который все еще колол.

— Физкульт-ура, девочки! — Энтузиазм Надежды Петровны мог бы, пожалуй, и мертвого из могилы поднять и приобщить к спорту.

Аглая залезла на верх шведской стенки, развернулась, схватилась за толстую, гладкую, как сарделька, перекладину. Полностью в ладонь сарделька-перекладина не помещалась. Запястье больно уперлось в деревяшку, деревяшка надавила на косточку. Надежда Петровна свистнула, Аглая сжала зубы, бросила ноги, повисла.

— Ра-а-аз, два-а-а, три-и-и! Ножки ровные, носочки тянем! — На каждый счет Надежда Петровна хлопала, поворотом головы заставляя

присоединиться к ритмичным хлопкам отдыхающие лавочки. — Ше-е-есть! Держимся, девочки! Держимся! Моло-о-одцом! Девя-а-ать!

Аглая посмотрела налево. Наташка, Настька, Танька, Ксюшка — все висели легко и беззаботно. Разжимать пальцы не собирались. Аглая уставилась перед собой. Руки покалывало. Виски передергивало. Рот порывался открыться, но Аглая напряглась, сильнее сжала зубы и губы.

— Пятнадцать! Дымова, голову включила. Мне все твердят, что она у тебя хорошо работает. Неза-мет-но. — Надежда Петровна нервно затопала правой ногой, покачала головой.

Аглая заморгала. Стена. Баскетбольное кольцо. Чертовы перекладины.

— Настасья, Ксения, отлично висите, девочки! Молодцы! Двадца-а-ать!

В глазах, как в калейдоскопе, расходились перламутровые крути. Онемевшие пальцы соскальзывали.

— Терпим, девочки! Как рожать будете?! Рожать нужно бойко и весело! Чем раньше, тем лучше! — О родах Надежда Петровна, вероятно, знала из учебников по анатомии. Своих детей у нее не было.

Подушенки на ладонях поскуливали. Перекла-

дины будто загорелись и обжигали, превратившись в обугленные головешки — на таких дядя Валера жа рил шашлыки.

— Двацать чет…

Аглая втянула последний запас задержанного дыхания. Ладони расцепились, их резануло. Она поставила ногу на перекладину, не оборачиваясь на физкультурницу, спрыгнула.

— Пятая, Дымова! — Надежда Петровна с жалостью посмотрела на Аглаю. — Не унывать! Тридцать! Молодцы девочки! Четвертая!

Наташка приземлилась рядом с Аглаей, потерла руки. Ксюшка. Танька. Настька висела, даже и не собиралась падать. Еще и уголочек сделала. Выпендрилась.

— «Мы верим твердо в героев спорта!» Пятьдесят пять! Молодец, Богданова! Отлично сегодня! Отлично!

Настька, довольная, будто ей джинсовую куртку новую купили, показала Аглае мерзкий розовый язык, медленно водрузила себе на голову воображаемую корону, а потом так же медленно водрузила свое невообразимое коровье тело на лавочку. Урок продолжился: отдыхали, снова висели, отдыхали, делали уголок, задирали по очереди ноги к груди.

Шведская стенка сменилась лавочками. Прыгали через (промахнешься — больно ударишь ногу; Аглая прыгала технично, резиночное дворовое детство давало о себе знать), шли по (тут тоже ничего сложного, кто не ходил по горбатым железным лестницам, да что там ходил, наперегонки с Аленкой бегали), отжимались от (полный провал, руки слабые, тряслись и не сгибались, не то что Петька, он отжимался, остро растопырив руки, ровно, мощно, как хорошо смазанный маслом ручной насос от «Урала»).

Когда началась растяжка, Аглая облегченно вздохнула. Хоть где-то не невыносимо двадцать пятая. Даже Надежда Петровна приободрилась:

— Звездный час, Дымова! Покажи класс!

Аглая отлично складывалась в складочку (Настька — нет, Наташка — только наполовину), садилась на правый шпагат (единственная), на левый (единственная), до поперечного не дотягивала чуть-чуть (но все равно никого к ней и близко не было). Надежда Петровна, обычно смотревшая на нее с сожалением, сияла. Честно, по-спортивному, в четверти у Аглаи вышел бы по физре трояк. Аглая это знала. Также она знала, что за нее вступаются и Ольга Николаевна, и Вера Владимировна. Надежда Петровна ей одна-

жды об этом сообщила на лыжном кроссе в три километра. Аглая снова приплелась к финишу последняя с одной лыжей в руке, полу-пешком. «Трояк с минусом — твой потолок Дымова; если бы не эмоциональный шантаж, которому я из-за тебя подвергаюсь, ты бы не факт что и на четверку вытянула. „Нечего девочке аттестат портить", — передразнивая, очевидно, Ольгу Николаевну, скривилась Надежда Петровна. — Ты себе всю жизнь, Дымова, с такой физкультурной подготовкой испортишь! Спорт — жизнь, Дымова. Жизнь!»

— Гимнастка, Дымова! Отлично!

Надежда Петровна боялась перечить руководству, но и против своих спортивных принципов идти не могла. Поэтому успехи Аглаи в гимнастике делали муки совести чуть более выносимыми для них обеих.

— Закончили растяжку, к перекладинам марш!

Растяжку Надежда Петровна важной частью спортивного развития школьников не считала, много времени ей не уделяла. Поэтому звездный час Аглаи закончился быстро. Да какой час, так, три минуты непозора.

Пошли в другой конец зала. Железные подстав-

ки, перекладины-убийцы, синие маты. Первыми прыгали мальчики. Петька даже не разбежался особо, подошел, пропружинил для эффектности, перекладину просто перешагнул. Получил отлично. Мишка, наоборот, мощно разогнался, оттолкнулся, прыгуче, с запасом, перелетел. Мальчишки перекладину не боялись. Почти все справились. Только Кирюша и Сережка ненавидели перекладину так же, как Аглая. Прыгали последними, выглядели рядом карикатурно, будто их Гоголь придумал, а они взяли и ожили. Лешка, низенький, лохматый, похожий на сморчок (в кои-то веки школьная кличка была не обидной, а точной, отражающей унылую реальность), мальчик, с которым никто не хотел дружить, своим крошечным ростом никак не соответствовал спортивным нормативам. Планка ему была по пояс. Он честно старался, группировался, разбегался, взлетал, но перекладину сбивал. Кирюша, толстенький, покачивающийся бочонок меда, роста был среднего, но это ему не помогало: не мог ни разбежаться, ни прыгнуть, обладал, как выразилась Надежда Петровна, нулевой прыгучестью. Надежда Петровна махнула на них рукой, поставила по трояку за старания, отправила в другой конец зала играть в баскет-

бол. Аглая облегченно выдохнула. Хоть перед мальчишками позориться не придется. Еще бы Настьку деть куда-нибудь!

Настька уже стояла в очереди на прыжок. За Викой, высокой девочкой с вытянутым густо веснушчатым лицом. Обе делали вид, что готовятся: задирали, прижимая к груди, то правую, то левую коленку. Точно мускулистые кобылы, отрабатывающие галоп на месте. Плотно облегающие белые футболки с красной окантовкой рукавов подчеркивали их мясистые груди. Груди у Вики и Настьки выпирали, пытались футболки разорвать. Каждая — размером с тело-шар страшной красной советской неваляшки. Кто ее в детстве не боялся? Черный чуб волной выбивается из-под белого чепчика. Брови полностью выщипанные, а потом нарисованные заново черным угольным карандашом. Кривой, намазанный красной помадой рот пошлым бантиком Бетти Буп. Но самое ужасное — глаза: кукла всегда зловеще, скверно смотрела куда-то вправо, ждала от жизни жуткого. Какие там американские клоуны в «Оно»… Стивен Кинг просто никогда не видел советскую неваляшку.

Бом! Бом! Бом! Сзади гулко чеканил баскетбольный мяч, периодически замолкая и ударяясь о

деревянный щит. Шмяк! Мимо! Шмяк! Мимо! Аглая вздрогнула. Широко распахнутое окно, как из сломанного душа, неравномерно окатило холодным колючим воздухом. По ногам блохами поползли мурашки. В носу пересохло. Тело рассинхронилось: ноги, руки — ледяные, живот и щеки — горячие.

Надежда Петровна свистнула, Вика попружини-ла, присела, иноходью подбежала к блестящей перекладине, легко оттолкнулась, вскинула в воздух длиннющую правую ногу, сжала кулаки, легко приземлилась, радостно взбивая кулаками воздух, затанцевала на мате.

— Ах молодца, Началова! Отлично! Я тебя на область запишу, Виктория! — Надежда Петровна похлопала себя два раза по груди, сжала руку в кулак, ударила им воздух, записала что-то карандашом в блокноте.

Ног будто не было, Аглая хотела поднять их к груди, как девчонки, вдруг и правда поможет, — не смогла. Ног она не чувствовала. Висела в воздухе половиной тела, как джинн из бутылки.

Следующая прыгала Настька. Быстро, ловко, Аглая только и успела заметить ее высоко подскочивший толстый длинный лошадиный хвост, идеально расчесанный, волосок к волоску. Насть-

ка, однако, перестаралась. Хоть зазор между попой и перекладиной был пару сантиметров, на ногах, как Вика, не устояла, шлепнулась крепкой задницей на туго натянутый мат. Тут же неваляшкой вскочила, вскинула руки, скрестила ноги, замерла в ожидании аплодисментов. Аглая наморщила нос, хлопать, естественно, не стала. Пусть другие хлопают.

— Анастасия, с хорошим запасом идешь! Красавица! — Надежда Петровна повторила два хлопка по груди, взмах кулака в воздух, но в блокнотик На-стьку не записала.

Аглая усмехнулась. Так ей, воображале, и надо.

Дальше дело шло вяло. Толстая Танька, хоть и была высокая, прыгнуть не смогла. Подбегала и растерянно, будто удивившись, что перед ней перекладина, останавливалась. Подбадривающие возгласы Надежды Петровны («Давай, Татьяна! Это не письмо Онегину писать! Взять высоту! Взять!») не помогали. Надежда Петровна махнула на Таньку рукой:

— Тебе, Туктамышева, стоя номер восемь нужен. На полгода минимум! Жир, Туктамышева, человека убивает!

Ксюшка, напротив, поджарая, спортивная, похожая на газель, разбегалась хорошо, ногу за-

дирала, но, как муха в жаркий день, зависала над перекладиной и валилась прямо на нее. Надежда Петровна орала:

— Двигай! Тело двигай, Ксения! Тело!

Ксюшка с третьего раза все-таки тело двинула, перепрыгнула. Получила свою четверку с плюсом. Наташка, хоть и была всего на пару сантиметров выше Аглаи, перепрыгнула легко, с первого раза. Аглая вздохнула и на Наташку не оглянулась. Все, теперь она одна осталась.

— Дымова, чего застыла как вкопанная?! — Надежда Петровна кивнула на перекладину: — На позицию! Давай, Аглая! Ты маленькая, легкая! Вон как Галкина хорошо прыгнула. Разбег, толчок, полет, приземление!

Аглая кивнула, но с места не сдвинулась. Какой разбег, если ноги — бабушкин холодец. Или нет, не холодец. Холодец хоть как-то колыхается, а у нее вся кровь в ногах замерзла. Ноги — холодец из морозилки. Замороженный холодец.

— Ды-мо-ва, а-лё! Мне долго тебя ждать?! Уснула ты там, что ли?

Аглая опять кивнула. В ушах, как в перламутровой шипастой ракушке, шумело Черное море. Не слышно было ни мяча, ни Надежду Петровну, ни визгов девчонок. Аглая видела, что рот

Надежды Петровны открывается, как у рыбы, и что Надежда Петровна что-то говорит и даже, похоже, злится — лоб, напрягшись, стянулся к переносице, между бровями застыли недовольные складки. Пора. Аглая присела, замерла, но опять не побежала.

— Ды-мо-ва! Ра-а-азбе-е-ег!

Слух вернулся. Надежда Петровна, растягивая каждый слог, перешла на раздраженный тон воспитательницы детского сада, тягучий, как манная каша, которую ты давишься, давишься, но никак не можешь доесть.

— То-о-ол-чо-о-ок! По-о-олё-о-о-от!

Аглая на физручку не смотрела, знала, у Надежды Петровны последняя стадия, или сейчас Аглая побежит, или манная каша перестанет помещаться в желудке, и тогда…

— При-зе-е-е…

Аглая зажмурилась и побежала. Прямо на перекладину. Быстро, не думая. Холодное железо перекладины с лязгом лупануло по правой тазовой косточке, глухо шлепнулось на мат, отскочило. Раз-жмуриться Аглая забыла. Как Танька. Ей тоже нужен восьмой стол. Аглая открыла слипшиеся от непотекших слез глаза, поджала губы, посмотрела на мат, перекладину,

молча развернулась.

Надежда Петровна вопросительно развела руки ладонями вверх, застыла городничим в последней сцене «Ревизора».

— Дымова, что это было?! Где твои знаменитые мозги?! В раздевалке забыла?! С колготками сняла? Так пойди забери! Надень! Вставь обратно в черепную коробку! Или ты их только на математике и русском в голове носишь?

Аглая сглотнула. Бедро ныло, зато ногам холодно больше не было, кровь оттаяла, потекла, холодец вытащили из морозилки.

— Ты что глаза-то *закрыла?! Как в атаку ринулась! Дымова,* давай, *соберись! На стартовую позицию! Кто за* тебя нормативы сдавать будет? *Пушкин?!*

Аглая пошла обратно, хотела *потереть бок, не* стала. В углу едко, *липко заржала Настька и хихикнула* Наташка. Наташка? Аглая *повернулась, встала* на исходную.

— Аглая. — Надежда *Петровна сменила голос* — манную кашу на *голос-аскорбинку.* — Ну, *давай!* Ра-а-азбег, толчо-о-ок, *полё-о-от, при-зем-ле-ние!*

Вот и всё!

Аглая выдохнула, *приготовилась. Разбежаться,* оттолкнуться левой, правую вытянуть *вперед,*

повыше, гранд батманом, перелететь, *приземлиться. Вот* и всё. Разбежаться, оттолкнуться *левой… Аглая* сглотнула, втянула потный воздух, *побежала. Шаг,* два, три… Перед перекладиной, *обрадовавшись, что* так хорошо бежит и даже не *закрыла в этот раз глаза, Аглая* затормозила. *«Толчо-о-ок, Дымова! Толчо-о-ок!»* — раздалось где-то *сзади. Аглая спохватилась,* присела, оттолкнулась… Правая нога *выкинулась* высоко, перелетела через перекладину, *железом облизав* внутреннюю сторону бедра, а вторая нога так и застыла в нелепом плие, не поднялась… Перекладина, недовольно звякнув, шлепнулась на деревянный пол, больно саданув по левой лодыжке. *В этот* раз слезы Аглая не сдержала. *Прыснули, как кишки из* раздавленного жесткой *подошвой тапки таракана,* мерзко и мокро.

Надежда Петровна медленно выпустила *из надутых* щек воздух — диафрагмальное *дыхание Ди*-нейки не работало, — безнадежно махнула на *Аглаю* рукой:

— Вон с моих глаз, Дымова! Я этого не видела! — Отрывисто, нервно засвистела. — Десять минут вышибал всем классом! Пивоваров, Богданова вышибают!

Аглая поджала губы, поплелась в середину

спортивного зала, встала сбоку, рядом с Танькой. Только собралась вытереть потекший нос, как прямо над ней просвистел белый волейбольный мяч. Танька взвизгнула. Аглая среагировала позже своего тела. В вышибалы она играла едва ли не лучше всех во дворе. Пригнулась на автомате. Подняла глаза. Настька зырила на нее, оскалившись. Наташка стояла рядом с Викой и тоже… Аглая сглотнула. Петька мяч поймал, покрутил пальцем у виска:

— Эй, ты куда бьешь, Богданова! Дымова и встать не успела! В середину давай! — Швырнул в Мишку.

Тот отпрыгнул, захохотал. Аглая перескочила, развернулась, шмыгнула носом. Слезы высохли. Настька зыркнула, цокнула языком, но мяч кинула, куда сказал Петька, в середину. А Наташка, Наташка что-то шептала Ворониной и смеялась.

* * *

Наташка уронила щеку на правую ладонь, повисла, зевнула. Наташкина и без того выдающаяся ноздреватость дошла до предела. Наташкины ноздри напоминали двухголовое лохнесское чудовище, смотрящее в противоположные стороны одновременно. Пучок ее темных

волос, свернутый распухшей плюшкой, съехал, болтался на шее, волосы спереди растрепались.

— Я сейчас засну, — зевнула Наташка еще раз и часто заморгала. — Ты к контрольной готова? Ничего не помню… Дашь списать?

Аглая поправила учебник алгебры на столе, пододвинула ручку, ничего не ответила. В класс вбежала Вера Владимировна. Вера Владимировна не ходила. Вера Владимировна бегала. Жила жизнь на двойной скорости. Обязанности завуча, математика с пятого по одиннадцатый, дочь, сын, плюгавенький, клопообразный, но собственный муж, фрезеровщик на заводе. Очень болезненный. Оля, у Гриши опять пиелонефрит. На больничном вторую неделю, да, совсем измучился. Дел в графике Веры Владимировны было раза в три больше, чем могло поместиться в астрономические двадцать четыре часа. Приходилось жить стремительно.

— Достали двойные листочки в клеточку! — Вера Владимировна водрузила на безукоризненно прибранный стол — ручка к ручке, учебник к учебнику — тетради. Коричневое клетчатое платье. Отложной белый воротничок. Три обтянутые тканью тон в тон пуговки на груди. Тонкий кожаный пояс. Юбка-полу-солнце. Башмачки на

небольших каблучках. Ушки шнурков прилежно лежат на язычке, одинакового размера. Подстриженные под каре каштановые кудри. Чем короче волосы, тем меньше с ними мороки. Прическу Вера Владимировна никогда не меняла. Как ее в институте подстригли в случайной парикмахерской, так и ходила. Неброско, работать не мешает, минимум времени на мытье и укладку. Что еще нужно? С косметикой у Веры Владимировны тоже не задалось. Красила только ресницы. Ни маминых голубых теней, ни Марфушиных румян, какими промышляла биологичка, ни стрелок Ольги Николаевны. Но Аглая не сомневалась: Вера Владимировна у них самая красивая. Доставшаяся им своя собственная Мэри Поппинс. Одна на всю школу. В их дыру Веру Владимировну принес не восточный ветер из Вишневой улицы, а юго-западный, прямиком из Ленинки, лучшего педа страны. Пути распределения молодых кадров СССР были неисповедимы. Наташка хрустнула двойным листочком в клеточку. Скрепки тетради огрызнулись, содрали клок бумажной кожи на сгибе.

— Бли-и-ин! — Наташка смяла двойной в клеточку, засунула в портфель.

Крот бы и не заметил своими слепыми глазами,

что листок дырявый, а Вера Владимировна не только заметит, но и полбалла за оформление снимет.

— Последний, блин. Глашка, дай листочек.

Аглая нахмурилась, погладила тетрадку, будто Наташка ее, как собаку, пнуть хотела. Жалко. Дома листочки готовить нужно. Вера Владимировна о контрольной заранее предупреждала. Листок, однако, Аглая вырвала, не оглядываясь на Наташку, отдала.

— Готовы? Учебники с парт убрали. Контрольные любят что? — Вера Владимировна поднесла длинный указательный палец правой руки к губам. Никакого маникюра. Ногти должны быть короткими, чистыми, без заусенцев. Чем лаки покупать и часами ждать, пока он высохнет, лучше побольше карточек со звездочкой для талантливых детей заготовить.

— Тишину! — оттарабанил Кирюша с последней парты.

Наташка поморщилась.

— Все верно, Кирилл, тишину! — Вера Владимировна подошла к доске, распахнула створки, исписанные ровным каллиграфическим почерком: «Контрольная № 4. Радикалы. Иррациональные уравнения». — Приступаем! — Вера Владимиров-

на взмахнула красной ручкой, как дирижерской палочкой, улыбнулась.

Регулярные контрольные — залог хорошего усвоения материала, а она за это время успеет тетради двух классов проверить. Рациональное использование временного ресурса — это когда за одну единицу времени ты успеваешь сделать объем работы, выполняемый в две единицы времени.

Алгебра давалась Аглае легко. Вера Владимировна хорошо объясняла, последовательно, ясно, с табличками. Можно было и учебник не открывать, если на уроках внимательно слушать. Если бы все учителя так объясняли, прекрасное далеко давно бы уже наступило. В прекрасном далеко все учителя были такие, как Вера Владимировна.

Первое задание: сравнить два числа. Одно со знаком радикала, под корнем которого был еще один квадратный корень, второе — корень шестой степени, под знаком которого тоже квадратный. Аглая переписала условия задачи на листок, принялась раскладывать числа на произведения. Степень должна быть общая, одинаковая, максимальная.

— Миша, в свою тетрадь смотри, пожалуйста. Мне вам оценку одну на двоих с Сомовым поста-

вить? — Вера Владимировна делала замечания, не отрывая глаз от проверяемых тетрадей. Наработанный годами навык. Суперспособность. Третий глаз. Шестая чакра Аджана, открывающаяся за педагогическую выслугу лет.

Вера Владимировна работала в школе со дня окончания университета, никогда никуда не уходила. Многие ушли, она нет. Кто на рынок кроссовками отправился торговать, кто охранником в магазин «Продукты» стеречь запасы водки от лунятящих алкоголиков. Вера Владимировна осталась. Коллег, у которых она теперь покупала CD-диски и видеокассеты на рынке, она в душе осуждала и планомерно проводила агиткампанию по возвращению ценных кадров в лоно образования: «В твоем лице, Федор Александрович, мы потеряли великого физика! А кто, если не мы, Федя? Нет, Федя, у нас сейчас вовремя зарплату выплачивают, у тебя устаревшая информация. На дворе, слава богу, не девяносто второй. Да, мне лопатку, пожалуйста, вот эту». Федор Александрович Вере Владимировне лучшие куски мяса откладывал, но в школу возвращаться не собирался. На рынке платили в два раза больше, а нервов тратилось в четыре раза меньше. Толстый и тонкий край, окорок, корейка и вырезка тебе не

грубят и кочаны капусты на стол из-за фамилии Козлов не подкладывают.

Когда зарплату выдавали китайской лапшой, творогом с молочного комбината или рулонами обоев, почему-то всегда разными, у Веры Владимировны мелькала крамольная мысль написать заявление. Но от этой мысли Вере Владимировне становилось так жутко, что она ее с себя стряхивала, как перхоть со спецовки наконец-то возвращающегося на завод мужа, резким, быстрым движением сухой ладони. Ты аккуратнее, Витенька. Покупала еще одну красную ручку, составляла в голове график контрольных для десятого класса, успокаивалась.

Кубический корень из двух, умноженный на кубический корень из квадратного корня из трех. Аглая кожей чувствовала проедающий ей правый висок Наташкин взгляд. Аглая не оборачивалась. Решала. Наташка ее своим дурацким лазерным взглядом отвлекала. Слишком много сил и энергии уходило на то, чтобы делать вид, что она глубоко погружена в радикалы и Наташку не замечает. Пример решался медленно. Аглая сжала губы. Кубический корень из двух, перемножить степени, дважды три — шесть, максимальная.

Наташка чмокнула, оставила надежду на те-

лепатию, пихнула Аглаю локтем. Разложить второе число. Корень шестой степени из шести, умноженный на корень шестой степени из квадратного корня из шести. Корень шестой степени из шести, умноженный на корень двенадцатой степени из шести. Максимальная степень знака радикала получалась двенадцать. Наглым ноздреватым носом Наташка чиркнула воздух, принялась, шипя, чревовещать прямо Аглае в ухо:

— Ру-ку у-бе-ри!

Привести всё к корню двенадцатой степени. Двенадцатой степени. Аглая руку не убрала. Нет, их с Наташкой к единой степени привести было невозможно. Они у них идеологически разные, эти степени. Ай! Кто-то пихнул Аглаю в спину ручкой. Петька! Аглая с мольбой взглянула на Веру Владимировну. Когда нужно, она ничего не видит из-за своих тетрадок! Вера Владимировна действительно третий глаз отключила, вошла в транс умножения и деления дробей пятиклассников.

Аглая отодвинулась чуть вправо, к середине, но так, чтоб до Наташки не дотронуться, подвинула тетрадку к левому краю парты. Так Петьке будет видно, Наташке — нет. Возвести в четвертую сте-

пень кубический корень из двух. Петька хотя бы не делает вид, что у них с Аглаей может быть одна степень. Настьку, опять же, на физре на место поставил. Во вторую — корень шестой степени из трех. Шестнадцать на девять под корнем двенадцатой степени. Наташка пыхтела громче, чем на разминке. Корень двенадцатой степени из ста сорока четырех и корень двенадцатой степени из ста пятидесяти. Аглая вывела на листочке ответ к первому заданию: «Кубический корень из двух корней из трех будет меньше, чем корень шестой степени из пяти корней из шести». Математика Аглаю успокаивала. Если бы не Наташка — пыхтящий бык рядом, можно было бы отдохнуть. Аглая помедлила пару секунд, опустила левую руку на коленку. Петька ткнул ее ручкой в спину еще раз. Списал! Наташка фыркнула так громко, что Вера Владимировна вышла из транса дробей, подняла на них глаза. Аглая быстро листок перевернула.

Умница, Аглая!

Аглая закончила контрольную первая, получила карточку со звездочкой. Седьмая уже. Соберешь десять решенных карточек за полгода — пойдешь на школьную олимпиаду. Займешь призовое место — пятерка автоматом за полугодие. У Аглаи всегда была пятерка автоматом.

Наташка за нее веник вверху ногами дома в туалете ставила, когда Аглая на олимпиады ходила. Веник работал. Аглая занимала то второе, то третье место в своей параллели.

— Олька, ты в столовую? Подожди! Я с тобой! — Наташка на Аглаю даже не посмотрела. Смахнула все с парты в рюкзак так быстро, будто Аглая ее схватить собиралась, побежала догонять Воронину.

Печенье «Мария» на подоконнике после математики Аглая ела одна. На следующий день Наташка пересела на третью парту, к Ольке. С Аглаей она больше не разговаривала. Своими выдающимися ноздрями пыхтела в уши Ворониной.

* * *

Высоцкий был большой, зеленый, самиздатовский. Папа переплетал. Дерматин. Тонкие желтые листы. Буква «р» на машинке западала. То вовсе выскакивала, то еле отпечатывалась. Папа книгу забыл. Бежал впопыхах. Боялся будто, что его остановят, не выпустят, придется остаться. Если бы не раскиданные по всей квартире улики, можно было подумать, что он тут и не жил никогда. Все было сон, чья-то чужая, не твоя пленочная

фотография с мыльницы Kodak — проваленные контрастные тени, слепящая вспышка-автомат, розовая дымка, скрывающая неприглядную реальность. Папу никто не вспоминал. Ни Бабушка, ни мама, ни Дед. Ни разу. Они, глядя на фантомную фотографию, задумавшись, опускали глаза, говорили: «Нет, не помню. А кто это? Откуда ты это взяла?»

Людей обмануть легко. Пленка Kodak ColorPlus. Тридцать шесть кадров. Проявите, пожалуйста. Нет, всё печатать не нужно. Вот, галочка же — напечатать только хорошие. Или нет. Лучше выбрать, какие напечатать. Первый, тринадцатый, двадцатый. Достаточно. Остальные не нужно. Остальные в топку, в священный никогда не гаснущий огонь памяти Варанаси. Людей обмануть легко. Настоящую правду помнят только вещи. Создают помехи приема сигнала. Давай поиграем в прятки, Аглая. Мы прячемся, ты ищешь. Давай, Аглая! Закрой глаза, считай до десяти. Раз. Красная пластиковая банка-шайба с дырочками из-под мотыля. Мотыль жирный, кровавый, шевелится. Открываешь холодильник вечером и тут же в отвращении захлопываешь. Папа завтра на рыбалку. Два. Старая застиранная, выцветшая кепка. Погребена на решетке под еще живыми

шапками. Если сесть на галошницу, задрать голову — увидишь и быстро взгляд отведешь. Три. Папка с песнями на листочках. Синяя. В столе, в нижнем ящике, под счетами. Папа перепечатывал песни, разучивал на гитаре. Четыре. Гитара. «Орфей», Пловдив. Болгарская. На поверхности шрам. Струны перетянуты. Лады переклеены. Но лучше у нас не сыскать. Пять. Чашка. Папа пил чай с пятью ложками сахара. Как?! Как ты это пьешь?! Чашка олимпиадная. Золотая кайма, пять колец, московская высотка. Дулевский фарфоровый завод. Папино приданое, с которым он переехал жить к маме. Негусто. Негусто. Шесть. Кофта. Серая. Шерстяная. С молнией. Кофта напоминает рыбью чешую. Блестит от жира времени. Давно пора выбросить, но папа ее любил, не выбрасывал. Семь. Собрание сочинений Пикуля. Двадцать томов в обложках цвета топленого молока. Язычок у мягкого знака залит коричневым. Москва. «Товарищество русских художников». Всю полку занимает. В два ряда. Пикуля кроме папы никто не читал, и сейчас не читает. Восемь. Бритва в ванной. Gillette. Лучше для мужчины нет. Бессменный подарок на Двадцать третье февраля. Девять. Старая видеокассета «Лида, картошка». Мама не разрешала кассету смотреть:

«Только после моей смерти!» — «Уж скорее после моей», — смеется папа. Десять. Я иду искать! Кто не спрятался, я не виноват.

Искать было некого, да и негде. Когда Ольга Николаевна спросила, придет ли папа спеть пару песен Высоцкого на вечер, Аглая соврала. Быстро, не задумываясь, смотря прямо в глаза: «Конечно, Ольга Николаевна. Придет, Ольга Николаевна». Папины вещи дома насмехались над ней. Банка от мотыля хлопала пластиковой пастью. Кепка хрипела. Кассета презрительно молчала. Нет, Аглая, не придет. Он даже нас забыл. Он нас любил и забыл. И тебя забыл. Он вообще был, Аглая? Он разве был? Мы тебе мерещимся. И он померещился. Где он живет? А позвонить ему как? Врать, Аглая. Снова придется врать. Лихо. Второпях. Не задерживая дыхания. Не вдаваясь в подробности: «Да, Ольга Николаевна. Мне тоже очень жаль, Ольга Николаевна. Да, заболел, Ольга Николаевна».

Высоцкий открылся на «Балладе о любви». «Баллада» была заложена билетом на Таганку. «Преступление и наказание». Партер. Семнадцатый ряд. Место двадцать три. Папа на Таганке не был, конечно. Мечтал, но билеты достать было сложнее, чем сейчас загранпаспорт получить.

Ночные очереди. Запись на листочке. Дежурство. Опять все забрали перекупщики. Папа выменял билет у Вадика из группы в институте. Сдал за Вадика сопромат. Все, Вадик, ты теперь жениться, а мне билет. Вадик сходил на спектакль, билет не выбросил, отдал папе.

Аглая знала про Высоцкого три вещи. Первая: Высоцкий был попугаем. «Карамба! Коррида! И черт побери!»[18] Вторая: Высоцкий играл Жеглова. Аглая Жеглова любила, но простить ему Левченко не могла. Третья и главная: Высоцкий отчитал папу при полном зале Дворца спорта моторного завода. И это был самый счастливый день в папиной жизни. День, когда сбывается несбыточная мечта, всегда самый счастливый.

Папа часто пел Высоцкого: «Канатчикову дачу», «Разговор у телевизора», «Балладу о переселении душ». О любви не пел. Аглая «Балладу о любви» раньше не слышала. Прочитала начало:

Когда вода всеми ного потопа
Ве нулась вновь в г аницы бе егов,
Из пены уходящего потока
На бе егтихо выб алась любовь

---

[18] Примечания: 18
В. Высоцкий «Песня попугая».

И аство илась в воздухе до с ока,

А с ока было со ок со оков.

«Р» пряталась, как папины вещи, и оттого была виднее остальных букв. Папа перепечатывал песни Высоцкого со слуха. Брал у Вадика магнитофон, пленку с концерта на ночь, печатал с копиркой сразу по три листа. Один — себе, один — Вадику, один — владельцу кассеты, справедливая дань за использование материальных ресурсов московской интеллигенции, в регионах просто невозможной. Самая большая коллекция песен Высоцкого в институте. Папа очень гордился.

Папа был на концерте Высоцкого один раз в жизни. Двоюродная тетка работала на заводе в Подмосковье. Выиграла билет. Подарила. Он взял у Вадика катушечный магнитофон, достал пленку, поехал. У него будет своя собственная запись! Своя собственная запись Высоцкого! Не на один вечер, а навсегда! Ну и что, что магнитофона нет. Вадику еще сколько рефератов писать до пятого курса.

Папа помчался на концерт сразу после пар. С последней отпросился. Соврал, что у друга свадьба.

Электричка. Чемодан с магнитофоном. Советское счастье, в которое по правилам великой

русской литературы вмешался злой рок. Злой рок бросился на рельсы поезда в обличье лося. «Тоже мне Анна Каренина», — ухмылялся потом папа. Электричку остановили. Пока лося-самоубийцу извлекали из-под колес — ты глянь какой, в самом расцвете сил, молодой еще, не шильник, конечно, рога-то у него лопатой, только отрастил, видать, и надо же, сшибло, — прошло два часа. На концерт папа опоздал. Лосей с тех пор не уважал.

В ДК папа забежал с магнитофоном под мышкой на четвертой песне. Одурев от настоящего Высоцкого с гитарой, как лось от слепящих фар поезда, он не запомнил ни как прошел к сцене, ни как зрители из зала на него шикали, ни как водрузил магнитофон прямо рядом с французской туфлей Высоцкого на довольно высоком каблуке, ни как включил его, громко щелкнув. Высоцкий допел «Песенку о слухах», сделал паузу, медленно поставил гитару и, даже не взглянув на папу, принялся его отчитывать. Высоцкий говорил, а папа так и сидел ослепленным лосем прямо на полу в проходе, ничего не понимая и глупо улыбаясь. А то, как Высоцкий его отчитывал, выучил наизусть. Все, все до слова на пленку записалось. Цитировал при каждой возможности, имитировал голос. Это было несложно. Голоса у них взаправду были

похожи — хриплые, крепкие, неотступные. Аглая воспитательные наставления Высоцкого почти не запомнила, было страшно, что папу ругают, еще страшнее, чем когда ругали ее саму, в памяти залипло только непонятное слово «лицедейство» и чувство, которое почему-то шло под номером шесть, а какое оно, это шестое чувство, и что значит, ни Высоцкий, ни папа не объяснил. А потом Высоцкий неожиданно умер. Аглая еще не родилась тогда. Но Высоцкого она почему-то помнила и заочно любила. И как попугая, и просто так.

* * *

Аглая скинула Вероничкину ногу. Вот почему снился кошмар всю ночь. Вероничка маленькая, а нога у нее тяжелая, как папины гири. Красные чугунные гири папа хранил в углу комнаты и никогда не использовал. Гири служили декоративным элементом, символизировали дремлющий потенциал могучей спортивной державы.

— Вставай! — Аглая пихнула звездой распластавшуюся по кровати Вероничку, но та даже не пошевелилась.

Вероничка дрыхла, пуская на подушку слюни. Аглая махнула рукой. Не дождешься! Спрыгну-

ла босиком на пол. Холодный. Но искать носки времени нет. Выбежала в большую комнату. Дед снежным сугробом лежал на диване, захлебываясь, храпел, громко, жирно, по-первоянварски.

Из Дедова валенка под елкой торчала помятая картонная коробка. Сердце дернулось. Не розовая! Аглая втянула носом воздух, поджала губы. Прежде чем совсем расстроиться, решила все-таки проверить. А вдруг? Вдруг не случилось. Дед Мороз международные отношения с Санта-Клаусом за год не наладил. Аглая вытащила куклу, поморщилась. У Барби не могло быть парика Ирины Аллегровой. С такой ходила только пиратская копия Барби, советская Вероника.

Барби Аглае так никогда и не купили. Зато много лет спустя появился Гудвин, взял ее к себе в желтую группу. Уроки на фабрике отличались от школьных, как оригинальная американская Барби от Вероники. Аглая не знала, что учиться можно вот так, жадно, вольно, запоем. Ей повезло. После ориентировки она попала в группу с Полиной. Лучшую, особенную, как говорил Гудвин: «You are my special somethings! So much potential, loves! I can't wait to see how far you'll go. And, believe me, you will go far! Don't settle for 'good enough'! Never settle for 'good enough'!» Они

занимались последние, с пяти до семи три раза в неделю. В остальные два дня приходили в киноклуб, смотрели фильмы на кассетах: «Миссис Даутфайр», «Общество мертвых поэтов», «Форрест Гамп», читали стихи на английском: Киплинга, Набокова, Уитмена. Гудвин обещал отвезти лучших учеников весной на конкурс английской поэзии в Петербург.

Уроки велись только на английском, ни слова по-русски. Аглае казалось, что ее засунули в японский фильм без субтитров, велели все понимать и переводить. Если бы не Полина… Полина оставалась с ней после занятий, помогала расшифровывать аудиозаписи с кассет к учебнику, слушала, как Аглая читает, поправляла произношение. Полина жила на турбазе, где-то у Соснового Бора. Они встречались на Перво-майке, шли на фабрику вместе, играли по дороге в Spelling Bee, по буквам называли вслух сложные слова, чтобы запомнить их написание; «Си. Ай. А. Си. Ю. Эм. Эс. Ти. Эй. Эн. Си. И. Эс». По выходным часами болтали по телефону, мечтали весной вместе поехать в Петербург, а летом выиграть стипендию на учебу в Англии. Стипендию фабрика вручала уже третий год, в мае, двум лучшим студентам, по совокупности результатов экзаме-

нов и проявленной инициативы.

Инициативу Аглая проявляла за семерых. К концу октября всех перегнала, стала лучшей, получала от Гудвина столько же «велдан», как и Полина, а иногда даже больше. Вопрос «Эни-волан-тиаз?» больше не пялился на нее лошадиными глазами из тумана, был ясным, звонким, любимым. Аглая раньше всех вскидывала руку: «Я! Я! Тоже я!» Была «волантиаз» за всех разом. Помогала тете Свете делать стенгазету ко Дню учителя, готовила карточки к Spelling Bee на следующий урок, вызвалась украшать фабрику к Хеллоуину.

Рыжие тыквы, черные летучие мыши, скелеты. Все гирлянды были американские, у них такие не продавали. Гудвин привез из Нью-Йорка. К батареям Аглая привязала пауков на резинках. Оставалось повесить плакат. Всю ночь рисовала. Ватман. Черные маркеры. Паутина из разорванных бинтов. Happy Halloween! В слове Halloween предательски оказалось две буквы «1». Одна из них была вровень остальным, жирная и полнокровная, вторая «1», влезшая между нормальной «1» и толстой «о» с вампирскими глазами, балансировала на цыпочках, втягивала живот, вытягивала шею.

Аглая стояла на лавочке, вытянувшись, как забытая худощавая «1» на плакате, безрезультатно пыталась совладать с ватманом. Ватман брыкался, как Вероничка во сне. Аглая навалилась на плакат всем телом, щелкнула ножницами, попыталась отрезать скотч. Я тебя все-таки повешу!

— Держу! — Гудвин плотно пригвоздил плакат к стене вытянутыми руками, поймал Аглаю в коричневый сачок вельветового пиджака. В сачке было темно, тепло и сумбурно.

— Спасибо. — Аглая, не дыша, проклеила скотчем один угол, стараясь до мешка сачка не дотрагиваться.

— Давай еще! В два слоя. Тяжелый очень, один не выдержит! — Гудвин уперся носом ей в спину, между лопаток, хотел придать устойчивости, стабилизировать. — Wide open on its pin (though fast asleep)… [19]

«Кто-то спал и был открыт», — поняла Аглая. Она проклеила скотч по второму разу. Ватман перестал брыкаться, распластался по стене, замер. Гудвин сделал шаг назад. Отпустил. Лети!

— Класс! Ты это все сама?

Аглая кивнула. Стало холодно и неуютно.

---

[19] Примечания: 19
В. Набоков «A Discovery».

— You are my little special something, A-gla-ya. Устала? Пойдем. — Гудвин протянул ей ладонь: — Пойдем, пойдем. — Улыбнулся. — У меня часа полтора до первого урока. Что нам с тобой на фабрике сидеть? Мы лучше посидим на валу. Есть такие дни в году, которые ни за что нельзя пропускать.

Аглая улыбнулась, оперлась о руку Гудвина и прыгнула вниз, прямо в сачок, обратно в тепло.

* * *

Конец октября выдался теплый, сухой, неголый. Клены, осины, березы стояли роскошные, напоказ нарядные. Вон мы какие! Не будет зимы. Не будет! Бунтарски, вызывающе высовывали вымазанные шипучкой Invite ярко-красные, неправдоподобно желтые языки и календарю, и озадаченным, выдрессированным хмарью жителям города. Листьев на деревьях было так много, будто кто-то не поленился, аккуратно намазал черешок каждого клеем «Момент», чтоб наверняка, чтоб покрепче, намертво прилепил к веткам. Теперь до весны продержатся! Осень, пьяная, шальная, совсем распустилась, позабыла, что это всего лишь Подмосковье. Подмосковье. Место, где шесть месяцев из двенадцати нет

ни солнца, ни неба, ни зелени, лишь тоскливая бесконечная пастернаковская февральность с октября по апрель. Подмосковье, где в ноябре ты не надеешься застать световой день ни утром, ни вечером, живешь с электрическим солнцем в сто ватт, ярким, но поддельным, как джинсы с рынка, которые тебе продали как американские, а на самом деле они, как и все остальное, made in China. Осень вела себя разнузданно, дико, по-неапольски. Щурилась. Усмехалась. Притворялась, что вороний гам вовсе не вороний, а чаечный, писклявый, морской. О зиме, казалось, и думать забыла. Непозволительно, нагло нежилась в конце октября прямо здесь, на Первомайке.

Гудвин шел рядом. Иногда случайно сбивал шаг, покачивался, дотрагивался предплечьем до Аглаи, ничего не говорил. Сама лети, сама! Аглая летела. Ровно. Смотря под ноги. Шаг не сбивала. Тоже молчала. Хотела обратно в сачок.

Вал когда-то давно — так давно, что Аглая и представить себе не могла, в ее сознании динозавры, Рюрики, Долгорукие — все жили примерно в одно время — вмещал в себя весь город. Внутри вала город был зачат, вскормлен, выношен. Вал тогда держал натянутыми земляными мышцами свое дитя. Не хотел рожать: «Не пущу! Пусть еще

подрастет, еще, напьется соков, окрепнет. Ну и что, что перехаживаю. Сорок лет не срок, вон другие и сто ходят». Город, однако, шевелился, без спроса набирал вес, вертелся внутри теплой матки, вытягивал вверх пятки, упирал в земляную стену, подавал туда, в большой мир, знак: «Я готов! Выпускай меня! Мне тесно в тебе, тепло, молочно, но тесно! Мне наружу пора!» И вал сдался. Пузырь лопнул, потекли воды, а с ним вытек и город. Выбрался из земляных оков, оставил внутри белым каменным наростом лишь высокий собор. Стало одиноко и легко. Когда отпускаешь, всегда одиноко и легко.

Аглая любила вал. Он был выше в детстве. Постарел. Притоптался. Укатался полозьями санок. Сдал позиции. Ростом едва доставал до колокольни, раньше до креста дотягивался, был вровень Бабушкиному Богу.

Подожди. — Гудвин снял коричневый вельветовый пиджак, постелил на пожухлую, всклокоченную, после сна так и не расчесанную — времени не было — траву. Остался в белой абдуловской водолазке из «Чародеев». — Застудишься. Нужно быть взрослой.

Аглая села на пиджак, подвинулась, освободила место. Но Гудвин даже не посмотрел на

нее. Устроился рядом, на траве, вытянул ноги в темно-синих прямых джинсах, оперся сзади на руки, уставился вперед. Аглая подтянула коленки, обняла, положила на коленки подбородок. Пустынная Первомайка внизу скучала. Середина рабочего дня. Пятница. На детской площадке в песочнице замученная молодая мать равнодушно наблюдала, как ее трехлетний сын сосредоточенно, важно насыпает в формочки песок, идеальный мир строит. Идеальный мир у мальчика не выходил, рассыпался. Песок был старый, сухой. В него ссали бездомные собаки.

Прямо — ларек «Пиво и воды». В окне ларька висела костлявая спина мужика. Красная спортивная кофта, джинсовые шорты, кожаный ремень, стоптанные кроссовки, длинные, до колен натянутые черные носки. Раньше в ларьке продавали лимонад, минералку и «Жигулевское». Потом ларек закрыли, он пару лет стоял заброшенный. Зассанный и одинокий терем-теремок. Не низок, не высок, не узок, не широк. Пока мимо не пробежал сын начальника кладбища, не увидел в ларьке бизнес-потенциал. Все-таки главная пешеходная улица города. Проходимость утром, вечером отличная, в выходные вообще толпа. А выпить негде. Ларек-теремок от граффити

очистили, от ссанья отмыли, покрасили. Только вывеску оставили. Сын директора кладбища оказался сентиментален, помнил, как отец ему в ларьке покупал «Буратино», а себе — «Жигулевское», со стойкой пеной — тополиным пухом, две литровые банки, одна из-под борща, вторая — из-под рассольника. «Жигулевское» в ларьке теперь не продавали. Продавали водку «Жириновский» («Говно, а не водка, — ругался папа, — но хотя бы российского производства, это ж надо, в России и водку разучились делать») и паленую «Распутин» (на голограмме бородатый старик не подмигивал, как обещали в рекламе, но папа все равно покупал, водка была годная, сколько выпили, никто в отделе еще не отравился). Вместо «Дюшеса» сын директора кладбища завез порошковые Zuko, Yupi, Invite, просто добавь воды (они красили язык в химический розовый, салатовый, светящийся синий, из них Аглая и Вероничка замораживали цветной лед), Snickers, призывающий общественность не тормозить, Milky Way, не тонущий в воде, райское наслаждение Bounty, Mumba, которую любил не только мальчик Сережа, но и Аглая. Клубничная была самая вкусная. Мужик качнулся, отсалютовал в окошко ларька, крепко сжал добытое сокровище с красной пробкой,

развернулся, сильно покачиваясь, взял курс на ближайшую лавочку возле детской площадки.

— Взбалмошно выползала. Стеклянная кривая вены взбалмошно выползала… Полет, — вдруг сказал Гудвин и задумался о чем-то, совсем забыв об Аглае.

Аглая сглотнула. Кожа на пояснице между задравшейся футболкой и выглядывающими из-под брюк трусами — старые, черт, старые трусы, сносу нет — сморщилась, будто кто-то пунктирно, аккуратно убирал лишние чернила промокашкой.

— Кожа у тебя на пояснице прозрачная, — не оглянувшись на нее, сказал Гудвин. — Будто краски не хватило. — Гудвин чему-то улыбнулся, и вдруг вскочил на ноги, закинул назад голову, закрыл глаза, раскинул руки. — Когда я тут стою, на валу. Так высоко, так близко к небу, я представляю, что я… птица. Закрываю глаза и лечу. Понимаешь?

Аглая кивнула. Она понимала. Так хорошо читала наизусть монолог Катерины из «Грозы», что Ольга Николаевна отправила ее на городской конкурс. Не зря. Аглая привезла Ольге Николаевне благодарственное письмо от мэра и грамоту за первое место.

Мужик на Первомайке занес ногу в попытке шагнуть, но цаплей завис на одной ноге, покачиваясь и ловя ускользающий баланс. Аглая замерла, как мужик-цапля. Не шевелилась. Гудвин громко втянул носом воздух. Краски не хватало на кожу поясницы. Нет, хватало. Хватало ей краски. Просто сейчас, против всех законов земного притяжения, вся краска, что была в теле, вся, до капли, собралась в щеках, красных и жгучих. Никогда она не думала раньше про свои трусы. Трусы и трусы. Она даже не замечала, что они у нее черные. Одинаковые они. Их просто нужно менять каждый день. Их мама покупает, в универмаге на третьем этаже. Шьют на городской фабрике. Продают наборами. Лучше бы «недельку» надела. Аглая выпрямилась, футболка опустилась на место, спрятала гусиную кожу.

— Что слушаешь? — Гудвин убрал руку, кивнул на плеер.

Аглая порылась в рюкзаке. Про что угодно, только не про трусы. Протянула Гудвину кассету. Пластиковый подкассетник с бумажным вкладышем в мелкий цветочек. Печать плохого качества, мелкие цветы по обложке психоделически расплывались.

— О! Земфира[20]. Вот такого цвета у тебя кожа. — Гудвин взял кассету, ткнул в розовое пятно. — А глаза зеленые, как листья. Ты сама вся как этот средневековый узор. Нераспустившаяся еще. Нерожденная. — Он протянул подкассетник обратно.

Аглая забрала, спрятала.

— I found it and I named it, being versed in taxonomic Latin; thus became godfather to an insect and its first describer — and I want no other fame…[21] — Гудвин часто ни с того ни с сего что-то цитировал на английском.

Аглая чувствовала, что это было что-то очень-очень важное, но понимать не понимала, злилась на себя, что еще так плохо знает английский.

Мужик с «Распутиным» сделал шаг, попытался сохранить так сложно добытый баланс. Раз, два, качнулся. Устоял. Женщина с ребенком в песочнице, почувствовав опасность, очнулась и пристально смотрела на алкоголика-эквилибриста, готовая в любую секунду вскочить,

---

[20] Примечания: 20

Внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.

[21] Примечания: 21

«Я открыл ее и дал ей название, владея таксономической латынью; и тем самым вделался крестным отцом насекомого и первым, кто его описал, — и иной славы мне не надо» *(англ.).* Из стихотворения В. Набокова «A Discovery».

подхватить сына и бежать.

— Земфира[22]... Хм-м-м. Дай-ка. — Гудвин кивнул на плеер.

Черный, маленький, в пол тетрадного листа. Panasonic. Окошко на крышке. Непонятная надпись FM / AM, вроде радио. Аглая не умела его включать. Пробовала вертеть красное колесико — бесполезно, один шум. Дядя Валера привез плеер из Китая. На день рождения. Сокровище. Наушники с мягкими блинчиками, ровно в размер ушей, как для нее специально сделаны. Гудвину маленькие будут.

Гудвин наушники не взял. Взял плеер. Нажал на кнопку. Крышка, щелкнув, послушно подскочила. Вытащил прозрачную кассету с металлическим зеркальным напылением. Первый альбом. Название песен уже затерлось. «Почему» и «Ромашки» исчезли наполовину. «Снег» остался без последней «г». Один «Синоптик» на стороне А удивительным образом уцелел полностью, не сцарапайся.

— Карандаш есть? Или ручка? — Гудвин перевернул кассету, прочитал вслух: — «Скандал». «Не пошлое». «Припевочка». «Сто сорок». «Ари-

---

[22] Примечания: 22
Внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.

ведерчи». «Ракеты». «Земфира». А она знает толк в манипуляциях. Непонятное всегда завораживает.

— Это не манипуляции! — возмутилась Аглая.

— Как скажешь. — Гудвин улыбнулся.

Аглая порылась в рюкзаке, достала желтую ручку Bic. Гудвин взял ручку, засунул в левую дырку кассеты. Кассета послушно повисла на ручке козырьком, замерла. Слушалась. Поняла, кто теперь хозяин. Мужик на Первомайке снова качнулся, будто сбитый сильным порывом ветра. Но ветра не было. Ноги мужика, казалось, функционировали отдельно от тела. Мозгом не контролировались. Вся мозговая деятельность уходила на удержание в левой руке бутылки «Распутина». Правую руку он то и дело выкидывал вперед, будто успокаивая невидимый ветер: «Ну не шатай же! Чего шатаешь?! Не шатай». Женщина на площадке потянулась к мальчику, подвинула его в угол песочницы, будто боялась, что мужик превратится в гепарда и одним прыжком доберется до ее детеныша, схватит и сожрет.

— Ты читала Платона? — вдруг спросил Гудвин.

Платона? Платона Аглая не читала. Она даже толком не знала, кто это. Дед ей что-то про Аристо-

теля рассказывал, про Аристотеля и Александра Македонского, но не про Платона. Гудвин поймал ее удивленный взгляд.

— Платон — древнегреческий философ, Аглая, писал о разных типах любви. Почти как…

Кассета закрутилась на ручке.

— …Твоя Земфира[23]. Есть Эрос. Эрос очень физичен. Эрос — это страсть, запретное желание тела, потребность обладать.

Аглая забыла про мужика с «Распутиным», сглотнула.

— Когда физические потребности удовлетворены, рождается игра, танец, свобода. Никаких обязательств. Только забавы. Это людус. Людус, — по слогам произнес Гудвин.

«Эрос. Людус», — повторила про себя Аглая.

— Сторге. Третий; ты считаешь? Сторге третий. Сторге — хорошая форма любви. Вот как у нас с тобой. Ты почти… Да. У тебя кожа прозрачная, как у ангела. Если ангел еще спит… Если ангел сегодня не встанет..» — Гудвин обернулся на Аглаю, провел указательным пальцем по щеке, очертил скулу, оставил крошки черной земли. Гудвин землю не стряхнул.

---

[23] Примечания: 23
Внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.

И Аглая не стряхнула. Не терять баланс. Зависнуть. Хотя бы на одной ноге.

— Сторге — любовь-дружба. Недолюбовь… так я бы сказал, но можно сидеть на валу, слушать музыку, говорить о Платоне. Это само по себе не мало, конечно. Правда? Это хорошая, но неполноценная форма любви.

Кассета, цокая, крутилась. Мужик на Первомайке приближался к площадке. Медленно, но неизбежно. Он в очередной раз занес ногу. Завис. Женщина схватила пасочки сына, поспешно запихнула в пакет. Бежать!

— Есть еще промежуточные варианты. И это уже интересно. Прагма, совокупность сторге и людоса. Такая любовь по расчету. Это мы с Маргаритой Антоновной. Теплое, нежное, уважительное отношение. Без ненужных изменений температуры. Ровно, стабильно, взвешенно. Любовь, не хватающая звезд с неба, без бабочек в животе, без тараканов в голове, никакой ненужной природы, только рацио и импульс, великий импульс вместе менять мир. Спокойно, уверенно, по плану. — Гудвин на секунду перестал вертеть кассету, уставился на Аглаю: — Сторге навсегда, понимаешь? Сторге — это выб…

Гудвин не договорил. Не успел. Внизу раздался

дребезг, шлепок, вой, грустный, протяжный, вой сбитой машиной собаки. Заплакал ребенок. Завизжал женский голос, накрученный уже мысленно до предела и потому сорвавшийся. Первомайка из сонной пустой улицы в мгновение превратилась в греческий амфитеатр, где по всем правилам «Поэтики» Аристотеля разворачивалась сцена из возвышающей человека трагедии. На асфальте в луже водки сидел, расставив ноги так, будто ему сейчас рожать, мужик, плакал. Громко, искренне, по-детски. Рядом на жирном осеннем солнце поблескивали осколки «Распутина».

— Не донес. — Гудвин засмеялся, продолжил крутить кассету.

Женщина подхватила сына на руки и, забыв пакет с пасочками в песочнице, побежала вон с площадки, придерживая голову ребенка, очевидно боясь, что та пришита неплотно и от тряски на бегу случайно может оторваться.

— Агапе, агапе, Аглая, — это совокупность эроса и сторге, — продолжил Гудвин, не отводя взгляда от Первомайки. Он говорил куда-то внутрь себя, в нос, тихо, почти шепча. — Совокупность — какое странное, неуклюжее слово. Сово-куп-ность. Унылая оплеуха настоящему чувству. Бессмысленная

жертвенность. Нужно любить себя, Аглая, крепко и честно. Жертвовать не нужно. — Он помотал головой. Кончик ручки торчал из кассеты рыбьим глазом. — Все только по любви. Запомни это. Агапе же — любовь-растворение. Был водкой, стал асфальтом. Так не пойдет. Это любовь, несовместимая с жизнью. Умер предмет страсти. И ты умер. — Гудвин кивнул на мужика.

Аглая сглотнула. Мужик внизу перестал завывать, обхватил седую, подстриженную под ноль голову, уставился перед собой пусто, потерянно, безнадежно. Гудвин взял Аглаю за подбородок, повернул к себе, тыльной стороной указательного пальца смахнул крошки земли. Перешел на шепот:

— Последний вид — мания. Ма… — Он приложил открытую ладонь к груди Аглаи. — Ни… — Вскинул вверх. — Я. — Вернул себе на грудь. — Великая любовь. Высшая. Слияние эроса и людуса. Страсть, радость, жизнь! Мания — это всё, везде и сразу. Без мании не было бы ни одного великого романа. Ни Карениной, ни Гумберта, ни Ашенбаха, никто бы из них так и не родился… Да и их авторы бы не родились. Без мании нет ни жизни, ни литературы, ни искусства — ничего нет. Слушай.

Гудвин вытащил ручку, поднес кассету на свет, прищурился, засунул обратно в плеер. Щелкнул крышкой, поднял с пиджака наушники, подмигнул, надел Аглае на голову, приложил палец к губам — сначала своим, потом ее: тс-с-с! Провел тыльной стороной ладони по щеке, указательным пальцем убрал за ухо волосы справа, убрал волосы слева. Волосы его слушались так же послушно, как кассета. Нажал кнопку.

Тук. Тук-тук. Тук-тук. Аглая подняла глаза. Так. Так-так. Так-так. Гудвин отвернулся. Там. Там-там. Там-там. Убрал руку в карман. Нам. Нам-нам. Нам-нам. Неправильный верблюд. Я не курю. Гам. Папа такие не курит. Это ничего не значит. В ушах гам. Сигарета. Зажигалка. Нет дыхания. Беззвучный щелчок. Затяжка. Будем? Там. Там-там. Там-там. Тамтам. Терпкий удар. Там. Там-там. Там-там. Там-там. Ореховый. Древесный. Там. Там-там. Там-там. Тамтам. Он не вернется. Домой. Бах! Со мной? Задержать дыхание. Бох. Бох-бох. Бох-бох. Они вообще все дураки. Зов. Зов-зов. Зов-зов. Какие дураки. Ров. Ров-ров. Ров-ров. Какие они все дураки. Тесно. Тут тесно. Удар. Дар-дар. Дар-дар. Сколько? Так мало осталось. Первомайка. Мужик. Пальцы. Лужа. Мужик окунает пальцы в лужу, подносит к носу, нюхает. Бах! Я всегда смот-

рю в глазок. Лижет. Она не успеет. Пальцы лижет. Бах. Бах-бах. Бах-бах. Гудвин. Бух. Бух-бух. Бух-бух. Эрос. Обменять. Это обменять. Людус. В коридоре. Прагме. Дзинь. Дзинь-дзинь. Дзинь-дзинь. Сторге. Дон. Дон-дон. Дон-дон. Четырнадцать! Не-до-любовь. Я старше, старше. Учтите. Агапе. Вот. Вот-вот. Вот-вот. Мужик застывает, а потом. Тело его трясется, дергается, будто его бьет судорога… и он. Он плачет. Ком. Ком-ком. Ком-ком. Плачет. Отчего люди не летают? Мания. Ром. Ром-ром. Ром-ром. Мания. Отчего люди не летают так, как птицы? Мания. Рок. Рок-рок. Рок-рок. Мания. Ток. Ток-ток. Ток-ток. Знаешь, мне иногда кажется. Мания. Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Плачет. Тук. Тук-тук. Тук-тук. Когда стоишь на горе. Плачет. Так. Так-так. Так-так. Мания. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Мания. Там. Там-там. Там-там. Мания. Вот так бы разбежалась. Бам. Бам-бам. Бам-бам. Плачет. Подняла руки и полетела. Поле-е-е-те-е-ела.

Бом!

Это и есть шестое чувство.

Это оно и есть.

Шестое чувство.

Гудвин стряхнул пепел, затушил бычок о землю, снял с Аглаи наушники.

— Песня на одну сигарету. Любимая. Пойдем. — Он вручил Аглае наушники. — Пора сеять разумное, доброе, вечное. — Гудвин взглянул на часы на правом запястье. Черный циферблат. Золотой корпус. Английские буквы MON. — Урок через полчаса. Сегодня посмотрим видео про историю Хеллоуина с вами, расскажу, почему там две буквы «1».

Он встал, протянул ей ладонь, теплую, шершавую. Детские трусы. Аглая опять покраснела, крепко сжала большую ладонь. Он легко подтянул ее, поднял. Слегка, нежно провел ладонью сзади, отряхнул.

— Всё! Чисто! Давай, Аглая! Я первый, ты за мной. Нам вместе не стоит возвращаться. Ангелов человека никто не должен видеть. Ангелы должны оставаться невидимыми для обыкновенных людей, но помнить, что они вездесущи. — Гудвин поднял пиджак, к спинке которого прилипли сухие травинки, закинул на плечо, развернулся и молча пошел с вала.

Сбежав, он вроде направился вверх по Первомайке, к поселку, но остановился, развернулся, быстро подошел к так и сидящему на асфальте родившему мертвое дитя мужику, так же, как Аглае, протянул руку. Мужик отмахнулся, что-

то промычал, снова обхватил руками голову. Гудвин достал из заднего кармана бумажник, вынул банкноту, протянул. Мужик бросил голову, поднял глаза, уставился на Гудвина, как ребенок, впервые увидевший дядю Валеру, переодетого в Деда Мороза, замотал головой, что-то сказал, попробовал встать, не смог, шлепнулся. Гудвин снова протянул ему руку, тот схватился, будто это была рука самого Господа, Господа Деда Мороза, поднялся, раскинул распятием руки, упал на Гудвина. Гудвин не отшатнулся, не дрогнул, он крепко обнял мужика, похлопал по спине, сунул деньги ему в руку, развернулся и быстрым шагом пошел вверх по улице.

* * *

На следующий день похолодало. Осень опомнилась, спохватилась. Что же это я?! Недосмотрела! Вам тут не курорты Краснодарского края! Психанула, в графе «число дней с осадками в месяц» число 25, хорошее, ровное, баланс осенних осадков в городе за сезон будет в пределах нормы. Холодный ноябрьский дождь вышел на смену незамедлительно. За пару дней ободрал все листья с деревьев, размешал глинистую жижу в колдобинах на дорогах, сделав участки улиц

непроходимыми, восстановил географически-климатическую справедливость.

Перекручивать кассету на начало «Ариведерчи» Аглая научилась за один вечер. Боялась, что пленка порвется, а второй такой кассеты больше не купишь. Аглая слушала песню нон-стоп. Дома. На улице. На переменах в школе — слава богу, с Наташкой теперь болтать было не нужно. Столько времени освободилось! По дороге на фабрику. На валу. Аглая забиралась на вал и ходила по кругу, пока не промокала насквозь. Когда она возвращалась домой с хлюпающим носом, Бабушка хваталась за сердце: «Ты с ума сошла! Воспаление легких и менингит хочешь заработать?!» Засовывала продрогшую Аглаю в горячую ванну, растирала пахнущей смолой скипидарной мазью, отпаивала чаем с медом. Бурый, густой, больше похожий на яблочное повидло, мед обжигал горло, горчил, пах гречневой кашей. На следующий день все повторялось снова. Бабушка хваталась за сердце, предрекала воспаление легких и менингит, лечила. Но Аглая не заболела ни воспалением легких, ни менингитом. То ли голос Земфиры[24] имел противовирусное, антибакте-

[24] Примечания: 24
Внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.

риальное действие, то ли Бабушкины процедуры работали. Мед и скипидарная мазь. Скипидарная мазь и мед.

Глава четвертая
Мед

«Неизвестно, что мы сейчас отсюда вытащим». Последнюю фразу до темноты, безжалостно пожирающей все воспоминания, мама запомнила полно, пристально: «Неизвестно, что мы сейчас отсюда вытащим». Так тело все время помнит шов на схваченной наспех коже: бугристый, кучерявый, прощупывается сквозь одежду. Края шва вцепились друг в друга, взбухли, как монтажная пена, застыли. В темноте, которую шов купировал, было что-то плотное, важное, недосказанное, недочувствованное. Вот только что?

Мама рожала уже тринадцатый час. Не было сил ни сопротивляться, ни спасать, только отпустить, сдаться, погрузиться в темноту. Взгляд из последних сил зацепился за первое попавшееся: кислотно-белый свет хирургических ламп и глаза Казанковой, как мелом, подчеркнутые белой маской. Казанкова сдержала зевок. Глаза ее сузились, стали пьяными. Главный гинеколог, одна из двух хирургов на весь город. Ее разбудили посреди ночи, вызвали на экстренное кесарево. Свет

икнул и исчез, оставив спасительную темноту. Место, где нет ни воспоминаний, ни ощущений, ни рождения, ни смерти — ничего нет.

Что произошло, ни до, ни после Аглая не знала. Боялась спрашивать. Ей нравилась вырванная вот так, из середины повести о ее рождении, страница. Не черновик. Повесть была написана полностью, просто в одном экземпляре, а он давно затерялся. Существовала и вторая страница, которая уцелела и нравилась Аглае еще больше первой. Из места, где ничего не рождается, она все-таки родилась. Недоношенная, но на удивление крепкая. Два семьсот. Сорок восемь сантиметров. Дура Казанкова маму выписала рыдать о недоношенном ребенке домой: «Мамочка, соберись, что ты тут развела! Скажи спасибо, что жива осталась!» Аглаю не выписали, Казанкова поставила ей гидроцефалию. У Казанковой гидроцефалией болел каждый десятый новорожденный. То ли слово ей нравилось, то ли она других диагнозов для младенцев не знала. Про Казанкову и гидроцефалию по городу ходили зловещие байки. «В черном-черном городе… На черной-черной улице… В черной-черной больнице…»У нее никто рожать не хотел.

Бабушка и Дед пошли высвобождать Аглаю из

хватки гидроцефалии вместе. Дед — в кителе с медалями, Бабушка — с матюками, никто и не подозревал, что она такие знает. Дед ее очень зауважал после этого: «А моя-то! Моя! Не бабка, а командир Красной армии!» Бабушка, в свою очередь, с восхищением вспоминала, как Дед встряхнул Казанкову за белый халат и проревел так громко, что с третьего этажа на первом слышали: «Сколько живу, таких дур, как ты, не встречал. Ты что, змеюка, решила мне внучку угробить?! Мало тебе?! Выписывай немедленно, пока я на тебя в партком не заявил!»

Аглаю унесли домой в тот же день. Никакой гидроцефалии у нее не оказалось. Была она радостным, спокойным ребенком, беззубо улыбающимся в дедовский «Зоркий-4. 50 лет советской власти». Только волосы долго не росли, до трех лет. Ей Бабушка платочек повязывала. Ни братика, ни сестренку мама Аглае так и не родила, да она и не просила. Зато через два года тетя Зоя родила Вероничку. Вероничка смешно надувала щеки и называла Аглаю Гага. «Одни девки у меня, зато какие! — улыбался им на даче Дед, когда они запекали на костре на палках ломти батона. — Какие девки!»

* * *

Аглая не любила свой день рождения. День-ужастик. День, который хотелось сразу перемотать на титры. День, когда к ним раз в год, исполняя родственные обязательства, заявлялась баба Надя. Черные брови, схваченные в уголках невидимыми прищепками, натягивались на лбе бабы Нади толстой бельевой веревкой. На такой во дворе летом сушили рубашки и панталоны. Полные губы в подтеках красной помады. Баба Надя выглядела так, будто кого-то только что сожрала и не успела облизаться, скрыть следы преступления.

Баба Надя приезжала вечером, к ужину. Дарила полезные подарки — кулинарную книгу для девочек: «Я в твоем возрасте уже на всю семью гороховый суп варила!»; чучело зайца: «Ты же хотела собачку, привяжи на шею веревочку и води!»; колючие рейтузы: «Будешь ходить с голым задом — цистит заработаешь!».

Веселость — невеселость, близость — неблизость, счастье — несчастье, Бабушка — баба Надя. Однокоренные антонимы. Они их еще в начальной проходили.

Баба Надя возникала в дверях неожиданно. Налетала стихийным бедствием. Без предупре-

ждения.

Ураган «Надежда».

Вспышка на солнце.

Магнитная буря.

Приближение бабы Нади чувствовали в семье все. Все страдали от баба-Надя-метеозависимости. Сбой в адаптивной к условиям окружающей среды системе происходил мгновенно, как только баба Надя звонила в звонок.

Дзинь! Мама чувствовала надвигающуюся беду первая. Накануне пила пустырник, десять раз протирала пыль в серванте, плохо спала. В день визита бабы Нади невпопад смеялась, суетилась, говорила чужим, взятым напрокат писклявым голосом. Отыгрывала роль услужливой невестки. Катерина потупила глаза в землю.

Дзинь! Как только баба Надя переступала порог, Бабушка впадала в оцепенение. Не ела. Не разговаривала. Глупо улыбалась, как мальчик-дурачок у церкви. При каждой возможности убегала на кухню.

Магнитный фон бабы Нади, казалось, действовал не только на людей, но и на вещи. Плита артачилась. Пылесос забивался. Обычно спокойно зимующие под телевизором банки с огурцами и помидорами, шипя, взрывались. Отстрелива-

лись от чужака, защищали дом. Готовьсь! Цельсь! Пли!

Дзинь! Папа к приходу бабы Нади готовился тщательно. Надевал чистую рубашку, брился, приглаживал лысеющую голову. Закупал стратегический запас алкоголя в ларьке на Первомайке. Пил: «За Аглаю! За мать! За жену! За Аглаино здоровье! За тещу и тестя! За Аглаины успехи в учебе! Ну а теперь за покос!»

Семейный тост, доставшийся папе в наследство от деда-крестьянина. И снова за Аглаино здоровье! Каждый раз, когда маленькая Аглая заболевала, она удивлялась. За ее здоровье папа и дед столько пьют, а она все равно болеет. Где-то в логически-магической цепочке «водка — здоровье» закралась роковая ошибка, которую никто не мог ни заметить, ни исправить.

Дзинь! У самой Аглаи начинались провалы памяти. Каждый год она смотрела на бабу Надю, восседающую во главе стола напротив Деда, и никак не могла вспомнить, как к ней следует обращаться, на «ты» или на «вы». Ни разу так и не вспомнила. Ни разу напрямую не обратилась.

Единственным неметеозависимым от бабы Нади членом семьи оказался Дед. Он аппетит не терял, незнакомую личину на себя не натягивал,

странным голосом не говорил. После третьего тоста за Аглаино здоровье требовал у бабы Нади ответить, верит ли она в торжество коммунизма во всем мире. Баба Надя верила. С самодурами ругаться себе дороже.

Баба Надя перестала случаться с ними внезапно. Также внезапно, как исчез папа. Результат глобального охлаждения. Метеорологический фон наконец наладился. В ближайшие месяцы рост геомагнитной активности не ожидался.

Мама приподняла вправо подбородок: «Деньги на кафе? Какое кафе? А, то, что в „Пельменной" открыли? Не с Наташкой? А с кем же тогда? А Наташка где? Что за Полина? С фабрики? — Мама кивнула: — Иди, конечно. А вечером чай попьем. Я пирог испеку. Твой любимый, с орехами. Мы… — Мама запнулась. — Без гостей в этом году. И слава богу! Хорошо, что у тебя новая подружка. Я рада».

Но Полина была не просто новая подружка. Мама не понимала. Полина была первая настоящая подружка. Не подружка по двору, как Аленка и Олеська. Не подружка по школьному заключению, как Наташка. Не подружка, дочка друзей родителей. «Аглая, поиграй с Ксюшенькой». А настоящая. Подружка по выбору. По любви.

Подружка, с которой в первый раз в жизни захотелось вместе сходить в кафе, отпраздновать день рождения.

* * *

Прошлое Василисы Осиповны никогда не отзывалось эхом в ее настоящем, как не отзывается эхом кряканье уток. Утки кричат, а эха не получается. Ученые так и не выяснили почему, не установили причину. И Василиса Осиповна не пыталась установить. Было и было. Даты. События. Действующие лица. Эмоциональный фон определяется хорошо, четко: повышенный, пониженный, стабильный. Выводы сделаны. Василиса Осиповна не страдала от изощренной формы амнезии, нет. И память ее не была избирательной. Василиса Осиповна все помнила. В мельчайших подробностях. Во всех красках. Вымуштрованная в лингафонном кабинете института имени Надежды Константиновны Крупской память хранила все события ее пятидесятидвухлетней жизни аккуратно рассортированными по картонным папкам с ленточками-завязками: «Детство»; «Матвей»; «Болезнь матери»; «Сережа»; «Институт»; «Рон-сар»; «Без названия»; «Полина». Папок было много, как у всех. Василиса Осиповна ни

одну за истечением срока давности не выбросила, смахивала пыль, держала в чистоте, но без надобности туда не заглядывала. В настоящее не тащила. Оставляла прошлое в прошлом. «Le passe est un oeuf casse». Поль Элюар. «Прошлое — яйцо разбитое». Василиса Осиповна не строила из себя ни святую великомученицу, ни жертву сложившихся обстоятельств. Ни святой, ни мученицей себя не считала. Другие считали. Она — нет. Ne soyez pas si absurde![25] Василиса Осиповна считала себя самодостаточной, счастливой женщиной определенного возраста и опыта с высокоразвитым чувством собственного достоинства, которое подвело ее за всю жизнь лишь однажды. И хорошо, что подвело. Жизнь щелкнула по ее идеально прямому греческому носу напоминанием: «Не застревать! Не унывать! Идти вперед». Василиса Осиповна тогда сделала выводы. Никогда больше не ставила под сомнение выбранную стратегию жизни. Никогда достоинство не теряла. Никогда не шла на компромиссы ни с жизнью, ни со смертью, ни с качеством и красотой вещей, которые ее окружали. «И n'y a que le monde qui reste, il n'y a que le temps qui dure». — «Остается только мир,

---

[25] Примечания: 25
Это же бессмыслица! (фр.)

длится только время». Портрет Дидро висел у них в гостиной. Вылитый Сережа.

Василиса Осиповна сидела на кухне, наблюдала длящееся время, пила чай. Ленинградский фарфоровый завод. Эдуард Михайлович Криммер. Художник-фарфорист, очень неплохой. Форма и роспись как единое целое. Синее. Золотое. Гранаты. Кружевной воротник пузатого чайника. И крышка с золотым кольцом. Обручальным. Когда Василиса Осиповна была девочкой, а мама еще столько не болела, она просовывала безымянный пальчик в колечко, примеряла. Кольцо всегда было ей велико. Не в пору. Даже чайник знал: замужество не для девочки Василисы. Не всем нужно выходить замуж. Не все хотят играть в этот пошлый мещанский миф. Ты, Василиса, никогда не захочешь. Василиса Осиповна поднесла белую кружевную фарфоровую чашку к губам, сделала глоток. Крепкий. Английский. Сережа привез из Лондона, из командировки. Fortnum & Mason. Дарджилинг. Индийский бленд. Из Гималаев. Не имеет ничего общего с крашеным советским мусором. В каждом аккуратно свернутом янтарном листочке вкуса больше, чем в целой пачке со слоном.

Василиса Осиповна окинула себя взглядом в

зеркале. Зеркало Сережа достал великолепное. Начало XX века. Франция. Дуб. Сережа купил им с Полиной квартиру в новом доме, но мебель она выбирала сама, антикварную, по каталогам. Сережа все привез. «Ну ты, Вася, задала мне задачку! — Сережа весь светился, когда грузовик прибыл из Европы, доехал. — Вась, тьг смотри, даже ничего не разбили!» Василиса Осиповна не ставила перед Сережей легких задач. Ставила задачи на вырост. Сережа всегда с ними справлялся. Он был очень талантливый ребенок. Как и Полина, его дочь. Порода. Василиса Осиповна воспитала из брата достойного человека. И из племянницы воспитает. «Помни, Полина, жалеть себя последнее дело. Недостойное. Унизительное. Тебя самой недостойное. Уважение к себе основа всего. Сопли прошлого постоянно не пережевывай — подавишься. Было и было».

Из французского зеркала на Василису Осиповну, как всегда, смотрела красивая седая женщина. Пятьдесят два года. Не старше. Не младше. С молодиль-ными яблочками Василиса Осиповна не заигрывала.

Старела, как и жила, с достоинством. Ее раздражало и глупое желание однокурсниц в институте казаться старше, чем они есть, и постыдное же-

лание ее нынешних ровесниц казаться моложе. «Нет, Соня, это платье тебя не молодит, ты выглядишь ровно на свой возраст. Как и в любом другом. Да, только я скажу тебе правду».

Короткая французская стрижка. Короткая челка, обручем подхватывающая высокий лоб. Василиса Осиповна презирала женщин, которые после сорока ходили с длинными волосами. Вспоминала Галину Волчек из «Русалочки». Морщилась. Длинные волосы хороши на молодых девушках. Да и то не всегда. Ее Полина с короткой прической Твигги самая модная и в школе, и на фабрике — везде.

Черная водолазка. Кашемир. Черные прямые брюки три четверти. Одри Хепбёрн никогда не переставала быть ролевой моделью Василисы Осиповны. Единственная актриса, встретившая старость на равных. С достоинством. На любимую в молодости Катрин Денёв смотреть жутко. Какая пошлость!

Василиса Осиповна любила лаконичные дорогие украшения. Массивный голубой кулон на серебряной цепочке. Серебряные серьги. Черные туфли-лодочки с бантами. Василиса Осиповна повернулась боком, посмотрела на себя в зеркале, нахмурилась. Лишние сто граммов. Вчерашний

поздний ужин с Полиной. Сегодня нужно посидеть на гречке. Восстановить баланс.

— Вася, я открою, это ко мне! — В дверь позвонили, Полина побежала открывать.

Хорошо, что у Полины появилась подружка. Девочка с фабрики. По рассказам Полины, воспитанная, порядочная, из семьи инженеров. Какие-никакие, а тоже интеллигенты. Но подружка — это хорошо, очень хорошо. Полина до болезни дружила только с мальчиками. Вернее, они с ней дружили. Были влюблены. Племянница у нее очень красивая. Правильные черты лица. Большие материнские глаза. Их с Сережей греческий нос. Василиса Осиповна против дружбы с мальчиками и поцелуев в подъездах ничего против не имела. В дружбу с девочками она все равно не верила. Пять лет на инязе, десять лет в женской редакции — папка без названия. Василиса Осиповна делала выводы. У нее вот тоже не было подруг. И что? Сожалела она об этом? Pas du tout[26]. Так бы все и оставалось, если бы не вмешался Аркадий Львович, светило психиатрии. Когда выписывал Полину из стационара, прописал четкий график, регулярные физические

---

[26] Примечания: 26
Вовсе нет *(фр.)*.

нагрузки, тактильный контакт и социализацию: «Да, Василиса Осиповна, Полине нужно общаться с девочками ее возраста. Регулярно».

Василиса Осиповна улыбнулась, знала, она образцово-показательный опекун и образцово-показательный пациент. Она представила их будущий визит к Аркадию Львовичу: «Да, конечно, у Полины появилась подруга. Хорошая девочка. Мы четко выполняем все ваши предписания, Аркадий Львович! Ремиссия. Да, конечно, я тоже надеюсь, что депрессивный эпизод больше не повторится». Папка с названием «Депрессия» в файловой системе памяти Василисы Осиповны была новая, прошлогодняя, но туда она уже тоже не заглядывала. Было и было. Выводы сделаны. Профилактика проводится.

Василиса Осиповна поставила белую чашку с гранатами на дубовый стол — та же партия, что и зеркало, XIX век, — встала, поправила кулон и прическу. Волосок к волоску. Благородная седина. Vous n'aurez jamais une deuxieme chance de faire une bonne premiere impression[27].

Василиса Осиповна вышла в коридор. На пороге стояла, пытаясь занимать как можно меньше

---

[27] Примечания: 27

У вас никогда не будет второго шанса произвести хорошее первое впечатление *(фр.)*.

пространства, девочка. Милая, но не породистая. Василиса Осиповна не любила курносых. Строчка, да, уже и не абзац даже, а одна строчка в папке без названия осталась.

— Вася, это Аглая… Аглая, а это моя Вася. — Растрепанная Полина стояла в коридоре в красных колготках и длинной черной Сережиной футболке. Полина любила ходить в одежде отца.

— Здравствуйте. — Девочка скривила улыбку и, смутившись, уставилась на туфли Василисы Осиповны. Пожалуй, она таких никогда не видела — Сережа из Парижа привез.

— Здравствуй, Аглая! Приятно познакомиться! — Василиса Осиповна подошла к девочке. — Да, я не ношу тапки. Не удивляйся. Мы с Полиной уверены, домашние тапки унижают достоинство человека. Tous les hommes ont l'air ridicules en chaus-settes noires et pantoufles, n'est-ce pas?[28] Правда, Полина? — Василиса Осиповна едва заметно нахмурила брови и пристально посмотрела на племянницу.

— Люди выглядят нелепо в черных носках и тапках, Вася. Про красные колготки там ничего не сказано. Да ладно тебе, сейчас оденусь…

---

[28] Примечания: 28

Все люди нелепо выглядят в черных носках и тапочках, не так ли? *(фр.)*

Василиса Осиповна сделала Полине жест: график есть график. Полина вздохнула, подошла и повисла у нее на шее. Василиса Осиповна едва заметно улыбнулась, приобняла девочку левой рукой, некрепко, но стойко, погладила правой по голове. Рекомендация из книг американского психолога Вирджинии Сатир: четыре объятия для выживания, восемь для поддержки, двенадцать для роста — давалась Василисе Осиповне тягостно и потно. Но она терпела, виду не подавала. И Аркадий Львович опять же на телесном контакте настаивал.

— Это Васечка наша любимая! — Полина попыталась выбраться из объятий Василисы Осиповны, но та не пустила.

— Меня зовут Василиса Осиповна, — поправила она Полину. — Полина редко представляет меня друзьям должным образом. Моего отца, Полининого деда, назвали в честь Осипа Мандельштама.

Василиса Осиповна аккуратно убрала руки Полины с шеи. Trente[29]. На десять секунд дольше предписанного Аркадием Львовичем. Достаточно.

Полина, иди в комнату и оденься, пожалуйста.

---

[29] Примечания: 29
Тридцать (фр.).

Неприлично бегать в одних колготках при гостях. А я угощу Аглаю Сережиными конфетами. Аглая, пойдем со мной! Смелее!

— Ты такие никогда не ела! Вку-у-усные! Папа из Швейцарии привез! — Полина улыбнулась Аглае и исчезла в своей комнате.

Василиса Осиповна кивком велела Аглае снять обувь, а сама вернулась в столовую.

Василиса Осиповна вырастила Полину хорошо. Полинина мать умерла при родах. Молоденькая совсем. Они и пожениться с Сережей толком не успели. Надо же. Первая Сережина любовь — и сразу трагедия шекспировского масштаба. Это у них семейное. Как греческий нос. Сережа явился с младенцем на руках спустя месяц. Девятнадцатилетний. Измученный. С синяками под глазами. Ничего общего с тем денди, который от нее два года до этого сбежал. «Рада тебя видеть, Сережа! Заходи!» Ни слова упрека. Только украдкой взглянула на младенца в его руках. Это был уже второй непредвиденный младенец в ее жизни. Первым был сам Сережа. Младший брат. Двадцать лет разницы. Матери в сорок роды тоже дались скверно. Еще одна семейная особенность. Василису Осиповну бог миловал, она не рожала. Это было как с кольцом на чайнике Криммера.

Не для нее. Мать почти два года после родов не вставала. Да и когда встала, от нее мало проку было. Василиса Осиповна вырастила брата сама, как сына. И вот теперь растила Полину. Как дочь. Провидение выдавало ей уже готовых младенцев. Без беременностей. Повезло.

Сережу Василиса Осиповна тогда отмыла, переодела, отпустила обратно на волю. Нечего ему было губить младенцем свою молодую судьбу. Сережу ждало большое будущее, Василиса Осиповна была в этом уверена. И Сережа ее не подвел. Стал самым успешным в городе бизнесменом. Все сложилось наилучшим образом. Союз развалился вовремя. Они с Полиной никогда ни в чем не нуждались. Сережа Василису Осиповну не просто любил — боготворил больше, чем мать, больше, чем Варю, Полину маму, свою первую и единственную, как он утверждал, любовь. Сережа был готов сделать для старшей сестры, ставшей для него матерью, а теперь так прекрасно воспитывающей его дочь, всё. Сережа любил Полину, регулярно с ней виделся, обещал, что они заберут Васю и вместе уедут в Лондон, когда Полина окончит школу. Жил Сережа отдельно. У Сережи было много подруг, молодых, длинноногих, по статусу. Их незачем было знакомить с единственной

дочерью. Сережа больше не обрюхатил ни одну девчонку в жизни. Сделал выводы, как его учила Василиса Осиповна.

— Садись, дорогая. — Василиса Осиповна указала Аглае на стул, налила чай. — Угощайся, Полинин папа привез из Швейцарии. — Она достала прозрачную прямоугольную коробку с конфетами. Золотые орешки пушкинской белочки. Божественный вкус. Фундук. Пралине. Вафельная скорлупка. У них такие не продавали, конечно.

— Как у вас красиво! — Аглая сделала глоток и поперхнулась.

Василиса Осиповна сделала вид, что не заметила. Интеллигентность заключалась, по ее мнению, в том, чтобы не ставить чужого человека в неловкое положение. Особенно того, кто ниже тебя по статусу. А эта девочка, абсолютно точно, Полине и в подметки не годилась. И что Полина в ней нашла?

— Спасибо, я слежу, чтобы визуальное пространство было не загромождено и гармонично. — Василиса Осиповна опустила на стол руку. Идеальный бордовый маникюр. Указательный палец правой руки взлетел вверх и вместе со средним сделал движение ног Шерон Стоун из

фильма «Основной инстинкт». Василиса Осиповна поймала себя на этом движении и руку со стола убрала.

— Как это вкусно! — Девочка выпучила и без того большие глаза.

Сашка так смотрела, а потом тоже умерла. Все умирают. Рядом с Василисой Осиповной выживали только младенцы. Je fais souvent ce reve etrange et penetrant…[30] Василиса Осиповна принудила себя улыбнуться и только тут поняла… Веснушки, бледные, робкие, лунным просом рассыпанные по Аглаиному носу и щекам. Как у Сашки. Прошлое громко крякнуло и вопреки законам биологии отрыгнулось в сознании Василисы Осиповны гулким стонущим эхом. На мгновение, пока девочка удивленно рассматривала фантик, свет от которого звонко золотил ее лицо, стало темно, непонятно. Сбой системы. Аномалия. Папка без названия. Василиса Осиповна, не пошевелившись, моргнула. И подлила Аглае чай. Мир вернулся к своему привычному состоянию без прошлого, яйцо снова разбилось, оказалось пустое, без желтка. Le passe est un oeuf casse.

---

[30] Примечания: 30

Из стихотворения Поля Верлена «Знакомый мне сон» («Mon reve familier»): «Мне часто снится этот странный и пронзительный сон…» (фр.).

* * *

Если сумма трех первых цифр равна сумме вторых — билетик счастливый, загадай желание и съешь, точно исполнится! Мама преподавала маленькой Аглае основы советской бытовой магии каждый раз, когда они ездили в Сосновый Бор. Мама, в отличие от Деда, бесплатный проезд на общественном транспорте не одобряла, покупала билеты и себе, и папе, и Аглае. Широкая, как нос дяди Валеры, пятикопеечная монета. Голубой кассовый аппарат. Билетик по линейке обведен красным толстогрифельным карандашом, им с Вероничкой Дед такие на Первое мая подарил — с одной стороны карандаш был синий, с другой — красный. Аглая быстро складывала в уме, никаких калькуляторов — у нее было много желаний. Кукольная посуда, как у Аленки, с кастрюлями и крышками, — раз. Юла с настоящей лошадью, как в «Что? Где? Когда?», — два. «Электроника». Волк, корзина, яйца — три. Ради «Электроники» Аглая готова была доезжать до Бора на автобусе и тут же ехать обратно, на аттракционы не ходить, есть вместо Бабушкиных макарон по-флотски автобусные билеты. И еще машина, настоящая, зеленая, с крутящимися педалями и горящими

фарами! Восьмое чудо света. Филя за домом на такой гонял. Никому покататься не давал. Ему мама запрещала. Хотя Аглая подозревала, что автобусный билетик зеленую машину не потянет. Тут нужен был, по крайней мере, волос из бороды старика Хоттабыча. «Нет ли у тебя какого-нибудь горя, о Волька ибн Алеша? Трах-тибидох!» И не один. Лехододиликраскало!

Когда Аглая заходила в Сосновый Бор, закрывала глаза. Вот бы можно было кататься на всех аттракционах одновременно. Вот бы меня стало пять Аглай! Ничего не пропустить. Одна Аглая кружилась бы на цепочной карусели «Вихрь», играла в салочки в воздухе. Вторая крутила бы колесо на качелях — лодках аргонавтов. Ноги в ремни и приседать! Никаких ограничителей. Третья испытывала бы на себе центробежную силу: вжимаешься в лепесток «Сюрприза», хватаешься за поручни и, как Незнайка, улетаешь прямиком на Луну. Тело не падает, а сердце папиных законов физики не слушается, скачет, как каучуковый мячик-попрыгунчик. Четвертая Аглая не вылезала бы из павильона с игровыми автоматами, играла бы в «Морской бой» — перископ точь-в-точь дяди-Валерина маска для подводного плавания «Нептун», кнопка под правым пальцем.

Огонь! Огонь! Огонь! Десять выстрелов и три бонусных, если поразишь все цели. Пятая Аглая надеялась бы вытащить клубничную жвачку из оранжевого автомата-батискафа с хваталкой. Знала бы, что не вытащит, такой хилой хваталкой сделать это было просто невозможно, три железных пальца облизывали призы, но никогда не подцепляли, но все равно бы надеялась.

Когда жетоны на аттракционы заканчивались, шли обедать в пельменную. Папа тянул тяжелую железную дверь. Ручка с двух сторон была обтянута заношенными нежно-персиковыми панталонами, охранявшими в пельменной тишину. Внутри, как в бане, всегда стоял пар, торжественный, густой, сладкий. В бане, куца Аглаю маленькой водили мыться, тетка-банщица Васильна всегда перед паром запевала гулким, пенным, березовым голосом: «Пару даю! Пару, бабоньки!» Аглая жмурилась. Но не от пара. А от Васильны. Васильна была очень голая, и груди у нее были очень голые, каждая размером с пятилитровый рукомойник Кольчугинского завода, что у них на даче висел. С вытянутыми, как шток рукомойника, коричневыми сосками. В пельменной пар давали постоянно, без предупреждения. Никто не кричал. И поварихи были добрые и

неголые. Пар пуховым оренбургским платком окутывал ароматом вареного теста, клейким, мучным, сладковатым, а потом оседал на окнах. На запотевших окнах мама и папа играли партию в крестики-нолики. Кто проигрывал, шел покупать пельмени. Аглая бежала следом.

Повариха в белом халате-простыне хватала алюминиевую шумовку, размером с грудь банщицы, вылавливала из железного поддона три порции пельменей в щербатые тарелки с цветочками. Две порции со сметаной, Аглае и маме. Шлепок сливочного масла, ложка белой, густой, как клей ПВА, сметаны. Семьдесят две копейки. Одна порция с горчицей. Папе. Тридцать две копейки. Горчицу на тарелку сразу не клали. Горчицу нужно было добыть самому. Папа медленно обходил пельменную, останавливался у каждого стола. Стеклянные банки. Засохшие горчичные заломы. Одиноко торчащие палочки из-под эскимо. Папа смотрел в одноглазые банки, вздыхал и брал круглый, заляпанный отпечатками пальцев пухлый графинчик, поливал пельмени уксусом, посыпал черным перцем. «От перца, верно, и начинают всем перечить… От уксуса — куксятся… а

от сдобы — добреют»[31]. Но сдобы в пельменной не продавали, только в булочной.

Аглая в пельменной выучилась читать. Агитплакаты. Шпалерная развеска. Сын директорши пельменной учился в Мухинском училище в Петербурге. Директорша собирала забракованные сыном работы, развешивала.

Строгая женщина-комсомолка в красной косынке, похожая на тетю Зою, держит в руках пустую тарелку: «Порядок такой — убери за собой!»

Голова лысого Ленина, вырезанная и коллажем наклеенная на плакат. У Ленина правое ухо потекло чернилами. «Папа, а почему Ленин с серьгой?» — «Потому что он пират, Глаша». Ленин-пират подмигивает, напоминает: «Ленин и теперь живее всех живых!» Настоящие пираты не умирают.

Пачка пельменей. Плакат — успокоение тревожных граждан. Красные кривоватые буквы. «Говядина, свинина, соль, мука, яйцо, перец, сахар, лук и больше ничего!» Может, в пельменях больше ничего и не было, Аглая точно не знала, но мясо в начинке прилипало к зубам, чисто за-

---

[31] Примечания: 31

Л. Кэрролл «Приключения Алисы в Стране чудес». Пер. Н. Демуровой.

мазка, которую они с девчонками выковыривали из утеплителя панелек, а потом скатывали из нее шарики-попрыгунчики. Аглая мясо выковыривала, ела только тесто, пустышки. Папа за ней доедал. Нахваливал: «Ох, вкусно! Как в институтской столовой. Правда, Лидка?!»

Аттракционы из Бора исчезли. Будто пришел великан-грибник, все аттракционы армейским ножом срезал. А Бор новых не народил. Видно, великан грибницу попортил. Аттракционные ножки тоскливо торчали железными обрубками, гнили ржавчиной. Сосны тоже наполовину все выкорчевали, построили элитный поселок, где теперь жила Полина. Шестиэтажные толстобокие кирпичные дома. Домофоны на дверях в подъезды. Доски объявлений. С ошибками. Хоть ходи везде с красной ручкой и исправляй: «Дубленки. Кожанные изделия.

Круглосуточно. Улица Ленина, д. 6».

Павильон с аттракционами тоже снесли. А вот здание «Пельменной» оставили, обили вагонкой, дверь заменили. Нежно-персиковые панталоны исчезли вместе с паром и вождем-пиратом. Внутри пельменной ничего не осталось, все Аглаино детство в пельменной заштукатурили, сделали в детстве дешевый евроремонт, обезличили.

«Пельменную» в начале девяностых выкупил все тот же сын директора кладбища, превратил в кафе-кабак «Агидель / Белая река». Помещение двойного назначения. Днем — кафе для элитных семей с детьми «Агидель»: мороженое, сэндвичи с курицей и перцем, наваристый борщ. Ночью — кабак «Белая река» с цветомузыкой, песнями «ДДТ», Круга, «Блестящих» и со страницей в меню, посвященной бою посуды. За разбитую пепельницу — 4800 рублей, за вазу — 24 000. За битьем пепельниц и ваз присматривала репродукция «Джоконды», напечатанная на ЭВМ, вела учет убытков.

* * *

— Ты хоть руку себе не режь больше. — Вера-Маша закурила.

Днем в кафе-кабаке «Агидель / Белая река» народу было мало. Цены хозяин заломил конские. Только дочка Сергея и сидела. Но хоть подружку притащила, а то сегодня по нулям почти. Девочки уже минут десять внимательно изучали меню, обсуждали парней, что ли, Вера-Маша не поняла до конца. Позвонит, не позвонит, вот дурехи! Чего заказ не делали, непонятно. Полина тут каждый день обедает, после школы, меню наизусть знает,

да и заказывает всегда одно и то же: сэндвич с курицей и перцем, как отец. Вера-Маша уже два раза к ним подходила: «Чего желаете?» Они ее отсылали. А ну их! Позовут…

Вера-Маша скрестила ноги — черные колготки в мелкую сеточку, узор «зигзаг», короткие сапоги-казаки, — оперлась задом в джинсовой мини-юбке размера XXL (два поцелуйчика и лав, как она его называла) о плиту. Да, Георгий Дмитрии, сапоги у меня домашние, вы что думаете, я такие буду на улице в нашем говнище убивать?! Вы мне столько не платите, чтобы я себе каждый месяц новые покупала. Сапоги были отменные, кожаные, немецкие. Memphis. Цвет мокко. Кольцо и три ремешка сбоку. Белая строчка-елочка на мыске. Ober material leder. 42-й размер. Мужские. У Веры-Маши с рождения была большая нога. Отец ласково называл ее йети. И слава богу. Вера-Маша считала, что ей с большой ногой повезло. А с сапогами повезло еще больше — одна пара в палатке у Клавки осталась, еле урвала. Пришлось припугнуть старого, потасканного рокера в косухе, который тоже на них зарился. Владей инициативой в любом начинании. Первый принцип дзюдо. Вера-Маша никогда своего не упускала, была как Pepsi, брала от жизни все. Все, что ей нравилось.

А сапоги сразу в душу запали. Красивые. Крепкие. Неубиваемые. Если что, такими и яйца можно отбить особо любопытным, и мужика приличного на них поймать. Максимальный эффект при минимальных усилиях, как говорил сэнсэй. Вера-Маша ходила на занятия дзюдо в милиции два раза в неделю. Не пропускала. Даже матом ругаться почти перестала. Сэнсэй мат не одобрял: «Сквернословие, Вера, наследие твоего былого рабства. Освободи себя. Стань свободной». Вере-Маше очень хотелось стать свободной, она очень старалась. Стимул был правильный. Сэнсэй им достался с аппетитной накачанной задницей, которую даже штаны-дзюбон спрятать не могли. У сэнсэя пояс был черный. У Веры-Маши — белый, первый, шесть кю, в Вере-Маше, сэнсэй сказал, была перспектива.

— Сегодня не буду. У вас тут в дневной смене не из-за кого руки резать. Дай сигаретку. — Борька приземлился своим тощим, костлявым задом рядом с Верой-Машей.

Вера-Маша достала синюю пачку «Балканки», большим пальцем с маникюром цвета «пыльная роза» откинула крышку.

— Что за дрянь ты куришь, Верка? — Борька хрипло отхаркнул, сплюнул в раковину, но сига-

рету из Веры-Машиной пачки вытащил. — Тьфу, гадость какая.

Вера-Маша презрительно окинула Борьку взглядом сверху вниз и попыталась сигарету отобрать, но Борька не отдал.

— Да ладно тебе… Чего ты? Я ж, это, шучу. У меня и на такие не хватает. Это вам, на передовой, нувориши чаевые по ночам хорошие отваливают. — Борька кивнул на Веры-Машины казаки, рядом с которыми не знали, куда спрятать взгляд, его стоптанные кеды, потерявшие пистончики на обоих шнурках. — А я повар, человек для общества ничтожный, невидимый.

Борька убрал защитную крышку газовой конфорки, щелкнул ручкой. Полыхнул синий огонь. Мать Веры-Маши так в детстве курицу опаливала. Перевернет над плитой куриную тушку вверх лапами, будто в горле курицы застряло инородное тело и она пытается его вытрясти, и давай ее в огонь, как в синьку, окунать. Вонь на всю квартиру стояла. Борька затянулся.

— Эффектно, Борис! Жаль, бабы твоего фаершоу не видят, — похвалила Вера-Маша.

Мать отца чуть не убила, когда он ее в загсе Веркой записал. Даже ребенка в свое блядство впутал, кобель недокастрированный! Мать ве-

лела отцу записать ее Машей, в честь бабушки, но отец записал Веркой в честь какой-то проститутки. Так они ее всю жизнь и называли, мать — Машей, отец — Верой. Ни один не сдавался. Когда ее в детстве спрашивали: «Как тебя зовут, девочка?», она так и отвечала: «Вера-Маша». Потом устала всем объяснять, решила, что для мужиков она будет Верка, для девок — Машка. Так справедливо, честно и по отношению к матери, и к отцу. Вера-Маша обоих любила, они у нее были хорошие, только несчастные: отец — кобель, а мать — нервическая.

— Какие бабы, Верка, никаких баб не осталось, стар я. Эти вон, — Борька кивнул на девчонок в зале, — такое говно слушают, я для них не авторитет. Хоть фамилию меняй.

Вера-Маша понимающе кивнула. Сигареты были крепкие, Вера-Маша такие любила. Горькие даже. Как горелый трухлявый пень куришь. Вера-Маша медленно выпустила дым. Ей нравился Борька. Может, потому что его настоящее имя тоже было двойное. Бен Хо. Борька был кореец. Однофамилец Цоя. «Двоюродный брат», — не мигнув своим хитрым корейским глазом, соврал ей Борька при первой встрече, сунув прямо в лицо свой паспорт, в котором действительно сто-

яла фамилия Цой. Эту байку Борька всем бабам рассказывал, резал себе руку, плел, что скучает по Витьку, что Витек в честь него, братана своего, «Группу крови на рукаве» написал. Бабы верили, под Борьку охотно ложились. Экзотика. Азиат. И брат знаменитый, вдруг выгорит гламурная жизнь. Но на Веру-Машу Борькин треп не действовал. Борька был не в ее вкусе. Коротышка. Он ей макушкой едва до груди доставал. Вера-Маша была ростом метр восемьдесят пять. Ее в школе Телебашней обзывали. Поэтому Вера-Маша испытывала к Борьке исключительно материнский инстинкт. Трахать такого было положительно невозможно: повредишь еще своей мощью, сломаешь. Это как когда Вера-Маша в детстве случайно кузнечику лапки оторвала от большой любви и благоговения перед живой природой, воспитанной в Вере-Маше Николаем Николаевичем Дроздовым. Тоже сэнсэй. Только зоологический. Вера-Маша Борьку жалела. Может, потому что Борька, как отец, гулял как не в себя. Но был тихий и добродушный, просто хуй у такого типа мужиков очень беспокойный, жить не дает. Несчастные, больные они, что с них взять. Это как, б… блин, с диабетом жить. Вроде никто вокруг не видит, что у тебя диабет, а ты

всегда про него помнишь, не можешь до конца никогда расслабиться.

— Ты на малолеток, что ли, перешел? — Вера-Маша посмотрела на Борю строго, неодобрительно. — Совсем уже не стоит на нормальных баб? Ты мне смотри, Борька… Не смей! Разминай свой корейский корешок ручками, а девчонок мне не порть! Вон у той, — Вера-Маша ткнула сигаретой в высокую девочку с короткой темной стрижкой, — знаешь отец кто?

— Чего они фильтр не заменят в «Балканке»? «Борька не заинтересовался, кто у девочки отец, по-детски удивленно и обиженно посмотрел на выкуренную наполовину сигарету. — Полную затяжку даже не сделаешь… Не, Верка, менять надо тебе сигареты. Чё «Лазер» не берешь?

Вера-Маша демонстративно, глядя Борьке в бесстыжие раскосые корейские глаза, сделала глубокую затяжку, шлепнула пухлыми густо накрашенными розовой помадой губами и выпустила туманное облако дыма прямо ему в лицо. Осмысливай полностью, действуй решительно. Второй принцип дзюдо. Борька закашлялся. Вера-Маша отвернулась.

«Лазер» твой совком воняет, понял?! Это как шины расплавленные от копейки курить. А я

совок на дух не переношу. Буа… — Вера-Маша подставила два пальца рогаткой к открытому рту, изобразила тошноту.

Борька сморщил нос и опять сплюнул в раковину. — Вот та, что рыженькая, хороша, но и брюнеточка тоже… Я б им все-таки вставил, если б они постарше были.

У Борьки была черная шевелюра, мочалка молодого, еще не съехавшего с катушек Майкла Джексона. Высокие черные тонким коромыслом вскинутые брови. И черные усы, ниточками спускающиеся ниже рта. Вера-Маша зависла, странная мысль, не мысль даже, а неконтролируемый импульс, сигнал, запрос был послан телом прямиком в мозг, пробил: хороший ли Борька любовник? Да черт его знает, ответила сама себе Вера-Маша, черт его знает, пока не попробуешь, не поймешь… Щуплый такой, конечно. Как повезет, от ловкости и мастерства многое зависит, а не от комплекции. Лотерея.

— Я тебе сказала, дебил. Ты знаешь, кто у нее отец? Тем более она того… Депрессивная. В дурку хочешь? Или сразу на кладбище?

— Чего? — не понял Борька.

— Депрессивная, в дурке лежала. Ее лечили… В Москве. Папаша сдал. По десять косарей в день

профессору-шарлатану еще за это отваливал, девки рассказывали. Ему какой-то друган насоветовал. Бл… — Вера-Маша осеклась. Вспомнила светлый взгляд сэнсэя. — Блин! Таких друзей — за хуй да в музей! — Вера-Маша задумалась, является ли слово «хуй» матерным, но, не найдя точного синонима в своем вокабуляре, решила, что нет. — Так что ты ее трахнешь, а она тебя прирежет потом. А не она, так папаша из-под земли достанет и… — Вера-Маша не договорила, затянулась.

— Вот же напридумывали, — хмыкнул задумчиво Борька. — Депрессия-шматессия. Вот мы ж, Вер, жили без всяких депрессий, и ничего. Этих девиц на общественно-полезные работы отправлять нужно. Посмотри на них… Акселератки! На таких пахать нужно. — Борька поморщился. Он комплексовал из-за своего низкого роста. Высоких баб не любил. Красивых тоже. А Серегина девчонка была высокая и красивая. Как и ее отец. Устав валандаться с сигаретой, Борька затушил бычок о плиту. — А чего у нее депрессия-то эта?

Вера-Маша сложила руки на груди и зевнула, хотелось спать. Вчера до ночи сериал «Клубничка» на кассетах гоняла. На старого Шурика смотреть было тоскливо, конечно, никого возраст

не щадит, ни баб, ни мужиков, но сериал был про кафе, как у них почти, смешной. Вере-Маше нравилось. А потом этот английский фильм еще, где красивый кудрявый мужик, похожий на ее сэнсэя, из пруда в белой мокрой рубашке вылезал. Вот такого бы Вере-Маше для «чем сердце успокоится». Такой бы ее потянул. Это и по росту, и по мокрым штанам было понятно.

И имя у него решительное, мощное — Марк. И отчество хорошее выйдет — Маркович. Вера-Маша мечтала о сыне.

— Так это ж дочка местного авторитета, ты не знал? Вон шмот какой! Ты глянь. Все забугорное. Где деньги, Зин? Это тебе не сигареты «Лазер», это фирма. — Вера-Маша ласково посмотрела на свои сапоги. — Я папашу ее тут с бабами часто в кабачные смены по ночам вижу. Жалко девку. Сергей-то этот хоть и из интеллигентных, по Европам разъезжает, а баб окучивает, вот как ты, без разбору. Кобель русский обыкновенный. И девочек ему подавай модельной внешности, но хоть не малолеток, слава тебе господи. Он всех наших перетрахал давно. Мы уж из соседних городов ему заказываем. У него пунктик, он больше одного раза одну и ту же ни-ни. Принципы. Девки мне плачутся постоянно. Они его любят

вообще, он им платит тройной тариф и подарки привозит, но все время новых подавай. Маньяк, может, какой скрытый. Вон и дочь у него психическая. Хоть и вежливая, конечно. Да и матери нет. Жалко девку. Ее бабка воспитывает, такая цаца надменная, мама не горюй. Она к нам никогда не заходит, брезгует.

— Вот дерьмо. — Борька задумчиво погладил усы и поправил поварскую шапочку.

— Да, Сергей — хороший мужик, добрый. Он нам на месяц вперед ее обеды оплачивает. Все говорит, что ни пожелает, Верочка, приготовьте. Он меня Верочкой называет и духи привозит из Парижу. Чувствуешь? — Вера-Маша задрала голову, наклонилась и подставила шею Борьке прямо в нос.

Тот понюхал и мечтательно чмокнул. Вера-Маша благосклонно взглянула на Борьку:

— То-то же. Французские!

— Ты, Верка, Новым годом пахнешь, как шампанским облилась, — расплылся в улыбке довольный Борька.

— Дурак, сам ты… шампанским. Это же Dior. Dolce Vita. — Вера-Маша, как гимнастка лентой, нарисовала сигаретой в воздухе спираль. — У меня еще Poison есть. Но я его на дзюдо только.

— Верка… — Борька вздохнул. — У меня простой уже месяца полтора, я больше не могу. Чё делать-то? Так хуй совсем засохнет. Вот и ты так вкусно пахнешь этой своей дольчей витой, уж на тебя готов наброситься. — Борька, не глядя на Веру-Машу, вытянул вбок руку в белом поварском халате, положил Вере-Маше ладонь на правую грудь и тихонько по-жмякал, словно персик на базаре на зрелость проверял. Спелый, мягкий, сочный будет.

Ты дебил, что ли? — Вера-Маша от неожиданности аж бычок на пол уронила. — Шуруй давай обед девчонкам готовь, герой-любовник недоделанный. Полина всегда сэндвич с этой, с курицей и перцами, заказывает. И не смей прошлонедельную, новую жарь, понял? Все только самое свежее! — Вера-Маша погрозила Борьке пальцем, увешанным золотыми кольцами. — А еще раз до груди моей своими лягушачьими лапками дотронешься, я тебе их оторву и в жопу засуну, понял?! Чтоб ты и сам себя е… — Вера-Маша запнулась. — Сам себя чтоб не смог.

Борька почесал грустно затылок, вздохнул, сплюнул в раковину и, махнув на Веру-Машу рукой, поплелся к холодильнику. Вера-Маша наклонилась поднять с пола бычок, но вместо

бычка ладонь сама потянулась к груди, туда, где ее тискал Борька. «Я бархат пробую, какой он обработки», — вспомнились слова Григория Александровича, вожатого в лагере. Под ладонью, в груди, все клокотало и пузырилось, как «Советское» шампанское, и было по-бабьи тепло, сладко, по-дольчевитовски.

* * *

Папа позвонил вечером, первый раз с мая. Полина оказалась права. Конечно, позвонит.

— Ал. Ло. Ал. Ло. — Папин голос произнес звонкий сонорный «л» твердым, глухим «х», совершенно невозможным для сонорных звуков образом. Не поется. Не тянется. Преграда во рту есть. Учительница в первом классе, Марина Николаевна, говорила о звуках так, будто они были живые. Михаил хохотал, а Михей хихикал.

— Да. — Аглая сжала трубку. Жив, получается. Откуда Полина знала, что папа позвонит?

Аглая сглотнула вкус фейхоа, зеленый, пряный вкус духов «Красная Москва» — ирис, роза, цитрусовый бергамот. Тетя Зоя покупала фейхоа на рынке у высокого веселого кавказца, варила варенье. Ели варенье по праздникам. Как сегодня.

— Э. То. Па… Э. То. Я… Э. То. Па. Па.

Мама выглянула из кухни, помахала ножом: я режу пирог? Поймала Аглаин взгляд в зеркале и, сразу поняв, кто звонит, замолчала, отвернулась.

Бросить трубку? Не разговаривать? Аглая уставилась на телефонный аппарат, провела ногтем по деревянной полке у зеркала. Стыдно. Перед мамой было очень стыдно. Зачем он позвонил из своей страны разрезанных на слоги слов, когда мама дома? Он же знает, когда мама бывает дома.

— Я… С днем. Рож. Де. Ни. Я… Не. Зна. Ю… — Папа опять замолчал. Говорил он, будто пытаясь вспомнить правила построения предложений в новом, неизвестном ему языке. Только записался на курсы. Только начал учить. Ничего пока не понятно. Каждое слово приходится долго, мучительно искать в памяти. О беглости речи и говорить нечего. Это был язык исчезнувших из жизни дочерей отцов. Ареал распространения языка — все постсоветское пространство. Lingua franca sovetica. Систематически используется в качестве второго языка для коммуникации когда-то близких отцов и дочерей вдруг, за ночь ставших друг другу неловко, напряженно чужими. Язык не мертвый, но и не живой. Только вот полумертвый или полуживой? На нем редко и с

трудом говорят. У него нет литературной формы. И письменной. Только устная. Зато есть официальный государственный статус. Язык нередкий. Но для папы новый. И для Аглаи новый. Кто знал, что придется осваивать?

— Спасибо. — Аглая развернулась.

Кухня. Холодильник. На кресле, закинув ногу на ногу, в желтой праздничной футболке с портретом Че Гевары сидел Дед. Молча смотрел перед собой. Мама за столом у окна, на папином месте, застыла с ножом в руке, готовая атаковать пирог. Ореховый. Аглаин любимый. Рецепт из бабушкиного «Домоводства». Песочное тесто, крупно порезанные, перемешанные с сахаром и белком грецкие орехи. Мама пекла его на ее день рождения. Они всегда ели этот пирог одни, когда баба Надя уже уходила, пили чай. Аглая выковыривала грецкие орехи из коржа, ела отдельно, как козинаки. Бабушку в зеркале было не видно. Бабушка затаилась у плиты. Молчала. Подслушивала. Будут с мамой потом шепотом собирать лингвистически не собираемый пазл. Слишком много деталей отсутствует.

— Я… Тво. Я. Мать… Мы…

Русский для исчезнувших из жизни дочерей отцов. Учебник для высших учебных заведений.

Уровень первый. Урок первый. Грамматический фокус — личные местоимения. Тема: семья. Курс папе попался старый какой-то. Или просто плохо написанный. Мать? Так в новом языке называют маму? Горький, что ли, учебник писал?

— Он. А… Он. А… Те. Бе. Не. То… — Папа громко сглотнул в трубку.

Папа урок выучил скверно. Слова у него в предложения никак не составлялись. Нужно было ему помочь. Подсказать. Иначе он, как Наташка… Но Аглая смотрела на галошницу и еще упорнее молчала. Она никогда никому не подсказывает. И списывать не дает. У нее свои принципы.

— Ты как? — Вдруг папа сказал что-то осмысленное.

Аглая подняла глаза. Кухонная пантомима в зеркале не сдвинулась ни на миллиметр. Дед. Мама. Вставший на дыбы нож.

— Хорошо, — ответила Аглая и покраснела. Нет, не то! Черт! Она тоже плохо домашку делала. Чем она полгода занималась? Ночной кошмар: школа, экзамен, а ты ничего, совсем ни чего не выучила. Нужно же задавать папе вопросы. Аглая помнила смысл нужных вопросов, но никак не могла вспомнить, как они на новом языке произносятся. «Где ты? Куда ты пропал? С кем ты

живешь? Где ты живешь? Ты правда жив? Завтра вечер Высоцкого в школе. Ольга Николаевна просила тебя прийти. Ты придешь? Почему ты не приехал собирать колорадских жуков летом? Ты был на рыбалке? Судаков поймал или одни щуки? Мы уже полгода рыбу не ели. А чашку, почему ты оставил свою чашку? Зачем? Из нее никто не пьет. А лето грибное было? Белые? Подосиновики? Подберезовики? Завтра вечер Высоцкого. Ты придешь?» Но Аглая молчала. Она понимала новый язык, который папа пытался освоить, но сама на нем не разговаривала.

— Хо. Ро. Шо… — повторил по слогам папа.

Аглая нахмурилась. Это был вопрос или утверждение?

— Мне. По. Ра. Ид. Ти. — Папа споткнулся на последнем слове.

На кухне мучительно громко звякнула ложка в чашке и испуганно ойкнула Бабушка. Мама в зеркале подняла от пирога глаза, уставилась на невидимого противника, погрозила ножом: тс-с-с! И так ничего не слышно.

— С днем рождения! — без запинки, быстро произнес папа.

— Спасибо, — повторила Аглая, тоже крепче, увереннее. Один диалог из учебника они все-таки

освоили. Язык для реальной жизни. Рамочка. Диалог третий: «Как поздравить брошенную дочь с днем рождения». Нет, папа все-таки готовился. — Спасибо.

— Ну. По. Ка…

Аглая вдруг четко — белая простынь, луч диапроектора — увидела: папа кладет мозолистую ладонь на лысеющую голову, проводит ею взад-вперед, то ли пытается поправить съехавшую кожу на черепе, то ли сам себя утешает: «Ну будет, будет!» Папа лысел от мамы. Интересно, перестал?

— Пока. — Аглая разжала пальцы. Опустила трубку. Слюна ужалила нёбо кислым зеленым вкусом фейхоа.

— Этот звонил. — Мама отвисла, но нож не опустила, размахивала им, как флагом на демонстрации. — Вспомнил! Надо же какая честь! — Мама поджала губы, а потом отвернулась и принялась яростно резать пирог.

Пирог мама испекла вкусный, как всегда. Аглая выковыряла все грецкие орехи. Ей никто слова не сказал. А на вечер Высоцкого папа не пришел. Аглая соврала, что он заболел. Ольга Николаевна очень расстроилась. По-вероничкиному вылупила глаза, опустила очки на нос: «Ах, как досадно,

Аглая! Как досадно! Ну, пусть поправляется!» Аглая повторила про себя по слогам: «Пусть. По. Прав. Ля. Ет. Ся». Новый язык потихоньку усваивался. А потом в голове захохотал Михаил, а Михей захихикал.

* * *

Гудвин сел рядом, плечом к плечу. На фабрике никого уже не было. Последней убежала тетя Света, велела все закрыть. Флажки, мишура, дождик. Огоньки гирлянд, протянутые через весь актовый зал, мигали разноцветными рыбьими глазами. Гудвин помог ей водрузить на елку макушку, звезду — цветик-семицветик. Зеленые, красные, желтые, сиреневые лепестки — «лети, лети, лепесток, через запад на восток»[32], — прозрачная серединка. Макушка сияла, как леденцы монпансье из жестяной банки. Дед всегда им на Восьмое марта дарил: бабушке, маме, тете, Вероничке, ей. Всем одинаковые. Жестяная банка монпансье и тюльпаны. Аглая свою баночку монпансье ела долго, экономила, растягивала до мая. Возьмешь один леденец двумя пальцами, поднесешь к окну, жмуришься: зеленый светится грушевым светом,

[32] Примечания: 32
В. Катаев «Цветик-семицветик».

красный — земляничным, желтый — лимонным, фиолетовый — черносмородиновым. Последним Аглая съедала земляничные, их меньше всего попадалось, а потом набивала пустую банку песком, так что у нее была самая модная бита для классиков, каждое лето новая, весь двор завидовал.

— Красиво, правда? — Гудвин кивнул на звезду. — «Сколько света набилось в осколок звезды, на ночь глядя, как беженцев в лодку…» [33]

Гудвин был в джинсах и светло-бежевом свитере с исландским узором. Такие в универмаге не продавали. И на рынке не продавали. И даже тетя Зоя такие не вязала. А у тети Зои самая большая подборка всех новых выпусков Sandra и Burda Moden в городе, к ней вязальщицы как в библиотеку ходят. Гудвин заметил Аглаин взгляд, улыбнулся:

— Американский. Там в таких все на Рождество ходят. Christmas Sweater называется. — Когда Гудвин говорил по-английски, голос у него менялся, становился тягучий, как помадка вязкий. — Не слышала? Надо нам почитать с вами про них. Они обычно бывают жутко дурацкие, смешные, с оленями, с Сан-той, так и называются Christmas

---

[33] Примечания: 33

И. Бродский «Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве…».

sweaters, но я искал именно такой. Как у Depeche Mode.

Аглая услышала незнакомое слово, попыталась перевести, не смогла. Нахмурилась.

— Холодно? — Гудвин отодвинулся, быстро снял свитер депешмот, остался в белой рубашке с острым воротничком. — Держи, надевай.

— Нет, что вы… — Аглая замотала головой. — Не нужно.

— Надевай, надевай! Еще простудишься. — Гудвин безапелляционно сунул ей в руки свитер.

Аглая надела, оказалась внутри гудвиновского запаха: смола, зелень, мандарины и кардамон.

— Ну вот, теперь я буду греть тебя, а ты меня. — Он пододвинулся, прижался к Аглае вплотную плечом к плечу. — Я закурю, ты не против? Нарушу правила. Свои же…

Аглая замотала головой. На фабрике курение было строго запрещено. Таблички No Smoking. City of Westminster висели в каждом классе. Гудвин привез из Лондона.

— Сначала всю школу учишься следовать правилам, потом придумываешь свои, а после… После нарушаешь и те, и эти. — Гудвин щелкнул зажигалкой. — Знаешь, когда я начал курить? Двадцать первого августа девяносто первого, на

Красной площади. Моя первая в жизни выкуренная сигарета. — Гудвин затянулся, выпустил дым. — Мы тогда поняли, что всё… Свободны. Мы победили. Всё не зря. И такое ощущение было, не знаю, как тебе описать… Карнавальное, что ли. Бахтински карнавальное, архаическое, нутряное. Кооператоры притащили всякое, кока-колу, сигареты раздавали. Просто так. Ко мне подошел молодой парень вот в таком примерно свитере, как у тебя сейчас, кучерявый, мелким бесом, обнял, крепко пожал руку, вручил пачку Camel, похлопал по спине. Я до этого не курил вообще. А тогда начал. Прямо на Красной площади. Сигареты — мой символ свободы. Знак неповиновения системе. Хотел бросить, да так и не смог. — Гудвин оперся головой о стену, смахнул пепел прямо на пол, посмотрел в упор на Аглаю: — «Лететь в такси, разбрызгивая грязь, с бутылкой в сетке — вот она, свобода…»[34] Ты путч помнишь?

Аглая виновато помотала головой. Когда в Москве происходил переворот, по телевизору крутили «Лебединое озеро», а на Красной площади стояли танки, Аглая уже двадцатый час ехала в поезде Москва — Алушта и ела самые сладкие в

---

[34] Примечания: 34

И. Бродский «С красавицей налаживая связь…».

своей жизни помидоры. Путч она пропустила. Даже не заметила, что уехала на каникулы из одной страны, а вернулась в новую, вроде похожую, но на самом деле совсем другую, расколдованную.

Путч Аглая не помнила. Зато она хорошо помнила помидоры. Помидоры не помещались ни в Вероничкину ладонь, ни в Аглаину, ни даже в мамину. Это были помидоры из одной из сказок народов мира, которую мама забыла ей прочитать в сиреневой книжке. Вот так взяла и самую важную сказку про сладкие помидоры пропустила. Это были такие-не-бывают помидоры.

Аглае и Вероничке выходить на станциях строго-настрого запрещалось: «Потеряетесь еще, поезд ждать не станет». Аглая и Вероничка прижимались носами и лбами к одуревшему от духоты стеклу купе, высматривали. Сами не знали что, но смотрели не отрываясь. Тетку с круглым, как арбуз, животом в Воронеже заметили сразу. Она стояла ровно посреди платформы, уверенно, твердо, мощной скульптурой центрального фонтана на главной площади. Вокруг нее вращалась вся станционная жизнь, жадная, пятнадцатиминутная, вокзальная.

— Па-ми-дО-О-О-О-Оры! — орала женщина — фонтанная скульптура, крутя головой вправо-

влево, вправо-влево, но ни на шаг не сдвигаясь с места. — Па-ми-дО-О-О-О-Оры! Па-ми-дО-О-О-О-Оры! — Ее мегафонный, бескрайний голос медленно, протяжно взбирался на вершину буквы «О», зависал на ней, широко потягивался и с рыком катился вниз, налетая и на каждого человека на станции, и на каждого туриста в окне поезда, захватывая в лассо, притягивая к себе. Аглая и Вероничка видели, как тетя Зоя выскочила из вагона и, будто загипнотизированная, растолкав всех острыми локтями, подобралась к женщине — фонтанной скульптуре, поклонилась то ли ей, то ли помидорам и через секунду уже тащила к ним, да, да, к ним картонную, разваливающуюся от тяжести коробку.

Помидоры были размером с дыню, густо, жирно, нагло малинового цвета. Будто женщина — фонтанная скульптура капнула в красную, кадмиевую банку гуаши белой, размешала и помидоры раскрасила.

Аглая и Вероничка до этого никуда из родного города, кроме дачи, не ездили. Катили, перекрещенные три раза бабушкой: «Храни вас Господь, храни вас Господь, храни вас Господь», на неведомый юг, как в путешествие на другой конец земного шара, в сказку. Вместо скатерти-само-

бранки у них имелась палка варено-копченой колбасы, деликатес — у тети Зои школьная подруга на мясокомбинате работала, доставала по блату; вареные яйца, уставшие, побитые, но все такие же вкусные; запеченная Бабушкой курица, новогодняя роскошь вне графика. Мама и тетя не разрешали им выходить не только из поезда на остановках, но даже из купе. «Цыгане украдут! Они таких, как вы, светленьких, особенно любят!» Оставалось одно развлечение — смотреть в окно. Как в диафильме, когда мама устала, хочет спать и крутит колесо так быстро, что ничего не успеваешь рассмотреть, мелькал пейзаж. Березы, лиственницы, серые бетонные заборы быстро надоели, одно *и то же.* Но станции, станции не надоедали! Шумные, яркие, потные! А главное — беспринципно, непозволительно, не по-советски вкусные! Пухлые, с пушком, как на переносице, персики. Ядреные, плотные яблоки. Азовская тарань, в которой, как в ларце, прячется похожая на абрикосовый джем жирная вяленая икра.

Тетя Зоя зашла в купе, аккуратно, будто доверху, до кромки наполненный молоком бидон боясь расплескать, поставила коробку с помидорами на пол. Мама вернулась раньше тети, — проявив невиданную силу духа, она на гипноз женщины

— фонтанной скульптуры не поддалась, купила сытное. Одними помидорами не наешься! Принесла запотевшую двухлитровую банку еще горячей молодой картошки с укропом и сливочным маслом. Картошка лежала в стеклянной пузатой банке, как в бане, нежилась: «Еще пару, еще! Тай масло, тай!»

Сели. Принялись есть. Отправления, как обычно, не дождались. Аглая первая схватила самый большой помидор сверху, немытый, с опаской оглянулась на тетю Зою. Неужели и сейчас будет нельзя, вот так, сразу, с помоста, сразу в пруд, разбежавшись, подогнув ноги к груди, прыгнуть бомбочкой?! Тетя Зоя немытое никогда не разрешала: «Заболеешь, умрешь, сальмонелла, микробы, дизентерия». Но тут, как в сказке, случилось странное.

— Ешь, — кивнула тетя. — Давай! Кусай! Как яблоко!

Аглая взяла воронежское яблоко в обе ладони, еще раз взглянула на тетю, неужели правда можно, но тетя Зоя на нее уже не смотрела, вылавливала вилкой картошку из банки. Аглая замерла. Ей как будто разрешили одной съесть целую связку желтых, дозревших на верхней полке кухонного ящика бананов. Стянутый черешком,

с детскими складочками Вероничкиного пупса, помидор гладил Аглаину ладонь прохладной упругой кожицей. Ласкал. Аглая зажмурилась, сглотнула, широко открыла рот, поднесла и, как вампир, впилась в помидорову кожу зубами. Медово-сладкая помидорная кровь прыснула, потекла по щекам, капнула на футболку, на шорты, на пол. Дедушкина малина, астраханские арбузы, земляничное монпансье, чуть кисловатая, щиплющая язык вишня, пластинка клубничной жвачки из ларька «Союзпечати» на углу. Это было все любимое сразу. Аглая откусила еще раз, и еще. Она не успевала проглатывать и все равно кусала, еще и еще.

— Подавишься, ты что?! У тебя ж никто не отнимает. — Мама попыталась отдернуть ее руку, заставить притормозить. Ничего не вышло.

Аглая вцепилась в помидор, не отпускала. Мама махнула рукой. Пусть ребенок поест настоящих помидоров хоть раз в жизни. Не дачных, никогда, даже в жаркие года, не дозревающих, полузеленых, ссылаемых доходить на марлю на подоконник, а настоящих, живых, красных, спелых, горячих от сока.

И Аглая ела помидоры один за одним, бесстыдно и жадно. Не разрезая на дольки. Не боясь

запачкаться. Боясь только, что помидоры закончатся, а она не успеет наесться. В поезде было душно, опасно, сладко. Но путч Аглая пропустила, да, пропустила, путч прошел где-то в параллельной от помидорного рая реальности.

Гудвин взял ее руку, положил ладонью вверх, провел по дугообразной, бежавшей к указательному пальцу линии:

— Вот теперь теплая.

Гудвиновский шершавый палец нажал на кнопку вызова мурашек. Мурашки появились везде, затанцевали на макушке, на ладони, в пятках.

— А я очень хорошо помню. Путч. — Гудвин сжал Аглаину руку. — Ты не против, теперь я о тебя погреюсь? Я тогда с Маргаритой Антоновной познакомился. Мы как с Вовкой узнали, сразу сорвались в Москву. Я тогда в школе работал… Не понимал. Что же это электричка так медленно едет?! В метро смотрел на людей, тоже не понимал. Как они могут вот так спокойно, безучастно… по своим делам… Там же танки. Там история… Нас с Вовкой сразу взяли в ополчение. Мы крепкие ребята были. Стали валить троллейбусы, строить баррикады. А Маргарита… Девчонок в ополчение не брали. Маргарита в красном берете, в черном

коротком платье. Чисто гимназистка французская. Сосредоточенная, четкая, неразговорчивая. Она повязки раздавала. Говорили, собираются против нас зарин применять, это газ такой, нервно-паралитический. Так вот, когда ее в ополчение не взяли, она повязки стала делать. Из платков, ваты, бинтов — из всего, что находила. Делала и раздавала. Все время шел дождь. Макаревич[35] пел. Кто-то притащил колонки, кто-то кормил всех черной икрой из банки. А потом все как-то неожиданно закончилось, вышло солнце. Все обнимались. Мы с Маргаритой оказались рядом, и я ее обнял, и мы поехали домой вместе. С тех пор не расставались. Я тогда понял, что мы своими руками, вот этими руками, — Гудвин поднял ее ладонь в своей, потряс, — перевернули ход истории. И я мог сделать еще больше. Мы вместе с Маргаритой решили поехать учиться в Америку, два года там прожили, а потом поняли, что тут мы больше нужны, вернулись дать детям шанс, показать, что мир больше маленького города, больше… Уже пять лет, из них четыре года как мы отправляем самых талантливых в Великобританию и Америку на стажировку. Может, и ты,

[35] Примечания: 35
Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

если будешь хорошо…

Гудвин спрятал сигареты, уставился на американский цветик-семицветик. «Через север, через юг…»[36] Аглая сглотнула. «Возвращайся, сделав круг». Она все пропустила! Опоздала! Надо было родиться на пятнадцать лет раньше, делать из платков маски, уже побывать в Америке, а она… Она еще только половину Мёрфи успела выучить. Ей уже никогда не догнать, что бы она ни делала, как бы ни гребла… Она навсегда, навсегда опоздала. Как Цветаева. Я к вам приеду, Рильке. Не нужно приезжать, я умираю. И все пропало. Все пропало. Еще не началось толком, а уже пропало. И даже свитер, свитер ей сейчас придется вернуть, и его не будет, и запаха больше не будет. И снова станет холодно. «Как коснешься ты земли…» Аглая втянула носом запах смолы, зелени, мандаринов и кардамона. И еще. И еще. Гудвин повернулся к ней, пальцем убрал за ухо медную выбившуюся прядь волос. «Быть по-моему вели», и совсем неожиданно спросил:

— Я хочу тебя поцеловать. Можно?

Аглая сглотнула и ничего не ответила. А потом зажмурилась, открыла рот и тут же почувство-

---

[36] Примечания: 36

Здесь и далее цитаты из сказки В. Катаева «Цветик-семицветик».

вала. Дедушкина малина, астраханский арбуз, земляничный монпансье, чуть кисловатая, щиплющая язык вишня, пластинка клубничной жвачки из ларька «Союзпечати» на углу. Все любимое сразу. Как тогда, когда она уже двадцатый час ехала в поезде Москва — Алушта и пропустила путч, потому что ела самые сладкие в своей жизни помидоры. Еще раз и еще. Один за одним, бесстыдно и жадно. Не разрезая на дольки. Не боясь испачкаться или заболеть. Боясь только, что помидоры закончатся и она не успеет наесться, не успеет запастись нектаром до следующего лета, чтоб до весны хватило, чтоб хватило на зимовку.

Глава пятая
Зимовка

Тетя Света осмотрела актовый зал. Стол с печеньем, мандаринами, кока-колой, фантой и спрайтом в двухлитровых бутылках. Тетя Света новые лимонады не признавала, тосковала по «Дюшесу», «Крем-соде», «Байкалу», «Тархуну». Особенно по «Тархуну». Грузминфруктвод. Четырнадцать копеек за маленькую зеленую бутылку. Но сейчас продавали не «Тархун», а разведенный химический порошок под видом «Тархуна». Ни запаха степи, ни пузырьков-мурашек в горле, ни изумрудной сладости.

Елку в зале поставили искусственную, лысоватую, но высокую. Украсили старыми игрушками и самодельными бумажными фонариками. На елочной макушке аляписто мигала разноцветная… Тетя Света нахмурила невыщипанные, густорастущие брови. Что это? Хризантема, что ли? Советские звезды гораздо лучше, конечно. Тетя Света расставила двумя кружками стулья, как просил директор. Для этого… Для ку… ку… Опять забыла! Новый год уже на носу, вот время бежит, а

она холодец еще не ставила, овощи для салатов не варила. Говяжья голень, свекла, селедка, докторская колбаса, горошек. Тетя Света повторила про себя список того, что нужно обязательно завтра не забыть купить. Хоть бы сегодня не допоздна засиживались. На Хеллоуин этот чертов часов в десять только разошлись. На последний автобус тетя Света опоздала, хорошо директор подвез. Серебряная Audi 80. Тетя Света улыбнулась. Она всю жизнь мечтала о собственной машине, всю жизнь копила. Но каждый раз, как в книжке работница Сберкассы выводила приближающуюся к мечте сумму, случался очередной дефолт. Сколько их уже было?! Тетя Света напоминала себе лягушку-демократа из игры Perestroika. Женьчик ее играть научил. Разверзшиеся небеса. Очкастый змеюка Горбачев в розовом галстуке. Кремлевская стена. Шаляпин поцарапанным граммофонным голосом гремит: «Эх, дубинушка, ухнем!», а тетя Света опять прыгает не на ту кочку и тонет. «Ну мам, ты не видишь, что ли, — злился Женьчик. — Кочка усохла же почти. Ну ма-а-ам!» Тетя Света виновато пожимала плечами. Зеленые кочки представляли собой законы и постановления. Кочки, как законы и постановления в России, исчезали так же неожиданно, как и

возникали, в произвольном месте игрового поля. Всегда непредсказуемом. Прыгаешь вроде как надо, по инструкции, а оказываешься в болоте вместе со всеми своими накоплениями. И это было архине-справедливо. Тетя Света всегда играла по правилам, никогда даже красные шарики авантюры не ела, в которые превращались утонувшие бюрократы. И МММ с Леней Голубковым («Я не халявщик, я — партнер!»), и финансовые пирамиды («Светочка, тут взнос сто долларов, но ты их за неделю отработаешь!»), и «Гербалайф» («Хочешь похудеть? Спроси меня как!») тетя Света обходила за километр, от греха подальше, не ввязывалась — и все равно тонула. Примите соболезнования. Лежа на дне перестроечного болота, вспоминала про мечту, этапы большого пути, кое-как выбиралась на поверхность. Начинала игру заново.

Тетя Света поправила подушки-сидушки на подоконниках. Богдановой мать пошила в цвет американского флага. Тетя Света застелила подоконники красными пледами, чтобы дети на голом не сидели. Получилось уютно и практично.

Тетя Света не любила праздники. Одна суета. Детям — радость и веселье, конечно, а ей — голов-

ная боль и весь пол в конфетти и пятнах липкой газировки. Тетя Света любила порядок, расписание и будние дни. Директор у них был хороший, но уж больно деятельный. Тетя Света про себя называла его Зайцем Дюрасел. Ой, мамунь, как «чего поздно»! У них просмотр фильмов на английском был, кинотеатр же у нас по вторникам и четвергам. Жаль, Женьчик наш уже вырос. Вот бы ему на фабрике поучиться!

Особенно тяжко приходилось с октября по декабрь, когда от этих заморских праздников спасу не было. Они там в своей Америке не работают совсем, только празднуют. Тетя Света не успевала украшения в холле и актовом зале менять. День учителя. Хеллоуин. Сэнксгивинг. Кристмас. А ей потом все выметай! Паутина, фантики, кукуруза. Никого в очередь на швабру не стояло что-то. Всем бы только поплясать. А у тети Светы и так дел невпроворот: сменку проверь, полы вымой, учебники всем раздай, оплату собери, заболевших обзвони, новичков оформи, учителям зарплату вовремя выдай. Директор строго следил, чтобы с зарплатой никогда не было задержек. «Голодные безработные люди — это кадры для диктатуры, Светлана Сергеевна», — цитировал директор Рузвельта. «Куда черт не успеет, туда

Светку пошлет», — цитировала тетя Света саму себя. Тетя Света посмотрела на пока еще чистый, блестящий пол. Может, пленкой застелить, чтоб не заляпали?

Любимым моментом тети-Светиного рабочего дня был звонок на урок. Дети расходились по классам. Фабрика пустела. Никто ее не дергал. Тетя Света разводила две ложки растворимого кофе, добавляла ложку сахара, доставала никогда не иссякающий пакет конфет: «Халва в шоколаде», «Грильяж», «Каракум». Хоть кондитерские фабрики не развалили, слава тебе господи. Садилась наконец на лавочку, вытягивала ноги, грызла грильяж, восстанавливала силы. Тетя Света ела много сладкого и не толстела. «Счастливая у тебя конституция, Светка», — говорили подруги. «Ты с мое поработай в три смены, у тебя тоже будет счастливая», — думала тетя Света, но подругам не возражала. Пусть хоть этому позавидуют. Болыне-то, по сути, завидовать нечему. Мужа у нее не было. Она его сама выперла, когда Женьчику пять лет было, на фиг он такой нужен, хуже малого ребенка. И правильно сделала, что выперла. Он совсем спился через два года. Хоть хоронить не пришлось. Они жили с мамой, ждали возвращения Женьчика из армии, полгода всего

осталось. Тетя Света зачеркивала на настенном календаре с Аллой Пугачевой дни до окончания Женьчиковой службы. Пугачева улыбалась: «А знаешь, все еще будет, южный ветер еще подует!»[37] Женьчику повезло, командир организовал в их части подпольное производство водки, и Женьчика в горячую точку не послали. Женчик хорошо в школе в химии разбирался, дай бог здоровья химичке их, Татьяне Родионовне, святая женщина. Тетя Света на Женьчиковы десять лет в лепешку разбилась, спала по четыре часа, но рижский набор юного химика достала! Самый большой, триста опытов, с пробирками, стеклянными воронками, чашечкой для выпаривания, пипетками, штативом и целым набором химикатов, от медного купороса до нашатырного спирта. Женьчик и вулкан соорудил, и клей из творога и нашатырного спирта смешал, и крахмал в сахар преобразовал. Волшебник!

— Светлана Сергеевна, как вы тут все красиво украсили! — Маргарита Антоновна наклонилось к тети-Светиному уху, приобняла за плечи цепкими холодными пальцами, как железной хваталкой из игрового автомата. Маргарита Ан-

[37] Примечания: 37

Песня «А знаешь, все еще будет...» в исполнении А. Пугачевой. Автор текста В. Тушнова.

тоновна ходила по фабрике кошкой, бесшумно, будто не по плитке, а по мху. Тетя Света оглянулась. Маргарита Антоновна улыбалась ей ровными белыми зубами. Нерусскими. У русских таких зубов не бывает. Тетя Света всегда зачем-то про себя считала зубы Маргариты Антоновны, когда с ней разговаривала. Сама не знала почему. Двенадцать снизу. Двенадцать сверху. Ненормально, когда так рот открывается. У тети Светы перед зеркалом, когда она очень старалась и губы растягивала, как на приеме у стоматолога, было видно по восемь. А в нормальной расслабленной улыбке и то по шесть.

— Да это же девочки наши, Маргарита Антоновна. — Тетя Света развела руками, надеясь, что Маргарита Антоновна ослабит хватку, но Маргарита Антоновна не ослабила. — Дымова тут после уроков… Я уж ушла. Это она все скакала, вешала.

— Дымова? — Маргарита Антоновна крепче сжала тети-Светины плечи.

<Что ж у этих американцев руки на месте не держатся, — подумала тетя Света. — Всех трогают постоянно».

— Вот как. А кто у нас Дымова?

— Ну, девчонка курносая, рыженькая, активная очень, хорошенькая, Глаша, у мужа вашего в

группе… Да вы ее знаете. Они с Лугиной. Высокая такая… С короткой стрижкой. — Тетя Света потрясла руками у головы, изобразив короткую прическу, и наконец вырвалась из хватки Маргариты Антоновны. — К Хеллоуину тут все украшали. Разве не помните? И ваша там была тоже, как ее, Богданова, толстенькая такая. — Тетя Света надула щеки.

— Украшали. — Улыбка Маргариты Антоновны уменьшилась до десяти зубов с каждой стороны. Что ж ее все так радует? — Молодцы какие девочки у нас, правда, Светлана Сергеевна? — Маргарита Антоновна принялась заново переставлять только что расставленные стулья.

— Конечно, молодцы! Не девчонки, а золото! Ладно, Маргарита Антоновна, побегу! Мне еще для вашего ку… ку. — Тетя Света нахмурилась. Недоразумение, а не язык. — Ну… листочки для вашего ку… для вашего конкурса.

— А, для Quiz Night, — рассмеялась Маргарита Антоновна громко, ясно, двадцатью четырьмя зубами.

— Вот, точно, для… — Тетя Света беспомощно посмотрела на Маргариту Антоновну.

Маргарита Антоновна беззвучно, одними губами, как в лингафонном кабинете, четко про-

артикулировала:

— Quiz Night.

И тетя Света, внимательно следившая, наконец выговорила невыговариваемое:

— …куизнайт нужно распечатать.

— Давайте, Светлана Сергеевна, бегите, конечно. — Маргарита Антоновна кивнула, но улыбаться не перестала, так и лыбилась, пока тетя Света дверь не закрыла.

«Куиз, куиз». Тьфу-ты, что за нерусское слово. Тетя Света на выходе протерла ручку двери в актовом зале — тряпка всегда висела у нее на поясе — и побежала вниз. Тетя Света возмущалась на свою работу, но не по-настоящему, понарошку. Работать на фабрике ей нравилось. Да что там нравилось, это была лучшая работа в ее жизни. Каждая кухарка может управлять государством. Только не кухарка, а уборщица, и не государством, а языковыми курсами. Да, может. И управляет.

Тетя Света уборщицей еще в старших классах подрабатывала. Мыла подъезды перед уроками. И так хорошо мыла, так усердно, что ее жители соседнего дома переманить пытались. У них тетя Дуся убиралась, акварельными разводами размазывала грязь по этажам. Тетя Дуся на весь подъезд мочила тряпку два раза: на девятом

этаже и на пятом. У тети Дуси была толстая, как шмоток сала, поясница и застарелый радикулит. Светуня же была молодая, поджарая, со здоровой спиной, тряпку полоскала по два раза на этаж и быстро накопила денег на красивущий черный дерматиновый дипломат. Красный внутри. Восемнадцать рублей девятнадцать копеек. Год работы. Терпенье и труд все перетрут. Дипломат был идеален, туда все-все помещалось, тетрадки не мялись, и домашку на нем можно было делать, сидя на лавочке во дворе. Когда одноклассники на перемене сваливали свои дипломаты и рюкзаки перед кабинетом, тетя Света свой из рук не выпускала. И тупыми детскими наклейками не заклеила. И с горок на дипломате, как одноклассники, не каталась. А когда Игнат однажды на бегу дипломат ей попытался раскрыть, тетя Света ему после уроков доступно объяснила, почему так больше делать не стоит. Игнат от нее до конца школы потом шарахался. Тети-Светин дипломат остался как новенький. С блестящими замочками. С красной подкладкой. Без единой царапины.

Тетя Света с тех пор чего только в жизни не мыла: и туалеты, и два этажа тубдиспансера, и школу, и даже морг — самая безмятежная

работа оказалась: в морге тишина стояла идеальная, как в лесу, тетя Света любила мертвецов и патологоанатомов за неразговорчивость. Она поэтому и умереть никогда не боялась. Знала, смерть — это тишина и спокойствие. «На том свете отдохнешь», — говорила мама. Тетя Света воспринимала эти слова буквально. Собиралась на тот свет взять дипломат и ничегошеньки там не делать или, еще лучше, гонять на своей иномарке по райским, хорошо заасфальтированным ангелами дорогам, как в Америке. Директор рассказывал, что в Америке очень хорошие дороги.

Когда тетя Света устроилась на фабрику, она и не подозревала, что с путевкой на тот свет ей захочется повременить, что случайно зачеркнула на красном билете «Спортлото судьбы» те самые пять чисел из тридцати шести, что выплюнул лототрон капризной фортуны. Директор вызвал ее в кабинет почти сразу, она поди тогда только три месяца отработала: «Светлана Сергеевна, мы с Маргаритой Антоновной, мы без вас как без рук, умоляю, станьте нашим администратором!» Тетя Света так со шваброй из «Магазина на диване» в руках и замерла: она такой профессии-то и не знала, но слово «администратор» ей сразу понравилось. И тетя Света, не раздумывая, согласилась.

Стала администратором. Семнадцать групп. Пять педагогов. Постоянный донабор в течение года. Шесть классов. Доски. Фломастеры. Учебники. Тетя Света, как на табличку на своем кабинете смотрела, сразу приосанивалась и задумывалась, может, надо краситься все-таки начать и брови выщипывать, раз она администратор. Но быстро эту мысль из головы выкидывала. Еще деньги на косметику тратить!

Директор ей, как администратору, такую зарплату назначил, какую она нигде и никогда не получала, ни советскими рублями, ни новорусскими. Они с мамой и Женьчиком теперь хорошо жили. Женьчику она компьютер купила. А на Новый год они не гадали больше, какой салат сделать, селедку или мимозу, готовили все, так, что потом неделю доедали. А однажды и вовсе произошло чудо. Тетя Света хорошо тот день запомнила. Она покурить на крыльцо вышла, рассматривала директорскую машину. До чего ж красивая! Строгая, надежная, работоспособная. Как сама тетя Света. И тут директор выходит. Статный, веселый, как всегда. Они часто вместе курили, все рабочие вопросы за перекур порешать успевали. «Светлана Сергеевна, я тут надумал машину поменять. Не хотите мою купить?

В рассрочку. Через полгодика. Я вам хорошую скидку сделаю. Она у меня не новая, десятилетняя уже, но надежная». И тетя Света опять сказала «да», опять, не задумываясь, перезагрузила игру, начала новую партию. Неужели у нее все-таки будет своя собственная машина? Серебристая! Эх, дубинушка, ухнем!

По совету директора на все свободные деньги она теперь покупала доллары, складывала в золотую коробочку из-под зубного порошка «Жемчуг». Коробочку хранила в дипломате. В Сберкассы после дефолтов тетя Света не верила. Основала банк имени себя, под кроватью. Каждый месяц второго числа тетя Света доставала свой сундук — на море на океане есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке — заяц, в зайце — утка, в утке — яйцо, в яйце — доллары! Перед тем как пополнить свой именной счет, тетя Света долго рассматривала американских президентов. Всех знала поименно и в лицо, как детей на фабрике. Вашингтон в парике. Джефферсон точь-в-точь Смоктуновский. Линкольн с нависшими веками и козлиной бородой. Гамильтон, красавец. Жабоподобный Джексон. Хру-щевоподобный Грант. И любимый стодолларовый Франклин! От американских

президентов шла мощная, будоражащая энергия, энергия несущегося по идеальной американской трассе автомобиля. Жень-чик вернется, а она его на машине с вокзала встретит! Вот такая у тети Светы была новая мечта.

Тетя Света остановилась у двери своего кабинета, протерла тряпочкой табличку «Администратор» и зашла внутрь. Кабинет был маленький, но светлый, с двумя книжными шкафами и большим лопоухим ксероксом, к которому тетя Света относилась как к домашнему питомцу, ревностно отгоняя рассеянных педагогов, которые все время тыкали не на те кнопки и зря переводили бумагу. Тетя Света открыла крышку ксерокса, протерла заляпанное стекло — надо обсудить с директором запрет ксерить без ее надзора, — положила листочки с куизом — ой, надо же, запомнила, — нажала зеленую кнопку. Ксерокс сладко зачмокал. Хозяйка пришла.

«Не будешь учиться — уборщицей станешь! Всю жизнь возить грязной тряпкой по полу, вот счастье!» — пугала маленькую Светуню мама, но Све-туня не пугалась. Вон Ленка два высших получила из-за страха стать уборщицей, и что?! В «Копейке» на кассе сидит со своими дипломами под задницей. Стоило так убиваться?! Да и в кого

ей было в университеты? Мама почтальоном всю жизнь. Целый день на ногах, вставала затемно, таскала тяжелые сумки. «Все строчут и строчут! Это ж сколько у людей свободного времени, чтобы столько писем писать?!» — возмущалась мама. Зато работала до обеда, и Светуню всегда после школы дома ждал горячий гороховый супчик, солянка, голубцы, вареники, картошечка с квашеной капусткой.

Мама квасила капусту профессионально, по инструкции Министерства торговли СССР 1956 года, строго соблюдая граммаж. Настаивала пять дней на балконе. Капусту-пятиминутку презирала. Кочаны они вместе ходили выбирать на рынок. Каждый кочан тщательно инспектировали. Капусту брали белую, позднюю, ту, что перед первыми морозами собирают, плотную, ни в коем случае не рыхлую, а такую, что поднимаешь и сразу вес чувствуешь. Белорусскую обычно, а если повезет, сабуровку. Морковь толстую, сладкую, облепихово-оранжевую. Клюкву чистую, клюквинка к клюквинке. Мать ее три раза под краном промывала, чтоб мусора не осталось. Свежий тмин, не залежалый. Лавровый лист с куста, на рынке их банными вениками продавали. Соль высшего сорта, мелкую. Две чайные ложки на кило капу-

сты. Каждый кочан дома как рыбу насаживали на железный крючок весов, взвешивали, чтоб все точно. Шинковали. Тоненько. Женьчик, когда подрос, тоже помогал. Ножи не точили, иначе капуста истекала соком и вкус теряла. Жамкали. Укладывали слоями в эмалированное ведро, пересыпали морковью, солью, ягодами, тмином. Сверху водружали огромный квасильный камень, гладкий, речной. Начиналась магия. Сначала мутнел сок. Потом появлялись пузырьки. Женьчик часами у ведра сидел, нравилось ему. Химия! Пузырьки снимали шумовкой. Избыток газа плохо сказывался на вкусе. Раз в день мама капусту раскрывала, протыкала старой лыжной бамбуковой палкой. Убирали на балкон. Ждали. У тети Светы заурчал живот.

Ксерокс облизал чернилами последний листок с вопросами и погас. Наверху затопали. Что это? Парамоновские сапоги?! Опять без сменки? Тетя Света выключила ксерокс: «Спи, сегодня никто тебя больше не побеспокоит, не пущу» — и побежала наверх, отдать куизнайт и Парамонову по башке дать, если чистый пол топчет.

* * *

Тетя Света посмотрела на часы. Без четверти девять. Нет, сегодня она сидеть столько не будет! Новый год на носу. Она весь первый этаж уже перемыла, пока они там вопросы гадали и песни в караоке горланили. Все новые учебники в шкафах разложила аккуратными стопочками. Всю пыль вытерла. Нечего больше вытирать. Маргарита Антоновна вон час как ушла, а ей что сидеть? Тетя Света допила третью чашку кофе. Кто там остался-то? Директор точно еще не спускался.

— О, Глашенька! — повеселела тетя Света, увидев спускающуюся со второго этажа уже одетую Дымову. — Ну что, расходитесь наконец?

Дымова посмотрела на нее как-то рассеянно, пожала плечами. Устала тоже, бедная. Вот и детям уже не в радость эти праздники!

— Нет, там еще сидят… — Дымова неопределенно махнула вверх головой.

— Сидят, значит… — Тетя Света вспомнила о последнем автобусе и о холодце, шанс сварить который таял на глазах, и безнадежно кивнула. — Вот как.

Тетя Света махнула Дымовой: иди, иди с богом,

и прямо с чашкой недопитого кофе уверенно пошла наверх. В актовом зале еще тут и там валандались дети, играли в настолки. Директор полусидел на подоконнике, что-то объяснял хихикающей румяной Богдановой. В актовом зале было жарко. «Какая же Богданова толстая все-таки», — подумала тетя Света и нахмурилась. Жир — первый признак лени. Директор поймал озабоченный тети-Светин взгляд, кивнул на стол с мандаринами, но тут же все понял, махнул рукой:

— Идите, Светлана Сергеевна, конечно, идите! Я все закрою.

Тетя Света подняла в честь директора красную кружку Nescafe:

— За ваше здоровье! Спасибо!

Вот же как складно все получилось. Тетя Света радостно побежала вниз. Чего сидела, надо было с Маргаритой Антоновной уходить. Слава тебе господи. Хороший у нее начальник, золотой, на Гамильтона похож с десятидолларовой купюры. Гамильтонов у нее было пятнадцать штук. Директор шестнадцатый. Где такого еще найдешь?!

* * *

Жизнь, любовь, дачный сортир, всё — большая борьба. Голой заднице пряно. До Аглаи в сортире был Дед. На тонкой коже — конденсат, как на щеках, когда кашляешь, змеиная мазь уже не помогает, и мама заставляет над картошкой дышать.

Нос мерзнет, ночью на даче холодно. Хорошо, если успеешь накинуть тяжелый Бабушкин байковый халат. Не успела. Детское тело колотит дрожь. По руке кто-то ползет. Жук? Божья коровка? Бабай-ка пальцами мурашки перебирает? Жутко, но не смахнуть. Отпустишь подол — вся в говне будешь.

Первое правило дачного сортира — задержать дыхание. Аглая и Вероничка тренировались вместе. Раз, два, три… десять. Обычно хватало с лихвой. Не хватало, только когда ты переела конфет и у тебя кишечник слипся весь, полностью, совсем — тут как ни тренируйся…

Аглая таращится в темноту. Воздух заканчивается, вылетает со свистом, как из воздушного шарика. И до десяти недотянула. Ударяет кислый, теплый, упругий запах кала. Еще чуть-чуть и… Сосредоточиться. Сжать губы.

К запаху кала примешивается запах кошачьего ссанья. У майора кошка ходит ссать к ним на участок. Кошки ссут, говорит тетя Зоя, а девочки писают. Дед не против кошек. Он любит и кошек, и собак, и кроликов, и цыплят. Дед — друг всех живых существ, председатель местного отделения Всероссийского общества охраны природы. У него и значки есть с рогатыми оленями. Целая коробка. Дед самый большой друг живой природы, ему выдали много значков.

Аглая вылетает из сортира и надирается вкусным, как вареная сгущенка, ночным дачным воздухом. Так мама папе говорит, когда он с рыбалки приезжает: «Э-э-эх, надрались опять!» И Аглая понимает, о чем говорит мама. Аглая дышит и надирается запахами земли, лета, ночи и абсолютной свободы. Сортир еще и болтает без умолку. Сам с собой.

Ворчит, ругается, заливается глупым смехом. Никогда не замолкает. Но из сортира можно сбежать. Хлопнуть деревянной дверью. Сделать глубокий вдох. А от Настьки сбежать нельзя. Настька ее везде преследует. В школе. На фабрике. Распахивает обратно деревянную дверь. Бежит следом. Смеется сортирным смехом, кислым, тошнотворным…

— Дорогие десятиклассники. — Ольга Николаевна стояла посреди сцены актового зала, как дирижер перед невидимым пюпитром. Бирюзовая блузка с бантом на груди, черные брюки, толстый ремень, пачка распечаток вместо дирижерской палочки. — В нашей школе есть давняя традиция…

В актовом зале все было красное: кресла, занавески, плакат с гвоздиками над сценой (с мая висел, забыли снять). Помидоры тоже красные, как актовый зал. Аглая закусила губу. Правильно она целовалась или неправильно? И если неправильно, то как правильно? Гудвин не объяснил. Оценку не поставил. Большие пальцы вверх не показал. А теперь делал вид, что ничего не произошло. Вел себя как обычно, пожимал ей руку, упирался носом в макушку, нюхал, спорил, что дождь пахнет не дождем, а озоном, раздавал ей свои велдан за идеально сделанную домашнюю работу. Может, ничего и не было. Может, ей все померещилось. Цветик-семицветик. Путч. Свитер депешмот. На Quiz Night Аглая ответила на столько вопросов, на сколько никто не ответил, больше всех, ее команда выиграла, Маргарита Антоновна так ее хвалила, сказала, что давно за ней наблюдает, вручила диплом, а вечером… «See

you, Ag-la-ye! Well done! Bye!» — болтал Гудвин после Quiz Night почему-то не с Аглаей, а с Настькой. Они сидели вдвоем на подоконнике, чокались бутылками кока-колы и ели мандарины. И Настька смеялась глупо, как чавкающий дачный сортир. И Гудвин смеялся.

— Я! — Настька громко взвизгнула. Губа у нее нижняя была пухлая, вывернутая, как толстая бледно-розовая гусеница.

Ну дура! Какая Настька дура!

— Что ты, Настя? — нахмурилась Ольга Николаевна.

— Хочу участвовать! Ольга Николаевна, дайте мне главную роль!

Главную роль? Аглая рефлекторно обернулась, ища глазами Наташку. Что за роль? Но Наташка, конечно, на нее не смотрела. Наташка сидела в противоположном углу актового зала. Рулеткой, наверное, замерила перед собранием максимально далекое расстояние, будто Аглая была туберкулезная.

— Настя, сядь, пожалуйста. — Ольга Николаевна отмахнулась от Настьки распечатками.

Если бы здесь висела липкая лента для мух, как на даче, Настька бы к ней своими лапками прилипла.

— Ну пожалуйста, Ольга Николаевна! — Настька сложила ладони в умоляющем жесте. — Я очень артистичная, очень, а вы мне ничего не доверяете никогда! Вы мой потенциал не раскрываете!

— Богданова! Сядь немедленно! И потенциал свой рядом усади. — Ольга Николаевна от слова «потенциал» скуксилась. — Что значит «никогда»?! Мы первый раз, если я не ошибаюсь, спектакль ставим. Тем более все роли я уже распределила. У нас два состава, основной и запасной. Все участники запасного состава учат то же, что основной, на случай, если кто-то заболеет. Спектакль у нас важный, двадцатипятилетие школы! И вам вместе будет легче в парах готовиться. А ты, Настя, не беспокойся, потенциал мы твой дораскроем, у тебя тоже роль есть.

Аглая в ужасе уставилась на Ольгу Николаевну. Два состава. Не дай бог ее с Настькой или Наташкой поставят.

— Итак, наш спектакль… — Ольга Николаевна вытянула перед собой старый журнал, перешла с раздраженного голоса на пушкинско-одухотворенный. — Вы знаете, что это?

— Макулатуру, что ли, опять собирать? — зевнул Петька. — Как в начале?

— Петя… — Глаза Ольги Николаевны увеличились до размера ее очков, и она, чмокнув, вскинула журнал и потрясла им. — Это великий, великий, не побоюсь этого слова, советский литературный журнал «Юность»! Восемьдесят седьмой год! Раритетное издание!

— Надо же… — Петька вскочил с кресла, одним прыжком оказался у сцены, носом аккурат перед великим, великим литературным журналом «Юность».

— Старье какое-то! Зачем вы это храните?

Ольга Николаевна резко отдернула журнал от Петиного носа, словно испугалась, что Петя чихнет, забрызгает «Юность» соплями.

— Э-то… — Ольга Николаевна перешла на слоговый марш. Левый, правый, левый, правый! — Ве-ли-кий жур-нал, Петя! Мне жаль, что ты о нем никогда не слышал. Но почему-то это меня не удивляет. А в этом… — Ольга Николаевна развернула журнал и медленно пошла по сцене, как девушка в купальнике на конкурсе красоты. — В третьем номере за восемьдесят седьмой год впервые напечатали текст Леонида Алексеевича Филатова, сказку «Про Федота-стрельца». Ее-то мы с вами и поставим.

— Ольга Николаевна, ну серьезно, мы же не

началка, чтобы сказки ставить! — заныл Петька. — Вы б еще «Золотую рыбку» принесли!

— А-а-а-а-а, Петя! — Ольга Николаевна улыбнулась. Брови ее расправились. — Сам посмотришь, насколько это взрослый и актуальный текст. Ты такие сказки не читал еще! У тебя, кстати, главная роль Федота в первом составе. Держи, — Ольга Николаевна протянула Петьке распечатку. — Придумай и подбери себе костюм. Роль большая, объемная, сыграешь — обещаю не ниже четверки в году… А если очень хорошо сыграешь, может, и пятерку поставлю. — Ольга Николаевна загадочно улыбнулась.

— Ну не-е-ет! — жалобно простонал Петька. — Мне и тройки достаточно, Ольга Николаевна! Это ж сколько учить?!

— Сколько нужно, столько и учить, — отрезала Ольга Николаевна. — Стихи тренируют память и душу, Пивоваров. А тебе неплохо было бы и над тем, и над тем поработать. Кирюша, ты генерал. Аглая, ты голубица Маруся, жена Федота. Настя, ты вторая голубица. Возьмите, девочки.

— Чего это я вторая? — Настька вскочила с кресла, выкатила глаза.

Аглая забрала текст, первый раз за день улыбнулась. Вот теперь-то она точно не заболеет, ни

за что! Хоть мертвая, а на спектакль явится.

— Еще одно слово, Богданова, и никакой роли у тебя не будет совсем; поняла меня? Я сказала, что оценки всем одинаковые поставлю. Учи. Потенциал дораскрывай свой, — отрезала Ольга Николаевна.

Роль Скомороха-Потешника получил Матвей, толстая Танька стала Бабой-ягой, Настькина подружка Вика — нянькой, Димка и Андрюша — Титом Кузьмичом и Фролом Фомичом. Аглаю после распределения Ольга Николаевна обняла, поздравила, выдала эскиз костюма, сказала, что принесет ей павловопосадский платок для крыльев.

— Глашенька, держи. Вот контакт модистки, это мама Богдановой, золотые руки! Она нам каждый год костюмы шьет. А вот головной убор с перьями тебе придется смастерить самой…

— У нас есть. — Аглая улыбнулась. — Есть головной убор с перьями!

* * *

Бабушка разрешала почти все. Не разрешала только есть холодное мороженое, когда болело горло, и трогать шляпную картонку, даже когда очень этого хотелось. Сливочный пломбир в

стаканчиках по двадцать копеек Бабушка топила в эмалированном ковшике, разжижала, деконструировала плотное твердое холодное детское счастье в мерзкую взрослую сладкую жижу. Аглая такое не ела, а Вероничка — ничего, уплетала обе порции, и свою, и Аглаину, и даже размякшие желеобразные вафли съедала. Урезонить Бабушку было невозможно. Приходилось выздоравливать безмороженно. Усвоив урок с мороженым, с картонкой Аглая и Вероничка тактику сменили. Не канючили. Просто дожидались, когда Бабушка уйдет в магазин, и без спроса картонку доставали.

Бабушка прятала картонку в спальне на верхней полке толстобокого немецкого шкафа. Картонка была точь-в-точь как коробка из-под «Киевского» торта. Только больше, кожаннее и с ручкой. Картонку для шляпки Бабушка купила в Вене, где служил Дед и родилась тетя Зоя, хранила в ней шляпку цвета растопленного пломбира, с настоящими гусиными перьями. Прабабушка Аня смастерила шляпку своими руками. У Бабушки от ее мамы только и осталось что Библия да эта шляпка. После того как Бабушка поймала Вероничку, решившую завить перья на плойку, чтоб было красивее, Бабушка строго-настрого за-

претила и картонку, и шляпку трогать, погрозила пальцем: «Не смейте!»

Но Аглая и Вероничка не слушались, смели. Картонка да диван — все, что у них было взаправдашнего, когда они играли в «дама сдавала в багаж». Вероничка всегда была дамой, Аглая — кондуктором. Ридикюль через плечо. Папина кепка. Аглае тоже очень хотелось побыть дамой, но Вероничка иглобрюхом надувала щеки, играть отказывалась. Приходилось работать кондуктором.

Дама сдавала в багаж диван…[38]

Вероничка, нацепив Бабушкину шляпку, все время спадающую ей на глаза, повелительно тыкала в диван с тремя матрасами. Аглая перевязывала диван поясом от халата, упаковывала. Готово, мадам!

Чемодан…

Старый деревянный дедовский чемодан Вероничка притаскивала из спальни, волоча по полу. Аглая затаскивала чемодан на табуретку, выписывала квитанцию: «Чемодан, мадам. Одна штука».

Саквояж…

---

[38] Примечания: 38

Здесь и далее цитаты из стихотворения С. Маршака «Багаж».

Саквояжа у Аглаи и Веронички не было. Но, изучив картинку в книжке, они пристроили под саквояж Бабушкину белую пузатую пластиковую авоську. Бабушка с ней за молоком ходила. Если Бабушка сумку-авоську забирала, брали железную сетку для яиц.

Картину…

Снимали в коридоре огромную репродукцию «Всадницы» Брюллова. Картина была размером с Вероничку. И Аглая боялась, что «Всадница» Веро-ничку прибьет.

Корзину…

Дедовская грибная, пахнущая мохом и старыми газетами.

Картонку…

Самая настоящая, взаправдашняя, толстая, кожаная Бабушкина.

И маленькую собачонку.

Роль маленькой собачонки искусно исполнял резиновый щенок с черным ухом и пятном на спине. Шарик из «Котенка по имени Гав».

Аглая выдавала Вероничке четыре зеленые квитанции — разрезанные на квадратики обложки пожелтевших тетрадей в двенадцать листов. Дед откуда-то притащил целую стопку. Кто-то выбросил. Дед подобрал: «Буржуи проклятые.

Хорошие вещи выбрасывают». Дед от буржуев много нужного спас, хранил на балконе. Найденный на помойке старый, но даже не треснувший унитаз. Две стертые шины от «Волги». Ведро с черноземом для тюльпанов на весну. Облупленный стол-книжка, которому обещали, что он однажды переедет на дачу. Железный бикс, цилиндр с дырками по стенкам: «Рыбу коптить будем». Все, что у Деда на балкон не помещалось, он привязывал тросами по периметру: деревянные ящики для рассады, строительную каску, жестяные банки из-под зеленого горошка, покореженный дорожный синий знак со стрелкой, указывающей воронам и голубям, как балкон облетать. Поверните направо.

Старый дедовский чемодан давно выкинули. Сетка для яиц валялась за дверью. Яйца теперь продавали в картонных упаковках. Дед в них выращивал весной рассаду: помидоры, огурцы, перец. Пластиковая авоська пухла от уже прочитанных Бабушкой выпусков «Семи дней». Только картонка от детских игр и осталась.

Аглая достала из шкафа картонку. Бабушкина шляпка от одиночества выцвела, а Вероничка все-таки завила на ней перья. Аглая попробовала их распрямить, но они не распрямлялись, соба-

чьим хвостом сворачивались обратно. Придется искать другие перья, другую шляпку. Когда Аглая убирала шляпку обратно, увидела, что клетчатая подкладка в картонке треснула, топорщилась, из-под нее что-то торчало. Аглая поддела пальцем подкладку, вытащила сложенный в четыре раза листок. Развернула. Из листка выпало нарисованное простым карандашом бумажное сердце. Сердце-айва с тонкими нитями капилляров, ветвями вен и рогатыми трубками. Анатомически точное. Красивое. На листке было написано:

Дорогая моя Нина,
ангел мой,
родная моя,
хочу, чтобы сердце мое было с тобой.
Ему только с тобой и спокойно.
Храни его.
Я обязательно вернусь за ним.
Жди меня,
твой Николай.
5 мая 1943
Курск

Аглая часто заморгала. Николай? Она попыталась и не смогла вспомнить, как зовут Деда. А потом быстро засунула письмо и сердце-айву

обратно под клетчатую подкладку, прикрыла трещину шляпкой, спрятала картонку в шкаф и, зажмурившись, вытерла о футболку руки, будто они были грязные. Не Николай. Деда звали не Николай.

* * *

Люся, немолодая шмелевидная женщина, вои ственно ударила по педали швейной машинки. Игла зажужжала по золотой ткани с графичным узором из шестиугольников. Всем в городе нынче хотелось золотые шторы. Одной рукой Люся направляла полотно, другой держала тлеющую полувыкуренную сигарету. Сигарету Люся засовывала в рот, затягивалась, чмокая, вынимала, давила на педаль.

— Чё надо? — Люся сняла ногу в кисловодском тапке цвета фуксии с педали, вполоборота повернулась, свесила руку с сигаретой со стола, окурком ваяв девчонку на мушку. И чего эта выскочка приперлась? Видела Люся ее мать на собрании, интеллигенты чертовы, позаканчивали московские университеты, возомнили себя невесть кем. Тоже мне «пример для подражания». Настена права.

— Я… заказать костюм. Для сп-п-пектакля, —

промямлила девчонка.

Еще и заика, вот же, и это ее-то в первый состав вместо Настены? Люся презрительно помотала головой.

— Мы «Федота-стрельца» в школе ставим. Я голубица. Мне нужен голубой комбинезон и маска. Вот. — Девчонка протянула Люсе разлинованный листок с эскизом.

Люся размашистый очерк узнала. Классная. Вкус у нее есть, тут Люся не спорила. Но для кого наряжается, спрашивается? Старая дева! У нее даже мужа нет. А, так вот в чем дело, догадалась Люся, она, видно, такую же, как сама, моль бледную в любимицы себе выбрала, боится красивых девок, как ее Настена. Люся молча посмотрела на протянутый рисунок — лосины, кофта, маска в перьях, ничего сложного, — но листок не взяла.

— Это ты-то голубица? — Люся сделала последнюю затяжку, вдавила окурок в янтарную щербатую пепельницу. — Не смеши меня. — Люся хмыкнула, в пепельницу сплюнула. И тут же пожалела. Запудренный синяк на скуле еще скулил: рука у мужа была тяжелая, чугунная. — Не возьму. — Люся медленно потянулась за изумрудной пачкой сигарет Salem, вытащила одну, щелкнула зажигалкой, затянулась, надев одну

пухлую, будто осой укушенную губу на другую, медленно выпустила смолистый дым.

За Настену было обидно, хоть вой. Дочь росла пышной красавицей, дородной, как и сама Люся, загляденье девка. Такая, что есть чем похвастаться и щеголять. Такая, что и родит нормально. А эта глиста? Таким жидким уродкам только и остается, что учиться, конечно. Червяк. Личинка. Слизень. Кто ее такую замуж возьмет? Она и родить-то не сможет. Вон бедра какие узкие. Крысиные родовые проходы. Люся довольно усмехнулась. Девчонка ее тяжелый взгляд почувствовала, скукожилась, закашлялась от дыма. Ну естественно, эти, небось, не курят. А она курит. Да, курит, и ей не стыдно! Она не такая, как эти. Люся работает всю жизнь, мозоли на пальцах размером с майского жука, педальная нога накачана, как у чертова Жан-Клода Ван Дамма. Иногда хотелось педальной ногой Потапу меж ног врезать, дать сдачи, но Люся знала, тогда будет еще хуже, и просто терпела. А эта дрищ или мамаша ее в плащике и день бы не продержались на ее месте, окочурились бы.

— Не возьму. У меня заказов на месяц вперед. Раньше надо было соображать.

— Но я же… — Аглая, сглотнув, быстро заморга-

ла, жуя слова.

Люся пережеванные слова девчонки не разбирала и хмурилась еще больше.

Сейчас разревется, сопля малолетняя. Эти только и делают, что ревут. Слишком одухотворенные. На кого же она похожа? Сигареты с ментолом хороши, парикмахерша блоками с Люсей расплачивалась. Да, точно! На недоношенного теленка, на Гаврюшеньку. Сколько он тогда весил? Килограммов пять, отец сказал. Мать поморщилась, когда Рыжанка разрешилась: «Не жилец…» Жалко его было. Так жалко! Помер. Задохнулся. И Рыжанку жалко. Бабам только и радость что в детях, даже если они коровы. Люся это тогда остро почувствовала, Рыжанке долго, целый день, морду обнимала и гладила, обнимала и гладила. Девчонка хлюпнула носом, вся синяя от страха. Ну дрищ! А вот из Настены хорошая выйдет голубица! Добротная! Она Настене со стразами костюм сошьет, а этой, этой без страз, из остатков. Хоть бы эта глиста заболела, что ли, не сильно, так, ангиной, чтоб голос потеряла на время спектакля. Люсе понравилась такая мысль, и она улыбнулась.

— Ладно, давай сюда свой эскиз! Все равно Настене шить буду, и тебе уж заодно. Двойной

тариф возьму, поняла? Матери скажи своей, чтоб вперед оплату. Через неделю на примерку приходи. Давай! Шуруй! У меня времени нет болтать с тобой, заказ простаивает. — Люся демонстративно вернула кисловодский тапок цвета «фуксия» на педаль.

Девчонка порозовела, промычала «спасибо» и, спотыкаясь, выбежала. Люся задумчиво сложила губы в трубочку, медленно выпустила ментоловый дым с холодком, вздохнула. Пусть только обратится теперь эта Ольга Николаевна ко мне! Хрен ей, а не костюм-двойка в следующий раз. Хрен! Люся накрыла плотной, мозолистой рукой ткань, нажала на педаль, машинка звонко, золотисто затараторила, и ткань потекла, потекла и виделась нечетко, как жизнь, в расфокусе, сотами.

Глава шестая
Соты

Библия была старая, черная, обуглившаяся. Будто ее Дед сжечь пытался, да не смог. Кочерга. Зола. Чумазая картошка в тонкой угольной корке. Под картошкой — Библия, огнем поцарапанная, но несгоревшая. Страшная книга смотрела злыми, безумными, распутинскими глазами. Не моргая. Аглая Бабушкину Библию боялась.

На Библии всегда лежал аккуратно сложенный в пять раз смоляной, просвечивающий отрез органзы, платок для похорон, прикрывал недобрый взгляд. Бабушка повязала его на голову в первый раз еще девочкой, когда хоронила отца. Отец пришел на последнюю побывку в сорок четвертом, обрюхатил мою прабабушку на память, уехал на фронт. Оказалось, что навсегда. На баяне играл, видный был мужик, с ямочками на щеках, ямочки Аглае от прадеда перешли, так Бабушка говорила. Потом смоляной платок похоронил младшего брата, Генку. Того самого, что крепышом родился от последней побывки отца, а умер спустя двадцать три года высоким,

видным красавцем. Столбняк. Бежал к Зинке на свидание, упал, поцарапал колено, через три дня хоронили. Генка, Бабушка говорила, всю жизнь от смерти бегал. Сначала — когда мать в голод выносила. Потом — когда до года протянул на пустой мамкиной груди да на размокших черствых корках хлеба в марле. Орал дурниной, смерть, летающую над ним вороной, отгонял. В пять лет его цыгане украли, да Мишка, участковый, догнал, нашел, вернул. Генка даже испугаться не успел: «Веселый дядя мне вот такой леденец дал!» В шестнадцать так из-за Зинки морду ему тракторист расквасил, смотреть страшно было, будто не кожа лицо покрывала, а домашняя простокваша. Думали, уродом навсегда останется. Нет, отошел, еще краше стал, а Зинка его любила, ой как любила, называла Аистом. Всю жизнь с дьяволом Генка в жмурки играл. Или с Богом. Случайно в этот мир пришел, случайно на тюре вырос, случайно оказался слишком хорош по земле ходить. Смерть его сразу заприметила, глаз положила, да не тут-то было. Двадцать три года он от нее родимой уворачивался, ловко, легко, по-мальчишески. Всю, что была в войну, радость себе забрал и раздавал всем вокруг, просто так раздавал, щедро, не жалея, а ее, радости-то, только больше

становилось. Да как от смерти убежишь?! Тут уж неважно, кто из них за тобой гонится, Бог или дьявол, все равно догонят. Бабушка верила, что Генку себе архангел Михаил взял на небо, на салазках мальчонку катать, не успел он нагрешить, не за что его в преисподнюю-то. На похоронах Зинка за гробом шла молча, как утопленница, а когда Генку в гробу уже в яму опускали, вдруг запела. «Еще сады не распускались…» Звонко, ясно, прощалась она с ним так. «В ответ на первое тепло…» После каждого куплета голос ее как в землю птицей падал. «Ая гляжу: знакомый аист…» Все замирали… «Над крышей выпрямил крыло». И снова взмывал, высоко, до сосен. Зинка потом замуж вышла, за хорошего мужика, доброго. Родила ему трех дочек, а последним — сына. «Спасибо, аист…» Назвала Геной. «Спасибо, птица…» Больше всех его любила. «Так и должно было случиться»[39]. Двух старших братьев Бабушка похоронила в срок. Те умерли хорошо, в свое время, один — в семьдесят, второй — в шестьдесят два, мужики-то столько и не живут, считай повезло. Трех сестер не вовремя: двух рак извел, третью — муж. И те, что от рака умерли, легче ушли, по-человечески.

---

[39] Примечания: 39

Песня «Аист» в исполнении М. Кристалинской. Автор текста В. Семернин.

Из восьмерых сейчас осталось двое, бабушка и тетя Фекла. Почему тетю Феклу называли тетей, хотя она была форменная бабка, Аглая не знала, приняла как данность, как многое в жизни.

От черной Библии и черного платка веяло нехорошим, жутким, потусторонним, гоголевским. Когда Бабушка каждый вечер забиралась на кровать, стараясь держать сгорбленную спину прямо, смотрела на закатывающееся за панельки солнце, три раза крестилась, вслух благодаря Бога за еще один прожитый день, страшно не было. Благодатно было, спокойно, хорошо. Аглая Бабушкины разговоры с Богом не понимала. Что это? Глупость? Недостаток образования? Языческие суеверия? Но на Бабушку за веру в Бога, как Дед, не злилась. Бабушка верила искренне, тихо, бескорыстно. Ничего от Бога не ждала. Ничего никогда не просила. Смерть всех, кого любила, принимала как должное. Все у нее было в жизни как должное.

Даже война. Бабушка Бога только благодарила всегда. За то, что уже и так произошло. И за то, что Аглаю в гимназический класс взяли. «При чем тут Бог? — думала Аглая. — Бог, что ли, тест писал?» И за то, что папа плотничал да полпальца себе отмахнул. Слава тебе, Господи, что сознание не

потерял, до про мочу вспомнил, на даче-то даже перекиси не было. Обошлось. А что коротким палец остался безымянный на правой руке, так и что, не указательный же. Спасибо, Господи! И когда картошку колорадский жук всю поел, сказала, что Бог нам урок послал, напоминание: когда человек слишком сыто живет, слепнет, перестает видеть важное, а и хорошо, проживем, в сорок втором выжили на гнилых картофельных очистках, что они с мамочкой в поле выкапывали, когда немец уже близко подошел, так близко, что в воздухе жирно размазанная по весне смерть стояла. А сейчас? Сейчас грех жаловаться. Все хорошо.

Но даже если поверить Бабушке, что Бог всегда лучше знает, как надо знает и что не было бы Бога, и Бабушки бы не было, и мамы, и тети Зои, и Веронички, и ее, Аглаи (дура Казанкова!), от Библии все равно было жутко. Аглая боялась до книги дотрагиваться и даже просто на нее смотреть.

Бабушка на виду книгу не хранила. Прятала в серванте за непрозрачной дверцей на верхней полке, закрывала на ключ, два раза поворачивала. Ключ оставляла в личинке, Аглае и Вероничке лазить туда не запрещала, но они и сами не лазили. Сервант был большой, нарядный, там было

на что и без Библии полюбоваться.

Сервант занимал почетное место в углу возле окна, величаво, свысока озирал комнату, благосклонно отражая стеклом и лаком восхищенные взгляды солнца. Рыже-красный, цвета жеребца д'Артаньяна. Натуральное дерево. Тонкие прочные конусообразные ножки. Твердый запах лаврового листа. Совершенство, в котором иногда заводилась платяная моль. Дорогой, многоуважаемый сервант!

Три просторных ящика с квадратными дверцами внизу. В двух левых — белье и скатерти. В складках нижней скатерти Бабушка прятала рыжие десятирублевки и сиреневые по двадцать пять с изображением Ленина, бюджет на похороны. Когда Союз рухнул, достала, ласково погладила Ильича по лысой голове, отдала Аглае и Вероничке в магазин играть. Начала копить на гроб новой городской серией: Владивосток, Великий Новгород, Красноярск. Третий ящик пустой. Темница. Аглая и Вероничка туда по очереди друг друга засовывали. Одеяла, перекинутые через растянутые хлопковые колготки-макаронины и завязанные на талии бальными платьями, приходилось, конечно, снимать. Темница не предназначалась для нарядов принцесс.

Второй этаж серванта, на две трети стеклянный (роскошь), работал музейной витриной. Руками не трогать! Звонкие ажурные хрустальные бокалы в морозных узорах. Кобальтовый чайный сервиз с золотой каемкой. Фарфоровая золотая рыбка: хвост-волна, губки бантиком. Золотая рыбка исполняла желания. Аглая в Новый год загадала вот так, как Настька, с Гудвином на подоконнике сидеть и мандарины есть. Хрустальная вазочка-лодка для конфет. Кораблик, который сворачиваешь из листка в клеточку и пускаешь по апрельским лужам. «Ветер весело шумит, / Судно весело бежит / Мимо острова Буяна, / К царству славного Салтана…»[40] В Новый год всегда с конфетами: «Мишки» с хрустящими вафлями, «Осенний вальс», золотые орешки пушкинской «Белочки».

Венгерская статуэтка раздора: дама в пышном платье. Рюши, оборки, ленты. Напудренный парик-аллонж. Туфельки с пряжками. Все керамическое, настоящее, не одеяльное. Перед дамой в поклоне застыл ее спутник. Треуголка. Камзол. Бриджи. Мама и тетя Зоя, каждая втайне одна от другой, мечтали статуэтку заполучить себе. Но

---

[40] Примечания: 40

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».

попросить у Бабушки ни одна, ни вторая не решалась, чувствовали, если кому одному Бабушка статуэтку отдаст, вторая этого не простит — ни сестре, ни матери.

Сервант отражал содержимое в задней зеркальной стенке, удваивал сокровища: золотых рыбок становилось две, вазочек-лодок — две, статуэток — две, никакой необходимости в кровной мести, бокалов и чашек столько, что и не сосчитать. Хоть каждый день из них пей, и даже если разобьешь, то никто и не заметит, сервант еще народит.

Третий этаж серванта был деревянный, открытый, пыльный. Кунсткамера. Давно сломавшиеся часы с красным циферблатом. Картина из ракушек, купленная в Геленджике, вечный железный календарь с Петропавловской крепостью, застрявший на восемнадцатом июля. Вращать медленно.

Идеал румынского мебельного дизайна, если бы не один изъян. Мерзкая царапина, наискосок рассекающая дверь секретера, обнажающая светлые целлюлозные мышцы. Новенький, добытый несоветскими усилиями советского человека сервант затаскивали на седьмой этаж дедовские солдатики. Болваны сервант на третьем этаже поцарапали. Веская причина для развода. Раз-

водилась Бабушка с Дедом дважды. Первый раз — из-за серванта. Второй — из-за майорши. Первый развод Аглая пропустила, она тогда еще не родилась. На слушании дела о втором разводе присутствовала лично, лежа на кресле-кровати, притворяясь, что спит. Бабушка, прокурор и судья в одном лице, в темноте шепотом орала на Деда чудными, итальянскими, словами. Хлыщ. Сарафанник. Кобелино.

Оба раза развод так и не случился. Только вот майорша куда-то с дачи делась, о ней больше не вспоминали. А царапина осталась навеки, мозолила мечту.

Сервант жил в квартире отдельной от остальной мебели, буржуазной жизнью. Напоказ. Служил вечным напоминанием о недостижимом совершенстве, несовместимом с ежедневным бытом. Глазами смотреть. Руками не трогать.

Библию Бабушка прятала по привычке: такое на видное место не выставляют, это не сервиз. Прабабушка Аня тоже прятала и Бабушку научила. В Советском Союзе верить в Бога было аморально. В леших и Бабу-ягу — можно. В Бога? Нет. Стыдно в такое верить. Неприлично. Бабушка никогда ничего неприличного в жизни не делала: матом не ругалась, вызывающую одежду

не носила, любовника себе так и не завела, хотя после дедовской майорши имела полное моральное право. Положено замуж — вышла. Положено рожать — рожала. Положено всех обстирывать и кормить — обстирывала и кормила. Делала это легко, с удовольствием, никогда не жаловалась. А вот в Бога верила: предательски, тихо, неотступно. Неустанно верила в своего невидимого, мистического Бога, который, как вычислила маленькая Аглая, жил где-то на балконе, у крыши, в ласточкином гнезде. «Дура ты, бабка. — Дед качал головой, причмокивал, когда Бабушка сбегала в церковь или про себя бормотала молитвы. — Умная, но дура. Объясняла тебе советская власть, объясняла, все без толку! Вы колачивать надо было эту ересь из вас, да посильнее. Хлыстом! Пожалели — теперь вот… Хорошо хоть чернявая ты была, красивая, *а то какой* бы честный советский человек тебя замуж взял!» Бабушка Деда слушала вполуха, не возражала, пусть ворчит. Этот бы не взял, другой бы нашелся. Невелика потеря.

Никто в семье кроме Бабушки в Бога из ласточкиного гнезда не верил. Вера ее была тонкая, простая, упорная. Даже когда совсем было нельзя, они с прабабушкой Аней ходили к батюшке. Где они этого подпольного батюшку во время войны

нашли, черт его знает, но нашли. Даже в год, когда крестить ребенка было все равно что проклясть, она дождалась, когда Дед уедет к брату в Новоанновку погостить, одела Аглаю и Вероничку в лучшие китайские платья «Дружба» (изготовлено в КНР, 100 % хлопок) — Аглаю в синее, в мелкую полоску, с рюшами и брошью-стрекозой с зелеными прозрачными глазами, Вероничку — в красно-белое в клеточку, на кармашке цветок, белый волан по подолу, — повязала платочки так, что они стали похожи на Аленок с шоколадки, отвела в храм и покрестила. Ни у мамы не спрашивала, ни у тети. Это был ее единственный акт неповиновения Деду, детям, Советскому Союзу, Ленину, всему миру. Спорить не спорь, но от своего не отступайся.

Аглая помнила крещение плохо, полароидными снимками. Помнила — щелк! — как долго молча шли пешком в гору, как Вероничка захныкала, как Бабушка взяла ее на руки, несла. Помнила — щелк! — как было много народу, целая толпа, все незнакомые, взрослые, дети, напуганные и одинокие. Помнила — щелк! — как их с Вероничкой и других детей страшная черная бабка выпихнула вперед толпы. Как она схватила испуганную, плачущую Вероничку и хотела уже

бежать, но Бабушка, которая никогда в жизни никого не толкнула ни в очереди, ни в автобусе, уже раскидала всех локтями и встала прямо за ними, обняла. Помнила — щелк, — как в храме было холодно и пахло странно, как в ящике серванта, сладко и мокро. Помнила — щелк, — как высокий черный человек с бородой — у Бабушкиного Бога все было либо черное, либо золотое, — суровый, страшный, что-то по-петушиному пел, а потом брызгал на них холодной водой, и Вероничка зажмурилась и чихнула. Помнила — щелк! — как Бабушка их прижимала к ногам, и она знала, что этот высокий черный человек никогда до них не доберется, но иногда Бабушка отпускала руку, крестилась, и становилось очень страшно, и Аглая сама спиной вжималась в Бабушкины коленки и крепко сжимала Вероничкину ладошку, а Вероничка — ее. Помнила — щелк! — как Бабушка надела им невесомые крестики на ярких ленточках цвета спелой малины, и эти ленточки очень Аглае понравились. Помнила — щелк! — как они долго-долго шли домой, и начался дождь, летний, короткий, вкусный, они зажмурились, высунули языки и ели с Вероничкой дождь, а потом открыли глаза, и на все небо стояла двойная радуга. И Аглая каждую из них проверила.

Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. А Бабушка перекрестилась и, смотря на радугу, закивала и непонятно кому сказала: «Все правильно, все правильно!» Наверное, своему Богу кивала. Или он ей.

«Ну и дура же ты. Ну и дура», — прокомментировал Дед факт крещения внучек. Аглая вообще не поняла, что это все значит. И сейчас, уже взрослая, с Дедом соглашалась: ерунда, страх один. Но крестик на яркой ленточке хранила под матрасом рядом с красной звездочкой с фотографией кудрявого Ленина. Носить не носила, но и не выбрасывала. Кто его знает. А еще, хоть это все и была ерунда, Аглае очень нравилось, что Бабушка теперь ее крестная. «Что такое „крестная Бабушка?» — спросила Аглая. «Так на том свете я буду вашей мамой, Агуленька, твоей и Веронички, всегда буду о вас заботиться, всегда». Аглая кивнула. Поняла, зачем их водой брызгали. Расценила, что пусть. Подумаешь, намокли чуть-чуть, зато Бабушка с ней теперь всегда будет, и на этом свете, и на том, и на всяком.

Теперь, когда всем было все равно, верь хоть в Перуна, хоть в Кашпировского с Чумаком, хоть

в Буд ду, хоть в Свидетелей Иеговы[41] Бабушка своего Бога не бросала, в церковь ходила, но и банку с водой Чумаку под телевизор ставила. А кто его знает… Пусть зарядится. У него знаешь какая энергия мощная? Воду Бабушка не пила, суп на ней не варила, как тетя Фекла, а вот фиалки дома поливала. Политые чумаковской водой фиалки цвели в два раза чаще, корни не гнили, и каждый листочек был прочный и сильный. Когда кто у нее спрашивал, чего у нее фиалки как после ядерной зимы, Бабушка секрет не выдавала, а листочек отрывала, в тряпочку заворачивала, бутылочку чумаковской воды наливала, подмигивала: «Посади, вот этим поливай — узнаешь!»

* * *

Бабушка в храм ходила одна. Никого с собой не брала, даже не предлагала. К Богу на аркане не затащишь. Коль встретились, то и будете вместе всю жизнь. А если нет, то и ладно: «Бог тебя, Агуленька, все равно защищает, он все видит». Аглая к Богу идти не собиралась. Просто любо-

[41] Примечания: 41

Международная религиозная организация «Свидетели Иеговы» признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.

пытно было, куда Бабушка уходит рано утром — может, Бога навещает? А если так, то где же он тогда живет, если не в ласточкином гнезде? Бабушка говорила, что Бог большой, он везде, а ласточки маленькие, и домики у них глиняные, не парадные. Для птенцов только и годятся. Аглая сама за Бабушкой в храм увязалась. А потом уж и хотела забыть дом Бога, но не смогла. Так еще и никакого Бога там не оказалось. В храме старуха жила. Седая, как кора осины, и желтая, как номерные церковные свечи. А челюсть у нее была не своя, вставная.

Зима. Утро. Мороз. Всё в снегу, будто Бабушка свои ватрушки прямо здесь на паперти печет, мукой ее всю присыпала, чтобы тесто не прилипало. Санки с мягкой овчинной подстилкой. Березы рябят на белом. У берез есть кровь черная, та, что на коре в порезах засохла, и прозрачная, ту, что папа в банки собирает, и они ее пьют с Вероничкой, чтобы вырасти большими и сильными. Храм, тоже белый, — торжественный, нахохленный. Не рябит, стоит пышно, Бабушку ждет. Похож: на торт с Верочкиного дня рождения, «Полет», вкусный очень: безе, крем, орешки по бокам. У храма пузатые купола, золотые и сверкающие, как зубы деда Тараса, садовского охранника. Дед Тарас

золотыми зубами каждое утро Аглае улыбается и говорит: «Похож я на пирата, Глашуня, а?!» И глаз один щурит. Дед Тарас очень на пирата похож, у него одна нога, деревянная, пришитая. Он немцев бил, а они ему за это ногу отрезали. А он их все равно бить не перестал, догонял и прямо своей деревянной ногой дубасил: «Карамба! Йо-хо-хо! И бутылка „Столичной"!» У храма никого. Бабушка любит ходить в храм рано утром, одна, когда тут никого нет, говорить с Богом наедине.

Аглая спрыгивает с санок, идет. Побежала бы, да в шубе не побежишь. В шубе и валенках ты как в скафандре. Такие у Незнайки и Пончика на Луне были. Шорох. Шух-шух. Шух-шух. Аглая поднимает глаза. Прутья. Метла ведьминская. Как у деда Тараса. Нагольный тулуп. У них такой в шкафу висит. Деду от отца достался, как старшему сыну. Они тулуп с Вероничкой под перину приспособили, расстилают шиворот-навыворот и падают в него. Перед Аглаей беззубая старуха. Глаза мутные, залитые непроцеженным куриным бульоном, полуслепленные и всевидящие. Старуха воткнула глаза иголкой прямо в Аглаю, сквозь. Взгляд старухи просачивается дальше, стекает в нее, как бульон с шумовки, внутри Аглаи оседает серая накипь — это мозги у костей

выварились, подставляешь шумовку под струю воды, держишь, держишь, но серая накипь не смывается, прилипает намертво. Старуха метет дорогу и прямо на них идет. Шух-шух. Шух-шух. Чмокает беззубым ртом. Бормочет: «Га-га-я-га-га-я-га-га». Старуха старая. Ей сто лет, наверное. Морщины все лицо съели. Нос вострый, как у слонового прыгунчика. Дед ей в атласе показывал. А руки у старухи не старые, молодые, как у мамы, длинные и тонкие. Кожа гладкая, медовая. Не старухины это руки, украла она их, отрубила и себе пришила. Манты у бабы Нади со стола без спроса стянула, баба Надя ей руки и отрубила. Ленты у старухи на запястьях, одна белая, другая желтая. Шрамы скрывают. Руки у нее потому и не в рукавицах. Пришитые руки не мерзнут. Дед Тарас говорил: «Хорошо моей ноге деревянной. Не мерзнет она, Глашуня!»

Старухины руки не мерзнут, а Аглая цепенеет. Ни шубки, ни валенок, ни рейтуз толстых, ни колготок, ни связанного тетей Зоей свитера с гусями будто на ней нет. Холодно, как в прорубь окунули. Окунули и перед старухой поставили. Аглая хочет убежать и не может. Хочет заплакать и не может. Старуха шаркает прямо на нее. Шух-шух. Шух-шух. Аглая сжимает Бабушкину ладонь еще

сильнее. Пальцы не сжимаются. Не разжимаются. Тело — ледяной столб. Только сердце колотится, бьется, еще живое.

Сердце бьется как шарик-раскидай на тонкой резинке. Дед Аглае и Вероничке такие делает. Опилки, газета, тонкая шляпная резинка, фантики «Осеннего вальса». Шарик скачет быстро-быстро, вверх-вниз, вверх-вниз. Аглая его хорошо умеет ловить, ладошкой. Оп! Дед научил. А теперь шарик не ловится, не останавливается, скачет быстрее и быстрее. Судорожно колотится по всему телу. Бабушка хватает Аглаю, прижимает к себе. Шуба на месте. Колготки и рейтузы на месте. Свитер с гусями на месте. Старуха проходит мимо, заметает им валенки снегом:

«Га-га-я-га-га-я-га-га». Снег налипает на валенки. Аглая наклоняется, тычет варежкой валенки — стряхнуть, плохой снег, плохой. Снег вцепился в валенки, не стряхивается. Бабушка ведет Аглаю за руку: «Идем, идем. Не бойся». — «Это Бог, бабушка?» — «Нет, глупенькая. Это Алена Федотовна. Она при церкви живет. Ну пошли, чего ты?» Бабушка подталкивает Аглаю к колокольне. Колокольня замерла и молчит, глаз свой дырявый с колоколом-зрачком в Аглаю разула, как мама, когда папе без слов что-то сказать пытается. Но

Аглая не понимает что. Она с колокольнями никогда раньше не разговаривала.

Храм высокий. Лестница большая, белокаменная. Ноги в валенках поднимаются плохо. Снег на них не тает. Бабушка идет медленно, останавливается, ждет Аглаю. В храме пахнет смолой, можжевельником, хвоей, как в лесу на даче. Аглая хочет стянуть жаркую шапку, Бабушка останавливает, качает головой: «Нельзя волосики Богу показывать». Аглая думает: почему Бог не любит волосы, а потом смотрит по сторонам? Везде люди с плоскими лицами, плоские, хмурые, золотые. Наверное, один из них Бог. Но который? Тот, что с лбом дяди Валеры и лысиной, или тот, что кучерявый, с волосиками, правил Боговых не знает? Аглая не успевает понять. Шух-шух. Аглая чувствует старуху спиной через белую майку, заправленную в трусы, через толстый серый свитер с гусятами, через шубу-скафандр. Старуха их догнала, Бабушку у нее отнимать пришла, чтобы Бабушка их Богу ватрушки пекла, а не им с Дедом. Аглая вжимается в Бабушкины коленки. Старуха шаркает мимо, задевает Бабушку за рукав. Старуха без тулупа. Желтая рубашка с короткими рукавами поверх байковой кофты. Длинная черная в пол юбка. У старухи в руках

часы с кукушкой. Одна стрелка на трех, другая на девяти. Часы стоят. Кукушка выпрыгнула и не успела спрятаться, замерзла. Бабушка шепчет: «Погоди, Агуленька, мне свечки поставить за сестер нужно, за братьев и за мамочку. Прабабушка твоя, царство ей Небесное, умерла ж сегодня, помолиться за нее нужно. Постой тут у Николая Чудотворца». Бабушка уходит. Аглая стоит и думает, что прабабушка была давно и умерла давно, не могла сегодня умереть, а может, и могла. Аглая совсем во времени запуталась, как в резинках. У Николая Чудотворца взгляд испуганный, твердый, в руках — книга. Как у Бабушки книга, темная и с крестом. Аглая оборачивается, хочет спросить, какие чудеса сотворил этот дядя и он ли и есть Бог, но Бабушки нет. Аглая выходит из-за колонны. Бабушка! Бабушка. Бабушки нет, перед ней старуха.

Аглая хмурится. Старуха слепо смотрит мутными бульонными глазами поверх Аглаи. Покачивается. Старуха жилистая, как гусеница. Та гусеница, которую Аглая перепутала с огурцом и случайно в детстве съела, а потом за занавеской пряталась, так ей стыдно было, какая она глупая — гусеницу от огурца не отличает. Аглая не моргает. Опять холодно. Только щеки, хомячьи

от повязанного шарфа щеки жгутся, кусаются. Аглая съела гусеницу, гусеница вернулась съесть Аглаю. Старуха открывает рот и застывает. Аглая не может сглотнуть. У старухи выросли зубы. Белые, молодые, не свои.

«Ну вот ты и пришла, крохонька. К Богу пришла». Старуха протягивает к Аглае руки. Слепо трогает воздух. В жмурки играет. Водой себя назначила. Глаза бульоном залила. И ей бежать бы, прятаться, звенеть колокольчиком. А она застыла, как дядя на иконе, что чудеса творит. Шапка. Запястья в лентах. Щеки. «Жжешься ты вся, крохонька! Это дьявол, крохонька, дьявол выходит у святого Николая Угодника». Рука у старухи ледяная, будто ей окорочка замороженные лентами привязали, а не ладони. «Отыйди, крохонька, отыйди». У старухи все время трясется голова. «Вот так, вот так». Старуха разворачивает Аглаю лицом к Николаю Чудотворцу, разевает ладонь, кладет на затылок, давит. Тело кланяется и падает на колени: «Кланяйся, кланяйся, крохонька. Дьявола поклонами изыдем. Путь к Богу смирением полон, крохонька, смирением, головоприклонени-ем. Чудотворец высокий, а ты низко кланяйся, низко. Его замолить нужно. Во имя Отца и Сына и Свя-таго Духа, ныне и присно

и во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Одной это все нужно, одной, крохонька, к Богу прийти. Есть то, что одной нужно сделать». Аглая плачет. Не плачет даже, вопит. Как Вероничка, когда у нее мандарины Бабушка забирает. Но Вероничка громко вопит, а Аглая молча. Бесшумно, бесслезно. Никто не видит. Даже чудотворец с книгой. Глаза же сухие. Он ее поклоны считает. «Раз, крохонька. Два, крохонька». Рука у старухи каменная, твердая, кланяет ее и кланяет. Вниз, вверх, вниз, вверх. Аглая все орет, безголосо и дико, но никто не слышит. Так и не увидеть ей Бабушкиного Бога. Только ноги чудотворца этого, который знает, что может совершить чудо, заставить старуху исчезнуть, но ничего, ничего не делает. Щеки красные и болючие. Это дьявол ест ее, с щек кожу обгрызает. И темно. Так темно! И Бабушку, старуха ее Бабушку съела уже и ее сейчас съест. Аглая падает в пол, а потом взлетает. Прямо в небо. В ласточкино гнездо. Там светло и Бабушкой пахнет. У Бога она. Он все-таки в ласточкином гнезде живет. Взял Он ее к себе, она с птенцами голову высовывать будет, желтый рот разевать. Бог ее Бабушкой обнимает. А потом оказывается, что это опять не Бог. А Бабушка ее на

руках несет, прочь от старухи, прочь от Николая Чудотворца, прочь из храма. Бабушка спасла своих братьев, сестер, мамочку и теперь ее спасает. Аглая слышит, как старуха кричит им вслед что-то и принимается за свое «Га-га-я-га-га-я-га-га».

Они с Бабушкой выбегают на улицу. Аглая плачет и плачет, но слезы все не текут. Слезы скопились внутри, спрессовались, превратили ее в соляную девочку-свистульку. Такие мама им с Вероничкой пекла из соленого-соленого теста, а они потом их раскрашивали. Аглая смотрит Бабушке за плечо на храм и не моргает. Веки окаменели. Бабушка ее затылок крепко держит, отогревает. У нее рука теплая, живая, настоящая, своя, не пришитая. А Аглая никак понять не может, на этом они свете или уже на том, где Бабушка у нее мамой будет.

Аглая больше с Бабушкой смотреть Бога не ходила. А потом и вовсе стала атеисткой, как Дед. Только старуха ей по ночам все снилась. Смотрела мутными бульонными глазами, жилисто изгибалась, грозилась Бога показать.

* * *

Вероничка сказала, гадать нужно сегодня.

— Почему сегодня? На Крещение обычно га-

дают, ты все пропустила. — Аглая боролась с засохшим мандарином. Кожица папье-маше — слои старых газет «Известия», «Советский спорт», «Труд», как кремом промазанные густым ПВА, — надежно спрятала сочное, сладкое, гудвиновское. Гудвин вручил ей мандарин у выхода, поцеловал в макушку: «Я позвоню». Мандарин засох. Он не позвонил.

— Потому что… — Вероничка поморщилась. — Потому что… Сама, что ли, не понимаешь? Мы одни дома…

Мандарины Вероничка не ела. У нее была сильная аллергия на цитрусовые. С детства. Съест дольку — через минуту щеки как собачьей щеткой-пуходеркой расцарапаны. Вероничка, когда была совсем маленькая, не знала, что мандарины ей нельзя. Покрытая красной коркой кожа, зуд и мандарины никак не объяснялись в Вероничкиной голове причинно-следственными связями. Вероничка продолжала таскать мандарины, тетя Зоя и Бабушка продолжали вести безуспешную антимандариновую кампанию. Когда очередная битва проигрывалась, орущую воздушной тревогой Вероничку — ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Граждане! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! — отпаивали настоем корня одуванчика и лопуха. Брали

с Вероничкой клятвенное обещание больше никогда, никогда мандарины не есть. Вероничка обещала, что не будет, но ела.

— У Машки тетка гадает, я все записала. По пунктам. — Вероничка ткнула Аглае блокнот с фотографией Андрея Губина на обложке прямо в нос. Губин ничем не пах, смотрел точно как Аглая на Вероничку — презрительно, с ухмылкой.

Детский сад какой-то. Аглая покачала головой: не буду я гадать, сама гадай, ножом срезала кусок корки, проверила — внутри оранжевое и живое, и принялась дальше сковыривать мандариновую скорлупу.

— Откажешься — ты мне не сестра.

Вероничке только исполнилось четырнадцать.

Бабушка надеялась, что характер у нее с возрастом смягчится. Но ничего у нее не смягчилось, Вероничка только еще вреднее становилась с каждым годом. Когда приехала на зимние каникулы в этот раз, велела ни с того ни с сего всем называть ее Ника. «Са-мофракийская, что ли?» — усмехнулся Дед. «Ника», — твердо повторила Вероничка и перестала на Вероничку откликаться.

— Гага, ну пожалуйста! Это же весело! И полезно! Тебе что, совсем ничего узнать не хочется? —

Вероничка вылупила на Аглаю цвета сосновой коры яркие лесные глаза.

— Ничего, — я отрезала Аглая.

Настьке он звонил теперь, наверное, а не ей. С Нового года она один раз была наедине с Гудвином. Он читал ей «Пир» Платона: «Красота тела дает импульс душе к познанию. Ты рыбу любишь? Ты себя любишь! Ты любишь вкус рыбы на языке своем. Я люблю мед, Аглая. Я не люблю рыбу». А потом уперся носом в макушку, постоял так с секунду и вручил мандарин. Мандарины с Нового года остались. Тетя Света велела всем раздать, а то они уже засыхать начали.

— Гагачка, ты подумай хорошенько, ну, что там тебя интересует, как спектакль твой пройдет. Или, это, дадут тебе твою стипендию в конце года…

— Ай! — Мандариновая корка саданула под ноготь острым жалом, обожгла.

Вероничка воображала себя очень взрослой. Восьмой класс. Розовый свитер. Такой розовый, что глазам больно. Джинсы с высокой талией. Дядя Валера теперь летал в Китай. Военная авиация эволюционировала в челночную, процесс перехода из одного вида в другой прошел бесшовно. Возили всё: от кожаных курток и видиков

до подержанных праворульных японских автомобилей.

Аглая отодрала последнюю мандариновую корку, засунула указательный палец в рот. Палец щипало. Фабрика, Новый год, подоконник. Настька точно в таком же розовом свитере, как у Веронички, на новогодней вечеринке была. Гудвину цвет понравился. «Фьюша», — сказал он и свитер погладил. Мягкий.

Аглая посмотрела на Вероничку строгим взглядом старшей сестры — пусть не воображает, что это она ее уговорила, — и кивнула.

— Ради любви и справедливости! — Взвизгнув, Вероничка вскочила на диван. — Я — прекрасный воин в матроске в обучении — Сейлор Чиби Мун! — Вытянула вверх правую руку. — Именем будущей Луны, награждаю тебя, сестра моя, Сейлор-Венера! — И сиганула вниз, хлопнув голыми пятками по джинсовой попе. — За смелость!

Вот дурная! Аглая улыбнулась, отлепила дольку мандарина, положила в рот. Твердая, стеклянная кожица кисло-сладко лопнула на языке. Никаких внутренних пленочек. Чистый сок.

— Давай, пока Бабушка не пришла! Нам Библия ее нужна!

Мандариновый сок царапнул горло. Аглая по-

перхнулась.

— Бабушкина? Библия? Ты совсем ополоумела? — Аглая отложила на стол мандарин, повертела пальцем у виска, пересела на диван.

— Гага, ну пожалуйста! Ты чего как маленькая?!

— Я не буду гадать на Библии. — Аглая часто замотала головой, как дяди-Валерина фигурка собаки в машине.

— Гага, ну пожалуйста, там два человека ну-у-ужно. — Вероничка сложила руки в умоляющем жесте. — Духи не придут, понимаешь?! Духи… Связь… — Вероничка рогаткой из пальцев ткнула сначала себе в глаза, потом — Аглае. — Ментальная! Спиритическая!

— Не буду я, сказала, сама свою спиритическую связь устанавливай!

— Что она тебя, съест, что ли, Библия эта?! Она только и нужна духов вызвать. Мы их вызовем, разрешения спросим, листы судьбы сожжем быстренько, и все! Ну, Гага, пожалуйста, мне о-о-очень нада-а-а! Я тебе… — Вероничка задумалась. — Я тебе «Сникерс» отдам. Я его еще даже не распределила! — Новогодний подарочный запас шоколадок Вероничка растягивала до лета. Разрезала на шестнадцать частей каждый батон-

чик, ела по кусочку в неделю. — И «Марс», ты же любишь «Марс»? Ну, Га-а-ага, мне о-о-очень на-да-а-а! Там что хочешь спросить можно, вообще что хочешь! Понимаешь?! И духи тебе скажут… Да или нет! И будущее покажут…

Аглая проверяла телефон пять раз в день, сломался, что ли, нет; телефон гудел, но Гудвин не звонил. Аглая сама не поняла, как кивнула.

— Гагачка, ты лучшая сестра на свете! Я все сама сделаю! Обещаю! — Вероничка прижалась к Аглаиной щеке, и все стало розовое.

«Фьюша. Не шерсть», — подумала Аглая. И не мягко вовсе. Синтетика какая-то. Плохое качество. Дешевка.

* * *

Вероничка действовала быстро и четко, будто всю жизнь только и делала, что гадания организовывала. Сережки сними — нет, нельзя, ничего нельзя, никаких колец, бус, фенечек. Волосы распусти — да, обязательно, энергию высвободить нужно. Вот, надень ночнушку тети Лиды — нет, в своем нельзя, нужно просторное, без молний, без пуговиц, без застежек. Движение энергий ничто не должно блокировать. Босиком! Вероничка подняла длинный указательный палец, проговорила

медленно, чтобы до протестующей туповатой, по ее мнению, Аглаи успело дойти:

— Связь с матерью сырой землей!

— Седьмой этаж панельки и линолеум, тоже мне мать сыра земля, — парировала Аглая, но носки сняла. Голые ступни прилипли к линолеуму: шампанское на Новый год разлилось, так никто и не вытер.

Библия лежала на кровати. Не двигалась. Вероничка ее связала. Сверху из Библии чеховским пенсне смотрели, не мигая, медные кольца ножниц, Дедова трофея из Германии. Через кольца-пенсне Вероничка пропустила черные хлопковые ленты. Машкина тетка ленты заговорила, велела после гадания сжечь. Вероничка три раза обмотала лентами Библию, завязала внизу крепкий узел. Библия походила то ли на повязанного по рукам и ногам сумасшедшего, то ли на плотно запеленутого беспомощного младенца.

Дуло. Деревянные щеки окон, потрескавшиеся от старости, пухли от ватных жгутов, засунутых в них Бабушкой-дантистом, и все равно сквозило.

На улице вторую неделю стоял двадцатиградусный мороз. Январский. Тугой. Безжалостный. Все было розовато-белое — и двор, и узоры на стеклах, и даже зеленый детсадовский забор

словно кто-то зубным порошком присыпал. Аглая потеряла в школе одну варежку, отморозила пальцы на левой руке. Бабушка ей их в теплой воде отогревала, пуховым платком укутывала. А потом зачем-то щекотно и смешно ноги спиртом растерла. Терпи, казак.

Свет Вероничка выключила. Зажгла свечи. Толстые, желтые, железнодорожные. Казанский масло-жирзавод. Дед три коробки года два назад притащил в очередном порыве борьбы с растратами буржуев-капиталистов, свечи никак не заканчивались. Так часто свет в доме не вырубали.

— Палец средний давай. — Вероничка кивнула Аглае. Длинные прямые волосы до пояса. Челка. Вероничка воображала себя Элен из «Элен и ребята», но в тети-Зоиной ночнушке больше походила на Панночку из «Вия».

Аглая вытянула вперед здоровую руку. Библия, распятая, беспомощно, молча повисла на средних пальцах. На небе в балконном стекле блеклым черепом с туманным нимбом висела луна, скалилась. В ночнушках было зябко. Аглая переминалась с ноги на ногу, пытаясь найти нелипкое место на полу.

— Перестань дергаться, — процедила сквозь

зубы Вероничка.

Библия, вися на пальцах, тяжелела, вбирая в себя ночной воздух, как мочалка — воду, но не шевелилась. Вероничка не переставая бубнила под нос заклинания и призывы духам удостоить их своим присутствием. На улице под балконом залаяла собака, кто-то засвистел.

— Духи, вы здесь? Духи, вы здесь?

Духи не откликались. Ступни у Аглаи вспотели и еще больше прилипли к линолеуму. Тьфу, как в болоте. Библия молчала. Грязные, пегие, мутные облака быстро плыли по черному, замешанному березовой смолой небу. Облако, похожее на медведя, уже сожрало первую половину туманного нимба луны, нависло открытой пастью над второй.

— Духи, вы здесь? Духи, вы здесь? — Вероничка не сдавалась. Она всегда была ужасно упрямая.

Плечо у Аглаи онемело. Хотелось поменять руку, но Аглая боялась, терпела. Вот же Вероничка сильная! Стоит, не шелохнется.

— Духи, вы…

Щелкнуло пламя свечи. Луна вдруг метнулась и исчезла в медвежьей пасти. Библия дернулась, яростно пытаясь высвободиться из смирительной рубашки. Ай! Хлоп! И шлепнулась прямо на

босые Аглаины ступни. Вероничка предусмотрительно отпрыгнула. Реакция у нее была хорошая. Кольца ножниц больно ударили по Аглаиному большому пальцу на правой ноге.

— Ай-й-й! — заныла Аглая, наконец отлепив ступни от пола.

— Черт! Здесь! Тс-с-с! — шикнула Вероничка и торопливо подхватила Библию с пола.

Снежная буря за окном смела все облака с неба, завыла. Во дворе дико, яростно захохотали, послышались топот и гавканье. А потом все, кроме воющей вьюги, стихло, обездвижилось, и Вероничка прошептала:

— Скорее! Здесь духи! Здесь! Давай гадать!

* * *

Свечка пыхнула. Запахло паленой курицей.

— Ты это видишь?

Аглая это видела. Вероничка крепко вцепилась в Аглаину руку.

— Эй, осторожно! Волосы сожжешь!

— Отстань ты! Ты это видишь?

Аглая это видела.

Гадание у Веронички оказалось бесхитростное. Установив контакт с духами, Вероничка поставила на вырвавшуюся на свободу, но возвращенную

в лоно оккультных практик Библию Аглаину тарелку с Курочкой Рябой.

— Почему это ты мою, а не свою тарелку взяла? — возмутилась Аглая.

Но Вероничка не удостоила ее ответа, шикнула:

— Духов распугаешь!

Вероничкины духи были пугливые и, очевидно, не уступали Вероничке ни в капризности, ни во вредности. Под пристальным взглядом собакоподобного оленя на ковре Вероничка, закатив глаза и что-то бормоча, смяла и сожгла лист белой бумаги. Держа тарелку с пеплом в одной руке, а свечку в другой, принялась разгадывать на стене тени-предсказания, сплошь, как по заказу, благоприятные. Пепел пообещал Вероничке поездку в Турцию в отель «все включено» — ты что, не видишь, это волны и много еды; гитару, каку Элен, — нет, это не загогулина и не восьмерка, это гитара; и что-то еще, о чем Вероничка отказалась рассказывать.

Вероничка осталась гаданием и духами очень довольна. И велела Аглае срочно придумывать вопрос.

— *Пока духи* так *благосклонны,* понимаешь? Аглая не понимала, но лист смяла. Гудвин, папа,

Настька, мандарины, Петербург, Гудвин.

— Эй, хватит! — Вероничка пихнула ее в плечо. — Тебе жечь скоро нечего будет.

Аглая посмотрела на бумажный шарик в руках, действительно, маленький совсем стал, положила на тарелку, подожгла. На керамического деда в синей рубахе шлепнулась капля воска. Листок загорелся. Синий огонь медленно обкусывал сгибы Аглаи-ной судьбы, примерялся, может, не стоит, но сжалился, покраснел, сожрал листок целиком.

— Ты это видишь?

Аглая это видела. Семерка. Глаз. Яйцо. Сосна. Кит. Ворон. Лист. Петушиная голова. Гора. Высокая гора с тремя вершинами. И горбун. Горбун, взбирающийся на гору. Все выше и выше. Не останавливаясь.

— Фигасе. — Вероничка подошла вплотную к стенке и обвела гору по контуру указательным пальцем. — Гага, он ползет! Как в мультфильме. Ты это видишь?

Аглая это видела. Аглая то относила свечку дальше, то приближала, гора послушно то увеличивалась, то уменьшалась, а горбун все полз. Не останавливаясь. Наверх. Вьюга за окном утихла, небо расчистилось, снова высунулся череп лу-

ны, на этот раз без нимба, чистый, желтый, как срез большой картофелины, лысый. В коридоре хлопнула входная дверь. Рука дернулась. Свечка харкнула горячим воском Аглае на кожу между большим и указательным пальцами, заклеймила. Горбун на стене выпрямился, постоял с секунду и полетел вниз, спиной вперед, со скалы. Аглая крикнула, но молча, как тогда с Бабушкой в церкви, так что только Вероничка рядом расслышала и уши руками закрыла. Беззвучно, как в немом кино, звякнула разбившаяся Курочка Ряба. Беззвучно послышался голос Бабушки:

— Агуля, Вероничка!

Беззвучно губы Аглаи прошептали:

— Бабушка! Быстро!

Ватный звук доходил до мозга телепатически. Библия! Аглая пихнула зависшей и пялящейся в стену Вероничке книгу в руки:

— Быстро! Сервант! Библия! Бабушка нас убьет! Беги!

Вероничка схватила Библию, хлопнула ресницами и побежала.

Когда Аглая вышла в большую комнату, сервант был закрыт на ключ, Вероничка все убрала и, переодевшись во фьюша свитер, сидела на диване и доедала ее — ее! — гудвиновский ман-

дарин. Живой и сладкий. Аглая часто заморгала.

— Мое! Отдай!

Но Вероничка на Аглаю даже не оглянулась. Пялила ставшие еще ярче лесные глаза в одну точку. И щеки ее на глазах наливались багряным, сочным, запретным.

* * *

На следующий день утром позвонил Гудвин. Он, конечно, не забыл, что обещал позвонить, просто перепутал восьмерку и семерку, как глупо, правда, но у Светланы Сергеевны все записано верно, он подсмотрел в ее записной книжке, знаешь, с Шамаханской царицей и Золотым Петушком. И он очень по Аглае соскучился. Очень. А она по нему скучала? Конечно, она по нему скучала. А вот такой вопрос, неожиданный, он знает, но… Может ли она прийти на выходных помочь с карточками для Spelling Bee. И стихотворение он ей на Петербург выбрал: «О, капитан! Мой капитан!» Нужно бы интонационно разметить, отчитать. Да, он, конечно, возьмет ее в Петербург. Как он рад, что она рада. Да, нужно скорее начинать готовиться. Фабрика на выходные закрыта. Светлана Сергеевна там стены перекрашивать взялась. Что же делать? Может, Аглая придет к

нему домой? Это в Бору. Маргарита Антоновна уехала, им никто не помешает. Да, она записывает адрес? Да, завтра. В Татьянин день. Что еще делать в день студентов, как не учиться? Она поможет ему, а он ей. Они запустят процесс взаимного опыления. Cross-pollination. Как не слышала? Это техника пробуждения творческого потенциала, испробованная веками. Медичи во Флоренции так делали: собирали вокруг себя талантливых людей — художников, философов, писателей, и они вдохновляли друг друга, кросс-опылялись, рождали новые смыслы. Как пчелы. Знаешь, как пчелы переносят пыльцу с цветка на цветок и рождают новую жизнь? Вот так же и с людьми. Опыление. Какое красивое слово, Аглая, «опыление». Скажи его вслух, Аглая. «О-пы-ление». Мягкая круглая теплая «о», «п», скажи «п», Аглая, с придыханием, со взрывом, по-английски, слышишь, как рвутся все преграды, а потом тебя гладят ласковые сонорные «л» и «н». Что дальше, Аглая? И… Что дальше? Опыление. Дальше опыление, Аглая. Жду. Завтра я тебя жду.

Глава седьмая
Опыление

Низкий, неровный, давящий потолок, выкрашенный в масляный белый цвет. Серый длинный, в четверть комнаты, кит, застрявший линялым протеком в углу. Сам не понял, как сел на мель. Поздно. Контуры кита резкие, желтушные, пульсирующие.

Тело лежит на диване. С ним что-то происходит.

— Расслабься.

Голос тугой, незнакомый. Чей это голос? Что значит «расслабься»? Слово чужое, непонятное, нерусское. Тело чужое, жесткое, не свое, с частями, которых раньше не было. Откуда они? Тело ей не подчиняется. Никогда не подчинялось или только сейчас? Тело лежит на диване.

Чужая кожа. Чужой вес. Чужой знакомый запах, мальвовый, прерывистый, смутный.

Эрос.

— Тебе должно нравиться.

Ей должно нравиться.

Кит почти весь в серых пятнах. Больно. Сглот-

нуть.

Внутри кита заперли серебристых чешуйниц, впустили и заперли. Белого почти не осталось, только хвост, морда и плавники. Внутри кита что-то большое, чужеродное, припадочное, неназываемое.

Мокро. Холодно. Сглотнуть.

Кит застрял. Кита жалко. Ступни ледяные. Таким холодным тело бывает, только когда умерло. Покойники, бабушка говорила, коченеют.

Не дышится. Сглотнуть.

Больно. Тополиный пух в легких. Душно, холодно, больно. Металлический, соленый запах. Маргарита Антоновна. Глухой стон китобойной лодки. Кит. Нет кита. Кит. Нет кита. Рык мотора. Кит. Кит. Кит.

Тело сильное, может долго не дышать. Потно. Холодно. Судорога. Еще одна судорога.

Толкай. Плыви. Толкай. Плыви. Толкай.

Серый длинный, в четверть комнаты, кит, застрявший линялым протеком в углу.

— Тебе нужно принять душ. Гигиена — это важно, правда?

Ей нужно принять душ. Гигиена — это важно, правда?

Кивнуть. Сесть. Сглотнуть.

Зеленые бумажные обои. Старые. Березовый лист. Дубовый лист. Тюльпан. Березовый лист. Дубовый лист. Тюльпан. Уплыл ли кит? Времени поднять глаза нет.

Ей нужно принять душ. Гигиена — это важно, правда?

Упереться ногами. Встать. Натянуть юбку. Холодно. Киты не мерзнут. Киты плавают в океане и не мерзнут.

— Держи! Ванна у входа.

На нее летит кофта. Поймать. Ее кофта. Киты не мерзнут. Киты плавают в океане и не мерзнут.

Ей нужно принять душ. Гигиена — это важно, правда?

Между ног ноет. Гигиена — это важно, правда? Дура. Испачкала простыни. Ей нужно принять душ. Гигиена — это важно, правда?

Выйти. Ванна? Ванна у входа. Темно. Дверь. Еще дверь. Выключатель. Ручка. Вниз. Вверх. Внутрь. Холодно. Щеколда. Запереть. Тяжелый шум океана. Китобойная лодка уплыла, не стонет.

Полосатый женский халат на крючке. Махровый. У тети Зои такой. Раковина. Крем. Мыло. Паста не нужна. Крем не нужен. Мыло не нужно. Зубная паста Blend-a-med. Лучшей защиты от кариеса не существует. Необработанная полови-

на яйца, утратив кальций, становится мягкой. Стянуть юбку. Пальцы не гнутся. Сделать усилие. Стянуть юбку. Сделать большой шаг.

В ванной неуютно. Первый раз в чужой ванной неуютно. Слишком большая. Слишком белая. Слишком гладкая. Эмаль в ванне должна царапаться. Дрожь. Синий кран. Красный кран. Холодная. Ничего. Теплая. Ничего. Кипяток. Тело наконец откликается. Пробки выбило, но кто-то добрый вышел на лестничную площадку в тапочках, включил предохранитель. Беззвучный вопль. Киты орут, но никто не слышит. Ни люди. Ни рыбы. Приступ клокочущего дыхания сгибает тело пополам. Тянет. Ноет. Не сшивается. Ровная белая плитка. Не то что у них, одни ошметки. Голову мыть? На корточки. Воронка. Вероничка орет, не хочет мыться в ванне: «Засосет! Меня засосет!» Воронка. Вода льется и льется. Вода не прозрачная. Вода мутная. Вода льется и льется. Ее сейчас засосет. Сожмет и перемелет. Как в мясорубке.

— Эй, ты там долго? Выходи давай, тебе пора. Ей пора. Вот дура. Ей же и правда пора. Куда?

— Да, минутку.

Тело опять не ее, голос не ее, китовый. Не голос, а низкое, океанное у-у-у-у-у.

Выключить воду. Встать. Выбраться мокрыми цаплевыми ногами из клетки. Застыть на одной ноге. Полотенце. Какое. Рядом с халатом большое синее, его, нельзя. Под ним персиковое, пушистое, ее, нельзя. У раковины маленькое, серое, с проплешинами, ничье, можно. Втереть. Втереть. Втереть. Повесить. Расправить. Мокрое. Стыдно. Юбка. Кофта. Дверь.

— Ну чего ты так долго? Все окей?

Кивнуть.

— Ну что ты. Отомри. — Халат распахнут. Такого же цвета, как тот, в ванной. — Помнишь, как в детской игре? Море волнуется раз, море волнуется два… — Гудвин протягивает руку, гладит вверх-вниз, переходит на мальвовый шепот: — Морская фигура на месте замри. Ты отмереть забыла. Совсем мне не помогала.

Коридор. Свет. Она совсем ему не помогала.

— Давай такси вызову. Поздно уже.

Помотать головой. Она не знает, как ездить на такси. Она знает, что это очень дорого. У нее нет денег.

— Я дам денег.

Помотать головой. Сглотнуть. Он даст денег, но она не знает, как ездить на такси. Она совсем ему не помогала.

— Прости, завтра рано вставать, и Маргарита Антоновна днем возвращается. Не будем же мы с тобой ее расстраивать.

Опять замотать головой. Она не будет расстраивать Маргариту Антоновну. Она никого не будет расстраивать.

— Я пешком. Я люблю ходить пешком.

— Точно? Уверена? Ну смотри. — Гудвин делает шаг, прижимает к себе, целует в макушку. — Ты пахнешь озоном.

— Дождем, — на автомате повторяет Аглая. — Я пахну дождем.

Дверь.

Толкай. Плыви. Толкай. Плыви. Толкай.

* * *

Аглая не запомнила, как шла ночью по городу. Плыви. Толкай.

Не запомнила, был ли мороз или оттепель. Плыви, толкай.

Месяц растущий или стареющий — Дед вытягивал вперед мозолистый палец, подставлял, буква «Р» — растет, «С» — стареет.

Плыви, толкай.

Слепо ли Панночкой бродила еще по земле ночь, или новорожденным уже щурилось пере-

ношенное поверх срока зимнее утро.

Плыви, толкай.

И город. Был ли город? Время, телесность, пространство — всё, из чего состояла жизнь, китом село на мель, остановилось, не двигалось.

Аглая не запомнила, как дошла до дома.

Плыви, толкай.

Как вызвала лифт и как за ночь проголодавшаяся по человеческому теплу кабина заглотила ее, но, подавившись, выплюнула на седьмом этаже. Несъедобная. Неживая. Холодная.

Плыви, толкай.

Аглая не запомнила, как долго рылась в сумке, искала притаившийся под подкладкой ключ, как наконец нащупала его железное тельце и резко вытащила за уши, будто нашкодившего ребенка из-под стола.

Плыви, толкай.

Не запомнила, как засунула скулящий ключ в дверную скважину, как грубо его дернула и как сама испугалась своей грубости: тише, тише, прости, пожалуйста, я аккуратно, не больно, не больно.

Плыви, толкай.

Аглая не запомнила свою равнодушную радость оттого, что дома все крепко и упрямо спали,

что ее отсутствие осталось тайной, как и осталось тайной то, что все в мире переменилось.

Плыви, толкай.

Шалость. Метаморфоз. Превращение головастика в лягушку. Гусеницы — в бабочку. Опыление. Овзросление. Онтогенез.

Плыви, толкай.

Аглая не запомнила, как сердце противилось этой неожиданной взрослости, как колотило ее в грудь, в виски, в живот, как маленький ребенок колотит в истерике мать, швыряя в нее свои яростные, упругие «ятебяненавижу, ненавижу-у-у».

Аглая не запомнила, как тихо забралась на кресло-кровать, легла солдатиком, как пыталась унять мечущееся по телу дыхание, но вдохи и выдохи все надувались и лопались, надувались и лопались внутри нее дождевыми пузырями, а она никак не могла понять, где конкретно они надуваются, прикладывала ладони. Здесь? Нет, не здесь. Здесь?!

Плыви, толкай.

Единственное, что запомнила Аглая перед тем, как вновь выбило пробки: сердце пристегнули к грудной клетке ремнями, как трехлетку к коляске, а чтобы восстановить дыхание, к лицу

прижали мягкую резиновую маску, вручив ночи ритмично сдавливать мешок Амбу; перед тем как стало темно и твердо, был кит. «Не твори, Федот, разбой…» Большой. Протекший. Застрявший на потолке. «А возьми меня с собой». И еще что в спальне почему-то пахло не теплом, Бабушкой, Дедом и сонным, одеяльным сладко-пряным мороком детства. «Как внесешь меня в светелку…» А свежим и соленым. Взрослым. «Стану я твоей судьбой»[42]. Пахло озоном. И у озона был не запах дождя, как говорил Гудвин, а вспененный запах черноморских волн, кипарисов, мелких желтых цветов и морской пыли, тонким слоем покрывающей раскаленные на солнце камни.

На лестницу включать предохранитель никто не пошел.

Хорошо, что не пошел.

Это раньше всегда делал папа, когда смотрел до ночи футбол и был настоящий.

Аглая проспала в темноте до утра.

В темноте было черно и душно. Хрипло кукарекала голубица с петушиной головой. Аглая пыталась и никак не могла натянуть на голый живот футболку. На животе вместо родных жел-

---

[42] Примечания: 42

Здесь и далее цитаты из сказки Л. Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца».

тых листьев липы прорастали красные кленовые, вперемешку с ромашками. Шумно гудел сухой без запаха дождь. Что-то кричала, размахивая журналом «Юность», Ольга Николаевна. А рядом курил Гудвин. Он был голый. В халате. И без лица.

* * *

«Насморк перешел в гайморит. Жар. Фива. Слово с клоунским именем. Оля, они здесь не говорят „температура". Говорят, у вас фива. Смешно! Голова раскалывается. Здесь тебя лечат, только если ты почти уже умер. Не раньше. Я почти».

Ольга Николаевна перечитала абзац еще раз, схватила со стола синюю перьевую ручку, вырвала из тетрадки листок в линейку, принялась писать ответ — буква к букве, с завитушками и точно выведенными линиями: «Толя, возьми луковицу. У вас же там продают наш нормальный репчатый лук? Почисти, натри на терке, из полученной кашицы отожми сок. Мама так делает. Смешай в равных частях с медицинским спиртом. Есть где достать? Перед тем как использовать, сделай ингаляцию над картошкой. Обязательно свари в мундире. И закапай по две капли в каждую ноздрю. Пипетку в аптеке купи. У вас же там есть пипетки в аптеках? Утром все

пройдет…» Ольга Николаевна пробежала глазами написанное. Скуксилась, будто луковым соком капнула в нос не Толе, а себе. Опомнилась, листок отложила. Пока письмо дойдет до Делавера, Толин гайморит уже вылечат. Конечно, вылечат. Не могут не вылечить. Толя драматизирует, как всегда. Он часто в письмах ругается на Америку: «Оля, представляешь, эти дикари дома ботинки не снимают! А метро, какое у них метро! Грязное, оскалившееся, заплеванное. У нас сортиры на Ленинградском вокзале чище». Толя оправдывался. Нет, не оправдывался. Вымаливал прощение. Сам у себя. Предательство. Девятый круг ада Данте. Пояс Каина. Ледяное озеро Коцит.«… В лед был погружен до щек, где стыд является…»[43] «Чтобы здесь попасть к доктору, сначала, Оля, нужно продать почку! Без страховки ты никто, не человек! Доктора еще тут, как бы это объяснить, не наши, индусы да пакистанцы одни. А медсестрами — черные, негритянки… Мамушки. Улыбаются, улыбаются, а что лепечут, непонятно».

Ольга Николаевна Толиным жалобам не верила. Ни один индус, ни одна негритянка не могла напугать человека, которому в советской

[43] Примечания: 43
Данте Алигьери «Божественная комедия». Пер. В. Ма-ранцмана.

школе лечили зубы. Когда медсестра приходила забирать их в восьмом классе на осмотр, никто даже с контрольной по физике уходить не хотел. Те, кого медсестра все-таки выщепляла по алфавиту — Авинов, Баранова, Бойко, — шли как на расстрел. «Я видел смерть; она в молчанье села/ У мирного порогу моего…»[44] Ольга Николаевна машинально провела языком по зубам, нащупала место нижней правой восьмерки.

Запах паленой кости. Воспаление. Первый больничный за десять лет. Ольга Николаевна вздрогнула. Толю вылечат. Уже вылечили, наверное. Она посмотрела на дату отправки письма на конверте. Сегодня двадцатое, значит, восемнадцать дней назад. Погладила указательным пальцем марки. Gone with the wind. Вивьен Ли — Скарлетт О'Хара запрокинула назад голову и закрыла от блаженства близости Ретта Батлера глаза. Холеный, лоснящийся от геля для волос Ретт Батлер лет на десять моложе оригинала.

Ольга Николаевна любила «Унесенных ветром». Толя еще это помнил. Смена эпох, разбитые судьбы, голод, выживание, неуместность старой интеллигенции в новом мире. Маргарет Мит-

---

[44] Примечания: 44

Здесь и далее цитаты из стихотворения А. С. Пушкина «Элегия».

челл словно не про войну янки с Конфедерацией писала, а про Россию в девяностые. «Это знак, не имеющий больше цены, — / Сохрани его, друг дорогой; / Это символ когда-то прекрасной страны, / Разоренной жестокой рукой»[45]. Скарлетт О'Хара. Альтер эго каждой второй русской женщины. «Я никогда больше не буду голодать!» «Конечно, не будем, Оленька. Ты что?» Мама смотрела испуганно, напряженно, слишком литературная у них девочка вышла, слишком впечатлительная. «Ой, как жить будешь, Оленька, когда нас с отцом не станет?! Но ты не переживай, главное, работай спокойно! У нас дача, доча! Всё вырастим! Мне Танюша семена перца обещала! Сортовая клубника с кулак, яблоки, огромные, с пятилитровую баклажку, кабачки „Черный красавец"». Кто только придумывал названия кабачкам? «Белогор». «Аэронавт». «Ролик». «Черный красавец».

Дача. Их с родителями собственная подмосковная Ривьера. Два месяца положенной по рабочему законодательству летней свободы. Булгаков. Пастернак. Неизвестная лирика Пушкина. Ранний Толстой. Спрятанные под дерматиновой обложкой то ли от глаз папы, то ли от глаз

---

[45] Примечания: 45
М. Митчелл «Унесенные ветром». Пер. Т. Озерской.

Пушкина «Долина кукол» Жаклин Сьюзан, «Лаки» Джекки Коллинз, «Поющие в терновнике» Колин Маккалоу. Литературный эскапизм. Доступная советской женщине среднего возраста бесплатная психотерапия. Стыдно было такое читать, конечно. Если бы кто-то из школы узнал, Ольга Николаевна сразу подала бы заявление. Но не читать было невозможно. Упоительно, блаженно, залпом, как летом пить запрещенную родителями мандариновую трехкопеечную газировку из автомата: «Еще раз увижу вас у этого сифилизатора, руки оторву! Поняли? Неизвестно, кто эти стаканы облизывал, тут ночью венериков автобусами привозят, Галка рассказывала».

Фильм «Унесенные ветром» был почти так же хорош, как и книга. Она ездила с Толей смотреть его в Москву, в кинотеатр «Октябрь». Огромный экран. Красные кресла. Прекрасный звук. Толя держал ее в темноте за руку. Гладил. Проверял, настоящая ли, его ли. После сеанса заглянул прямо в глаза, нахмурил густые темные брови, спросил: «Ты бы променяла меня на Ретта Батлера?» Какой глупый вопрос, Толя. Зато понятно теперь, почему спрашивал. Он, он ее променял… и даже не на Мелани, а на пошлую мисс Дэвис с лошадиными зубами.

Толя, если совсем честно, никогда в советскую действительность не вписывался. Не пил, не курил, вел здоровый образ жизни. «Вдох глубокий, руки шире, / Не спешите, три-четыре! / Бодрость духа, грация и пластика»[46]. Работал в школе олимпийского резерва по фехтованию. Ольга Николаевна понимала, как ей с Толей повезло, по многочисленным хищным взглядам подруг. «Оленька, а Толя на дне рождения будет?» Красивый. Высокий. Не гулящий. В двадцать девять лет волшебным образом не женатый. Ее собственный Эшли. Такое бывает вообще? «Где ты его отыскала, Оля? Там больше, случайно, таких нет?» В белом костюме фехтовальщика с настоящей, не сделанной из половника, как у Боярского в «Трех мушкетерах», шпагой. Принц Флоризель. Ольга Николаевна сама себе завидовала. Все завидовали. И потому не любили. Слишком они были красивая пара. Неприлично просто. Внушали пустую надежду, что и на жизни двадцативосьмилетней незамужней женщины рано ставить крест. Бесили. А потом Толя эмигрировал. Сначала в Австрию. Из Австрии в США. На время. На посмотреть, как там. Навсегда. Коллеги из шко-

[46] Примечания: 46
В. Высоцкий «Утренняя гимнастика».

лы выдохнули с облегчением. Утешали с таким энтузиазмом, что Ольга Николаевна не знала, куда от них деваться. «Оля, ты все правильно сделала! Конечно, как родителей оставить? У отца же сердце! А школу как бросить? Что? Что там в этой Америке делать?! Ты и языка не знаешь! Анатолий еще вернется, приползет обратно, вот посмотришь!» Ольга Николаевна девочкам кивала, пила хванчкару, тихонько ночами плакала. «Где я любил, где мне любить нельзя…»

Толя в Штатах с прошлого письма успел обзавестись не только гайморитом, но еще и собственной школой фехтования в старом ангаре, похожем на разрезанный вдоль железный батон докторской колбасы. Толя поработал и грузчиком, и таксистом, но фехтование никогда не оставлял, в выходные давал частные уроки. Американские мамаши-домохозяйки, приводившие к загадочному русскому своих сыновей, быстро взяли Толю в оборот, провели экскурсию по американскому образу жизни. Учредили благотворительный фонд, собрали денег, выкупили старый ангар для Толиной школы. «Оля, они меня здесь называют не Анатолий, как у нас, а Тони. Правильное имя никак запомнить не могут! Я уж бросил их исправлять, черт с ними!» Ольга

Николаевна не удивлялась. Эти холеные неработающие американские индейки, по словам Толи, никогда не слышали ни о Пушкине, ни о Толстом, только о Достоевском, и то мельком. До-сто-ев-ски? Неудивительно, что в этой стране насморк до гайморита запустили. Идиоты! «Да, представляешь, Оля, просто так, это у них называется поддержка предпринимательства, малого бизнеса. Поверили в меня. Мисс Дэвис помогла в кредит взять оборудование, поручилась в банке. Тут все живут в кредит. Ну и спорт в нашей деревне развивать нужно. Я много работаю, Оля. С утра до вечера. Без выходных. Мисс Дэвис очень помогает, дает рекламу в соседние поселки, ведет учет абонементов, обзванивает заболевших». Толя приложил к письму фото с этой незаменимой во всех отношениях мисс Дэвис. На фоне ангара. Желтый костюм, черное каре, завивка Жаклин Кеннеди, белые лошадиные зубы. Мисс Дэвис приобнимала Толю одной рукой, тыкала указательным пальцем с пошлым розовым маникюром на табличку перед ангаром «Mr. Gorokhov's Fencing School. Children from 7 to 16 y.o. Adults».

«Миссис Горохова. Миссис Горохова», — попыталась примерить на себя американское имя Ольга Николаевна. Но как она его на себя

ни натягивала, имя на нее не садилось. Оказалось не в пору. Как чужое заношенное платье из комиссионки. Нет, из — как это теперь называется? — из секонд-хенда. Жмет. Дышать невозможно. Жалкая подачка гуманитарной помощи. Ольга Николаевна американскую гуманитарную помощь терпеть не могла. Береги платье снову, а честь смолоду. Баба Рита, заведующая столовой, визжала как резаная, если, не дай бог, кто-то из мальчишек неаккуратно плюхал коробку с гуманитарной на пол: «Руки оторву, злыдень! Аккуратнее, сказала! У меня таких, как ты, полшколы обормотов, а коробки всего четыре!» Коллеги при виде гуманитарии чуть в обморок от счастья не грохались. Ольга Николаевна с мамой их восторгов не разделяли. Rama оказался прогорклым маргарином. Отдали соседке, у нее собака большая, овчарка. Кукурузные лепешки Kellogg's повертели, повертели, да так и не поняли, как их есть, сухие, безвкусные, как бумагу жуешь. Выбросили. Сухое молоко. Что-то вроде детской смеси «Малютка», только сладкое — ужас. Они что там в своей Америке думают, у нас даже свежего молока нет? Банка сосисок Dak. Даже всеядный папа есть такое не стал: «Они ополоумели совсем?! Сосиски в бульоне из-под

горошка в банки засовывать!» Конфетки только с чаем съели. Вкусные, но наша пастила не хуже, а уж с маминым фирменным тортом «Графские развалины» вообще не сравнится.

Ольга Николаевна аккуратно положила письмо обратно в конверт. Она перечитывала Толины письма каждый день, когда одно, когда — «в уме, подавленном тоской, теснится тяжких дум избыток; воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток»[47] — все разом, по дате отправления с самого первого шесть лет назад. Ольга Николаевна подошла к книжному шкафу, достала с собрания сочинений Пушкина с золотым обрезом коробку из-под конфет «Ассорти». Толя принес на последнее Восьмое марта перед отъездом. Коробка «Ассорти» и охапка мимозы. Набор старой девы. Восстановил естественный ход ее жизни. Ольга Николаевна открыла темно-синюю коробку, аккуратно положила конверт, поправила; еще одно — и придется искать новую коробку, чтобы не помялись. Это было первое письмо с отъезда Толи, в котором он не уговаривал ее приехать. Сдался. Отпустил. «И жив ли тот, и та жива ли? / И нынче где их уголок? / Или уже

---

[47] Примечания: 47
А. С. Пушкин «Воспоминание».

они увяли, / как сей неведомый цветок?»[48]

Ольга Николаевна запретила себе думать о Толе, гайморите и мисс Дэвис (интересно, он рассказывал мисс Дэвис о ней?). Были дела поважнее. Сегодня любимый десятый «А» играл спектакль. «Про Федота-стрельца». Филатов. Ольга Николаевна подошла к балкону, принялась аккуратно раскручивать бигуди. У жизни причудливое чувство юмора. Вам и не снилось. «Я без тебя могу. Господи, это правда»[49]. Слова Татьяны Николаевны оказались пророческими. Ольга Николаевна любила Филатова еще с «Экипажа». У папы Аглаи были такие же усы. А у Толи такой же красно-черный шарф в клеточку. Как хорошо, что такой славный текст удалось с детьми поставить!

В серых ветвях голых деревьев висело белесое пятно солнца, слепило. «С небес уже скатилась ночи тень. / Взошла заря, блистает бледный день!»[50] Пора было собираться в школу. Ольга Николаевна взглянула на прошлогоднюю

---

[48] Примечания: 48
А. С. Пушкин «Цветок».

[49] Примечания: 49
Из художественного фильма «Вам и не снилось...». Реж. И. Фрэз.

[50] Примечания: 50
А. С. Пушкин «Осеннее утро».

фотографию своего класса на стене. Петя стоял в середине в последнем ряду, самый высокий. «Ну, Пивоваров! — Ольга Николаевна погрозила фотографии пластиковыми бигуди. — Только попробуй не доучить текст!» На последней генеральной репетиции Петя три раза забывал слова. И спектакль еще, как назло, важный, приурочили к двадцатипятилетию школы. Будут завучи, директор, даже мэр и местная администрация. «Оленька Николаевна, ты уж постарайся, голубушка! Нам актовый зал бы отремонтировать. Если мэру понравится ваша самодеятельность, обещал выделить финансирование. Он из этих…» — Серафима Сергеевна многозначительно закатила глаза. Братки и ангелы в сознании постсоветского человека обитали где-то на небесах, недалеко друг от друга, по соседству. Может, Ольга Николаевна все-таки ошиблась, дав Пете главную роль?! Петя был мальчик артистичный, смазливый, но уж больно безалаберный. Нет, в следующий раз… Последние бигуди упали в пластиковую коробочку. Ольга Николаевна покачала головой. Что это она?! Все будет хорошо! У нее всегда есть Аглая. Она Пете отлично на репетиции подсказывала, почти неслышно. «Не кручинься и не хнычь! Есть печали и опричь!

Ну-ко станьте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич!» Ольга Николаевна звонко хлопнула в ладоши. И рассмеялась. Все будет хорошо!

Она прошла на кухню, заварила себе в турке кофе. Однокомнатная квартира. Тридцать два метра. Почти такая же была у Толи. Они собирались обменяться на трешку на Горводокачке. Толя свою квартиру приватизировал, продал, обменял не на трешку, а на ангар с мисс Дэвис и ее лошадиными зубами. Она, наверное, британка, подумала Ольга Николаевна. Такие выпирающие большие страшные плоские зубы только у британок. Ольга Николаевна поначалу откладывала деньги, боялась, что Толе в Америке не хватит: «Толя, я тут накопила немного, если что, пиши, я найду способ выслать». Но мистеру Горохову хватило. Да он бы и не попросил никогда. Ольга Николаевна подумала об их так и не случившейся трешке на Горводокачке. Толя обещал отдать ей целую комнату под библиотеку с отдельным шкафом для полного собрания сочинений Пушкина. «Мне не нужен сервиз на свадьбу, Толя, мне нужен большой книжный шкаф. До потолка. На всю стену!» «Да поведает он свой печальный рассказ / Тем, кто память хранит о былом, / О земле — колыбели, священной для нас, / О грозе, полы-

хавшей огнем»[51]. Ольга Николаевна закусила губу. Огонь давно отполыхал. Сожрал все мечты о Толе, о неодиночестве, о шкафе. И только Пушкин снова вышел из огня перестройки невредимым. Не сгорел. Жил бессмертным под Толиной коробкой конфет «Ассорти». Птицей Феникс. Рядом. Легко, весело, вопреки.

* * *

— Очень рад, очень рад, поздравляю вас с двадцатипятилетием! — Мэр города тряс руку директрисы так рьяно, будто скакалку-канат в цирке раскручивал.

Они выглядели комично. Плюгавый лысый дергающийся мужичок, пегий от родимых пятен на лице, и высокая статуеобразная недвижимая директриса с фарфоровой кожей. Серафима Сергеевна Бессмертная, строгая, справедливая, четкая. Серафима Сергеевна работала в школе с ее основания, была по-настоящему бессмертной. Не старела. Родилась пятидесятичетырехлетней, такой и жила. Являла собой пример победившего в рамках одной конкретной подмосковной школы феминизма. «Благословляю вас именем

---

[51] Примечания: 51
М. Митчелл «Унесенные ветром». Пер. Т. Озерской.

Клары Цеткин и Розы Люксембург. С трудовыми победами, дорогие женщины!» Стояла насмерть, защищала школу и учителей от хода русской истории как Гэндальф — Братство кольца от балрога: «Ты не пройдешь. Ты не пройдешь. Ты не пройдешь!»

Деловая, несентиментальная, цельная, Серафима Сергеевна бесконечно находилась в движении и поиске допфинансирования для школы: на доплату учителям, на ремонт, на поощрение проявляемой педагогической инициативы. Вере Владимировне выделяла ресурсы на поддержание умирающего олимпиадного движения. «Верочка Владимировна, я тебе в сетке расписания поставила четыре часа на олимпиаду в следующем месяце, а секретарь дипломы вам закупит, цветные!» Надежде Петровне помогала устраивать межшкольные спартакиады: «Наденька Петровна, я в ЖЭКе краску достала, мы сделаем тебе на стадионе к спартакиаде новую раз-метку». Ольге Николаевне обеспечивала реквизит для спектаклей: «Оленька Николаевна, вам завхоз привез с дачи старую дверь, как ты просила. И самовар».

Серафима Сергеевна Ольгу Николаевну уважала от души, проникновенно: не опаздывает,

работает в школе уже пятнадцать лет, делает невозможное — вовлекает в общественно-культурную деятельность людей, наименее к этой общественно-культурной деятельности предрасположенных, подростков. Недоразвитая префронтальная кора. Не налаженные нейронные связи. Продуваемое гормональным шальным ветром нестабильное эмоциональное состояние. Общая бессмысленность существования. Как Ольга Николаевна заставляла подростков участвовать в спектаклях, оставалось для Серафимы Сергеевны загадкой более неразрешимой, чем сворачивание белка в уникальную трехмерную форму. А еще Ольга Николаевна никогда не болела. Один раз Серафима Сергеевна силой выпихала ее домой, когда Ольга Николаевна заявилась в школу с распухшей щекой Бармалея, настолько огромной и страшной, что увидевшая Ольгу Николаевну первоклашка разрыдалась. И в декрет, опять же, Ольга Николаевна не сбежала. И на рынок торговать лосинами не ушла. И за границу не уехала, как эти… предатели. Женщина надежная, бездетная, истинно русская, та, что и коня, и в избу, и активное участие в общественной жизни. Единственное, что Серафиму Сергеевну в Ольге Николаевне немного смущало, так это

экзальтированная, иррациональная любовь к депрессивной русской литературе. Серафима Сергеевна была по образованию биолог, к гуманитарным наукам относилась настороженно, а если быть совсем честной, с глубоким презрением. Все, где невозможно вывести общий случай, считала не наукой, а фикцией, обманом населения. Но что поделать, приходилось изображать заинтересованность. Серафима Сергеевна крепко пожала Ольге Николаевне руку, притянула к себе.

— Не подведи, Оленька Николаевна, администрация у нас сегодня, важные люди. — Серафима Сергеевна опять закатила глаза, мысленно помолилась ангельско-криминальному профсоюзу и еще крепче сжала руку.

— Конечно, не беспокойтесь, Серафима Сергеевна, мы с ребятами отлично подготовились! У нас текст в этом году живой, веселый, им… — Ольга Николаевна покосилась на нового мэра, под правым ухом у которого зловеще чернела запекшаяся на шраме кровь, но обращать взор к небесам, как директриса, не стала. — Понравится.

— Ну вот и славно! Я в тебе не сомневаюсь! — Серафима Сергеевна улыбнулась и, сев на первый ряд возле мэра, принялась рассказывать про планы реконструкции актового зала: — Во-пер-

вых, Александр Федорович, нужно перетянуть линолеум, видите, вон там у сцены уже дыры образовались…

* * *

Ольга Николаевна с любовью погладила фотографию улыбающегося Филатова в черной водолазке. Журнал «Юность» № 3,1987 год, страница 46. Посмотрела на сцену, кивнула Матвею. Начали!

— ..Федот-стрелец, удалой молодец. Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче, а так, вообче! — Яркая рубаха. Скоморошья шапка с бубенчиками. Матвей — скоморох говорил громко, бойко, чеканил слоги.

Ольга Николаевна покосилась на мэра. Тот скривил тонкий рот в подобии улыбки и закивал окровавленным ухом в такт филатовскому тексту. От бритвы, подумала Ольга Николаевна. Не дрался же, в самом деле. Или дрался?

— Служба у Федота — рыбалка да охота. Царю — дичь да рыба, Федоту — спасибо! — Петя — Федот в черных сапогах и белой косоворотке достал из широких штанин зеленый водяной пистолет, прицелился в Матвея, пульнул.

Зал захихикал, мэр ткнул в Петьку пальцем и шлепнул себя по коленке: «Хорош!» Серафима Сергеевна тоже улыбнулась, вероятно мысленно выбирая цвет нового линолеума. Дуб медовый, венский или все-таки лучше орех, как думаешь, Оленька Николаевна? На сцене появился Мишка-царь. Колготки, шорты, красная расшитая искусственным мехом мантия. Ухо мэра на секунду исчезло из поля видимости. Мэр наклонился к Серафиме Сергеевне и, шепнув: «На нашего ж похож!» — хрюкнул.

Хорошо, не Чехова взяли. Как чувствовала. Ольга Николаевна перевернула улыбающегося Филатова: «Не подведем вас, Леонид Алексеевич», страница 47. Этот бы Чехова не потянул, конечно. Ольга Николаевна вздохнула. Да и она бы сейчас не потянула. Чехова Ольга Николаевна не любила. Все его пьесы сочились, как ромовые бабы — сиропом, крепкой, почти водочно горькой тоской, невыносимой, парализующей, лютой. У доктора Чехова не было ни одного героя, которой) бы он пожалел и вы лечил. Нет. Чехов всем ставил диагнозы, несовместимые с жизнью. Одни смертники. Все до одного. Оля, Маша, Ира, Раневская, Лопахин, Соня, дядя Ваня, забытый всеми Фирс — все. От чеховских пьес рука тяну-

лась если не за револьвером, то, по край ней мере, за бутылкой. И выть хотелось. Как от Толиных писем. Ольга Николаевна моргнула и испуганно проверила, на месте ли «Юность». Что это она? Петя на сцене один, в лесу. Пока Аглая не выйдет, расслабляться нельзя. Ольга Николаевна быстро пробежала глазами текст, поставила на нужную строчку палец. Линолеум. Актовый зал. Главное — не сбиться.

— А вообче-то говоря, голубей ругают зря. Голубь — ежели в подливке, — он не хуже глухаря!

Нет, все шло гладко. Нервы у нее ни к черту стали, нужно мелиссу и душицу мамины попить вечером. На сцене наконец появилась Аглая. Сизый комбинезон по фигуре. «Девочка на шаре» Пикассо, любимая картина в Пушкинском. Синий павловопосадский платок. Толин подарок. Такой огромный, что Аглае на два голубиных крыла хватило. Красиво смотрится. Медные волосы, схваченные маской-клювом из папье-маше. Трудовичка смастерила. Расшила блестками, приклеила белые голубиные перья. Не хуже венецианских масок. Настоящая птичка. Марусся-голубица.

— Ты, Федот, меня не трожь, пользы в энтом ни на грош…

Кольнуло в боку. Ольга Николаевна вздрогнула. Пятый класс. «Сегодня бежим кросс, — объявляет физрук. — Три километра». Три километра ужаса, позора, болей в боку.

— …и кастрюлю не наполнишь, и подушку не набьешь…

Ольга Николаевна моргнула. Что-то в голубице было не так.

— Чай, заморский господин любит свежий галантин…

Слов было не разобрать, Аглая будто не текст читала, а монотонно тихо гудела холодильником «Минск-10» в коридоре: у-у-у-у-у! Ольга Николаевна даже обернулась назад, убедилась, что сидит на первом ряду. В боку кольнуло еще раз. «Готовы? На старт! Внимание! Марш! Что стоишь, Маркова? Побежали уже!»

— …а во мне какое мясо…

Нет, нет, опять кажется. У-у-у-у-у! Ольга Николаевна поджала губы, нацепила пластиковую улыбку Ретта Батлера с марки и принялась крутить рукой, пытаясь добавить Аглае то ли завода, то ли звука. Но регулятор громкости Аглаи был сломан. И завод не добавлялся. Что? Что она говорит? Ничего было не слышно.

— …так, не мясо, смех один!

Петя цокнул, ухмыльнулся, упер руки в боки. Заговорил громко и звонко. Как положено заговорил. Как репетировали.

— То ли леший нынче рьян, то ли воздух нынче пьян, то ли в ухе приключился у меня какой изъян?

Да, да, точно! Ольга Николаевна радостно Петиным словам закивала и перестала крутить рукой. У нее тоже в ухе приключился изъян. Вот в чем дело! Только Серафима Сергеевна почему-то все хмурилась, а мэр широко зевнул чесночным запахом, запекшаяся кровь под ухом дернулась. «Маркова, отставить крутить по сторонам головой! Беги давай!» Ольга Николаевна выключила боковое зрение. Сконцентрируйся, Оля! Смотри на сцену и в текст! — То ль из царских из окон оглашен такой закон, чтобы птицы говорили человечьим языком? Сейчас все наладится. Это из-за нервов. Зачем Толино письмо сразу, как принесли, читала?! Сама виновата. Ну давай, Аглая! Починись! Громко, радостно, как Маруся! Но Аглая не починилась. Аглая вообще перестала говорить. Замолчала. Ольга Николаевна, нервно сглатывая, зашуршала журналом. «Маркова, бежим, бежим! Второй круг только, а ты уже издохла!» Может, Аглая слова забыла? Нет, это

совершенно невозможно. Немыслимо просто. Ольга Николаевна откинула от себя эту мысль и слепо посмотрела на сцену. Аглая никогда не забывает слова. Это аксиома. Воздух в актовом зале тяжелел, наливался тревожным шепотом задних рядов, давил на уши, как в самолете. Еще раз долго, скучающе зевнул мэр. В боку снова кольнуло. Толя сидит на диване и мямлит: «Здесь ничего уже не будет, Оля». И в глаза не смотрит, как Аглая. Мнет руки. Петя, Петя, миленький, спасай!

— То ли леший нынче рьян, то ли воздух нынче пьян, то ли в ухе приключился у меня какой изъян? — Петя сделал шаг вперед.

Молодец, Петр, сообразил прочитать еще раз! Пятерку тебе поставлю! В четверти! Нет, не в четверти! В году!

— То ль из царских из окон оглашен такой закон, чтобы птицы говорили человечьим языком?..

Боковое зрение щелкнуло и показало насупившуюся Серафиму Сергеевну, мысленно уже отпевающую мечты о линолеуме.

Не твори, Федот, разбой…

Линолеум, актовый зал, Ольга Николаевна спохватилась, нашла нужный текст в журнале и

зашипела на сцену, закрывая ладонью-забралом свой говорящий рот от Серафимы Сергеевны.

— Не твори, Федот, разбой… — повторила Аглая, махнув крыльями, и снова замолчала.

По спине под новой шелковой блузкой бежали две крупные липкие капли пота. «Два километра, Маркова, один остался!» Ольга Николаевна выпрямила спину. Пятна останутся.

— Разбой, — хмыкнул Петя и широко улыбнулся.

У Аглаи гайморит, вдруг твердо решила для себя Ольга Николаевна. Фива. Читай, Петя! Читай! Ольга Николаевна тыкала «Юностью» то в Аглаю, то в Петю. Какой сегодня день? Петя, как туповатый тушканчик, повертел головой, промычал: «А-а-а-а-а! Ага!» — и заговорил:

— А возьми, то есть возьму тебя с собой. Как внес…у т-тебя в светелку, стану-у-уе-е-ешь ты твоей, то есть моей, судьбой. Буд…ешь шить, стирать, варить, за обиды не корить, и играть тебе, мне, мне играть на скрипке… — Петя зеленым водяным пистолетом изобразил на плече скрипку, запиликал. — И клопов тебе, то есть мне, нам… морить!

Ольга Николаевна сдвинула руку-забрало. Ухо мэра было на месте. Запекшаяся кровь на месте.

Не ушел. Двадцатое… Сегодня же двадцатое. Ольга Николаевна, забыв про пот, прислонилась к спинке кресла. Список несчастливых дней Пушкина. Оных дней в январии было семь. Первое. Второе. Шестое. Седьмое. Одиннадцатое. Двенадцатое и… Опять кольнуло в боку. «Маркова последняя!» Двадцатое. И Толя уехал в такой день, только в апреле. Березов месяц. Первое число.

— Давай, голубица, пойдем ко мне в светлицу! — Петя обнял Аглаю и, помахав зрителям пистолетом, практически выпихал Аглаю со сцены.

Ольга Николаевна, не обернувшись на Серафиму Сергеевну и кровавое ухо, пригнулась и, сжимая совсем потерявший надежду выжить великий третий номер восемьдесят седьмого года журнала «Юность», ринулась за кулисы.

Настя встретила ее в костюме Маруси, длинном льняном платье с красным кушаком и стразами. Вся светилась.

— Ольга Николаевна, Ольга Николаевна, я готова! Я готова! Дымовой плохо же, да…

Да, Настя, Аглая что-то… Давай, молодец, что уже переоделась. С Богом! — Ольга Николаевна, сама от себя не ожидая, перекрестила Настьку журналом «Юность». Главное — доиграть

спектакль, все остальное потом, потом. «Сердце в будущем живет; / Настоящее уныло: / Все мгновенно, все пройдет; / Что пройдет, то будет мило»[52]. Выписать, выписать нужно все эти несчастливые пушкинские дни в году и никогда больше… никогда!

* * *

В зале свистели и хлопали. Громко. Радостно. От души. Актеры третий раз выходили на поклон. Аглая сидела за кулисой на том же стуле, где ее со словами: «Ну Дымова, ты чего, а?» — оставил Петька. Аглая, закутавшись с ногами в шерстяной павлово-посадский платок, не двигалась, смотрела перед собой, в пол. Пол порезами на линолеуме косоглазо пялился на нее в ответ. Что ж так холодно? В голове толкались, пихались, придавливая друг друга, валились все не вспомнившиеся реплики сразу. «Ты, Федот, меня не трожь». Одна на другую. «И кастрюлю не наполнишь». Вповалку.

— Дымова… — Ольга Николаевна крепко сжала руки, боялась, что одна из них вырвется и нарушит непреложное правило детей не бить. — Что с тобой случилось… — Ольга Николаевна

---

[52] Примечания: 52

А. С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…>

замолчала, силясь что-то вспомнить. — Аглая! Что произошло? Ты же так хорошо текст знала, и свой, и Петин… У тебя что-то дома случилось? Что-то с папой? Он все еще болеет?

Аглая покачала головой. При чем тут папа? Почему Ольга Николаевна постоянно спрашивает ее про папу? Чего привязалась? Никого больше не спрашивает. Только ее. Если вам так надо, сами его и ищите.

— Аглая. — Ольга Николаевна разжала руки, села рядом. — Ну как ты могла забыть весь текст?! Весь текст! Ты нас чуть… — Ольга Николаевна осеклась, а Аглая крепко зажмурилась, попыталась Ольгу Николаевну выключить.

Щелк. Она их всех опозорила. Щелк. В висках закололо. Щелк. Ольга Николаевна не выключалась. Невыносимо. Это было невыносимо. Навзничь. Дура, дура, из-за которой весь спектакль чуть не…

— Простите, пожалуйста, я не знаю, что со мной… — Аглая сглотнула.

— Ты, может, заболела, Дымова? Зеленая вся… Тебя тошнит? — Ольга Николаевна протянула окольцованные холодные пальцы к Аглаиному лбу, потрогала, в недоумении пожала плечами: — Нет вроде… Ну ничего, ничего, бывает, не

расстраивайся, посиди, успокойся, бывает… Со всеми бывает.

Ольга Николаевна врала. Такое бывает только с полными дурами, как Аглая. Не со всеми. Даже Настька… Настька не только сыграла лучше нее, но и ни слова не забыла. Это все было не-вы-но-си-мо.

— Пойду к Серафиме Сергеевне, как бы нам теперь все спектакли не запретили… — Ольга Николаевна тяжело вздохнула. — Ты не расстраивайся, Дымова… — Ольга Николаевна замерла, закусила губу. — Знаешь, если ты не против, я заберу свой платок…

— Конечно, простите… — Аглая испуганно вскочила, выпуталась из платка. — Вот.

Ольга Николаевна взяла платок, пропальпиро-вала, будто проверяя у платка пульс, жив ли остался, аккуратно сложила и, едва заметно понюхав, быстро удалилась.

Над Аглаей тут же нависли неизвестно откуда взявшиеся Настька и Вика. В засаде сидели. Профессиональные падалыцицы. Как они могли такое пропустить?!

— Эх, Дымова, Дымова! — Настька ткнула Аглае в лицо воняющей клеем ПВА голубиной маской. — Ты же нам чуть весь спектакль не

завалила, Дымова. На фига берешься за то, что не тянешь?! В каждой бочке затычка ты, Дымова… А зря! Надо адекватно свои силы оценивать.

Аглая, подобрав и обхватив руками ноги, молчала. Без платка Ольги Николаевны стало очень холодно. Знобило.

— Ты что, пьяная, Дымова?! — улыбнулась своим наклеенным золотым зубом Вика. Голова замотана в платок так, что волос не видно. Длинная льняная юбка. Роль няньки Вике удалась на славу.

— Да, точно! Она пьяная! Трясется вся! Дыхни, Дымова! — Настька довольно зачмокала звуком дачного сортира.

— Но ты обосралась, конечно, Дымова! — поддержала ее Вика.

Аглая хлюпнула носом. Сейчас еще и разревется как последняя дура. Перед этими… и разревется!

— У! Наша учительская собачонка расстроилась! М-м-м-м… Сейчас заплачет, бедненькая… — Настька вытянула руку, хотела Аглаю погладить.

Аглая дернулась от отвращения. Настькину руку кто-то отпихнул. Настька взвизгнула.

— Валите отсюда, а!

Аглая подняла глаза. Наташка?

— У-у-у-у, какие защитницы у нас, подума-

ешь… — Вика и Настька объединились, заклокотали в унисон, но шаг назад сделали.

— Подумаешь и ничего не скажешь. Валите, валите, зубы золотые не потеряйте.

Настоящая Наташка. В белой праздничной рубашке с жабо. Красивой. Наташка, которая с ноября с ней не разговаривала. Ни слова не сказала, даже когда им по биологии дали один проект на двоих делать. Передавала информацию через Ольку Воронину, записки писала. Ее Наташка.

— Нам в вашей выгребной яме не очень-то сидеть хочется! Не переживайте! Воняет… Жуть!

— Валите, валите… От вас и воняет!

— А что сказка дурна — то рассказчика вина. Изловить бы дурака да отвесить тумака… — Вика и Настька, смеясь, побежали обратно на сцену, догоняя Пивоварова.

— Вот дуры же, а… — Взаправдашняя Наташка села рядом, пихнула Аглаю плечом.

Аглая всхлипнула еще раз, без платка было холодно, шмыгнула носом и… заплакала, будто Наташкин локоть дал ей на слезы разрешение, справку выписал. Дымовой реветь можно. Число. Подпись. Печать.

— Ну не расстраивайся, ну бывает… Не слушай ты этих придурочных! Подумаешь, текст забы-

ла?! Надо к этому проще относиться… Кто об этом завтра вспомнит-то?!

Наташка врала. Как Ольга Николаевна. О ее провале будут помнить всегда. А если начнут забывать, Настька уж точно напомнит. И фотографию Аглаину с первого этажа снимут.

И…

И…

Настька же ходит на фабрику. Вдруг она…

И Аглая заплакала еще сильнее. Спутанно. Мокро. По-детски. Пачкая тушью комбинезон голубицы и красивую белую Наташкину рубашку с жабо.

* * *

Ольга Николаевна всем участникам спектакля поставила по две пятерки, Настьке — три. Серафима Сергеевна торжественно вручила цветные дипломы и гордо сообщила, что новому мэру спектакль очень понравился, что в актовом зале к весне обещали перестелить пол — все-таки цвет орех выбрали, чтобы светлее было, — что Насте и Мише администрация прислала благодарственные письма за артистичность и пригласила на экскурсию.

Аглая не получила ни пятерок, ни грамоты, ни

благодарственного письма. Только две жирные карандашные точки напротив фамилии, первые в жизни. Двойной кол. Доказательство ее полной никчемности, змеиным взглядом пялящееся на нее со страниц журнала. Отравление стыдом. Покраснение. Отек. Боль. Нарушение клеточной оболочки нормальности. Аглая бы, наверное, умерла от анафилактического шока, если бы не скорая Наташкина помощь. Наташка от нее со спектакля не отходила ни на шаг, пересела обратно за парту к Аглае, ждала на перемене, съедала все печенье «Мария» — «Больше не осталось? Завтра побольше возьми», — обзывала Настьку и Вику тупыми дурами. Колола противоядие.

И Гудвин колол. Настька ему все рассказала. На следующий же день. Но Гудвин Аглаю не возненавидел, как Ольга Николаевна. Наоборот. Хвалил больше обычного. Случайно дотрагивался в коридоре. Грел руки в ладонях, когда прощался: «Ты чего такая холодная?» Подарил просто так, без повода, новые варежки и дорогую красную помаду, первую в Аглаиной жизни: «Ты уникальная, А. Ты должна об этом помнить. Ты не такая, как все, А».

Он теперь называл ее А.

«Ты самая первая, понимаешь? А. Моя А. Не

переживай. Это тоже опыт. Сильный человек не тот, кто не падает, а тот, кто после каждого падения встает. Будь сильной. И взрослой. Не веди себя как ребенок. Не поддавайся на провокации. Не разрешай шершням разрушить твой мир, забраться внутрь, уничтожить. Шершни бесполезные, докучливые, у них одна цель — разрушать. Шершни никогда ничего не создают сами. Только разрушают. Ты умнее других, А. Я знаю, каково это — быть умнее других. Таким, как мы, в школе невыносимо. Я знаю, знаю, потерпи. И еще. Никому ничего не доказывай. Никогда не доказывай. Они этого не заслуживают. Скоро в Петербург, на конкурс чтецов. Соберись, нужно подготовиться. Вот где ты возьмешь реванш!»

Антигистаминное сработало. К февралю все наладилось. Даже Ольга Николаевна оттаяла, списала Аглаин провал на семейную трагедию и болезнь, бедная девочка, закрыла Аглаины точки пятерками за выдающиеся сочинения по «Войне и миру». Аглая единственная из всего класса прочитала весь роман. Два раза. Не пропустив ни одной военной сцены. А еще Аглая научилась красить губы и мокро, маль-вово целоваться, правильно. По-французски. Яд рассосался, укрепил организм, оказал не смертельное, а живитель-

ное действие — то, что не убивает нас, малютка брауни, делает нас сильнее. Главное — дозу правильную рассчитать. Яда. Да. Правильную дозу яда.

Глава восьмая
Яд

Маленькой Аглая ненавидела одного человека на свете — тетю Алю из «Спокойной ночи, малыши!». Не всегда. Не каждый день. Но так крепко, так по-детски искренне и обидно, как Вероничку тогда летом в зоопарке.

Вероничка гнусаво и яростно воет. Прохожие останавливаются, косятся на тетю Зою, осуждающе цокают: «Женщина! Женщина! Что вы? Очнитесь! Ребенка успокойте своего!» Тетя Зоя на прохожих не смотрит, на «женщину» не откликается, ее не так зовут. Тетя Зоя вглядывается в наполовину съеденный стаканчик сливочного мороженого, растекающегося белой пеной по асфальту. Диагноз: эпилепсия посмертно. Вероничка мороженое не лижет. Вероничка мороженое заглатывает, откусывает как калорийную булочку, махом. Вероничка маленькая, а рот у нее открывается широко, как у бегемота. Тетя Зоя протягивает к Аглае руку. Аглая мотает головой, пальцы давят вафлю. Мороженое мнется. Ни за что! Ее стаканчик еще совсем целый,

даже вафлю откусить не успела! Она все рассчитала, стаканчика должно хватить до вольера с жирафом. «Ну ты же уже большая и видишь, как она плачет, Глаша». Она же уже большая. Она видит, как Вероничка плачет.

Аглая ненавидела тетю Алю из «Спокойной ночи, малыши!» так же сильно, как в пять лет Вероничку, съевшую ее стаканчик мороженого, и тетю Зою, заставившую этот стаканчик Вероничке отдать. Гнусаво и яростно. Ненавистью пятилетнего ребенка, который первый раз в жизни столкнулся с несправедливостью мира и от несправедливости этой ошалел.

Как только самовар превращался в цветок, цветок — в месяц, месяц — в улитку, улитка — в колокольчик… Как только открывался синий пластилиновый занавес, а перед телевизором усаживались довольный жираф с утиной мордой, кукла с плотной, как Дедова обувная армейская щетка, челкой, мишка на несбывшейся мечте — коне-качалке и слоненок, сбежавший из «Тридцати восьми попугаев», Аглая замирала, знала, сейчас все решится. Время мягким, хорошо размятым пластилином размазывалось по экрану и на глазах твердело. Аглая, не моргая, заклинанием повторяла про себя: тетя Валя, тетя Лина, тетя Та-

ня, дядя Юра, тетя Валя, тетя Лина, тетя Таня, дядя Юра. Повторяла, но уже чувствовала скрутившимся панцирем улитки животом — заклинание сегодня не сработает. Пластилиновый экран превращался в настоящий, щелкал и показывал ее, робота — вершителя судеб миллионов советских детей, женщину с начесом, как у французского короля, и синими тенями. «Здравствуйте, мои маленькие друзья!» В носу першило, как в горле, когда болеешь и ходишь с замотанной бабушкиным белым пуховым платком шеей. Губы склеивались. Глаза за пеленой слез видели мутно. Но перепутать было невозможно. На экране была она, мультфильмо-ненавистница, Гингема Первого канала, тетя Аля.

Надежда, пенясь, таяла быстрее, чем Вероничкино мороженое на асфальте. Мультфильм сегодня не покажут. Будут читать книжки.

За что тетя Аля так ненавидела мультфильмы, Аглая объяснить себе не могла. «Карлсон». «Винни-Пух». «Двенадцать месяцев». «Вовка в Тридевятом царстве». «Маугли». Анимационный гематоген, восполняющий дефицит радости в организме советского ребенка. Выписывался в Останкинской башне. Выдавался строго по рецепту телевизионной программы передач в

газете «Говорит и показывает Москва». До-зированно. Как это можно было не любить? Наверное, Гингемы уже такими рождаются, не любящими мультфильмы. Дома тетя Аля ест лягушек, пиявок, змей и пауков. В этом Аглая не сомневалась. А ночью летит на метле на «Союзмультфильм», большими ножницами кромсает пленку на бобинах и зловеще смеется: «А-ха-ха! А-ха-ха, мои маленькие друзья!»

Вместо мультфильмов тетя Аля читала книжки. Медленно, с долгими паузами, растягивая пластилиновое время, чтобы подольше сидеть в телевизоре, занимать эфир, самолюбоваться. «Самолюбование у девок — первый признак дурости», — говорил Дед. «Тетя Аля, а что это у вас какая-то книжка?» — обреченно поскуливая, интересовался пес Филя в штанах с подтяжками. «Это замечательная книжка», — зловеще отвечала тетя Аля. У тети Али все книги были замечательные… и очень древние. «Синичкин календарь», «Каштанка», «Слепой бельчонок». «А на утро следующего дня в лесу недосчитались одного зайчонка. Нашли его лапку»[53]. В тети-Алиных книжках кто-то постоянно терялся,

[53] Примечания: 53
В. Бианки «Синичкин календарь».

сжирался или выпадал из дупла.

Аглая с Вероничкой даже написали тете Але письмо, попросили никогда, никогда больше не приходить в «Спокойной ночи, малыши!». Дед усмехнулся, купил им конверт и марки с Гагариным, поддержал инициативу подрастающего поколения. Аглая вывела на конверте адрес: «Тети Али в теле-визар». «Точно дойдет», — кивнул Дед. Но письмо не дошло. Тетя Аля из телевизора никуда не делась, так и сидела там, только гуще наносила на веки тени под цвет блузки — зеленые, синие, розовые — само-любовалась.

Как Настька. Настька тоже после спектакля никуда не делась. Триумф! Даже Ольга Николаевна Настьку если не полюбила, то перестала считать безнадежной, смотрела на нее теперь с благодарностью, ласково. Настька изменившийся в классе баланс сил быстро почувствовала, ядовитым газом заполнила собой все пространство от пола до потолка. Самолю-бовалась, смеялась, виляла толстой жопой в голубых джинсах-мальвинах. Деваться от нее было некуда! Хоть под парту лезь! «Нет, ну ты посмотри на нее, — комментировала Настькины джинсы Наташка, — она ж их, небось, только в положении лежа застегнуть может. Жиртрест! Ткнешь ей в жопу пальцем — джин-

сы и лопнут, как стручок недотроги! Щелк!» Но джинсы, вопреки Наташкиным прогнозам, на Настькиной жопе не лопались. А везде Аглаю преследовали. Гудвин уехал в командировку. Уроки вторую неделю вела Маргарита Антоновна, заменяла. Приходилось и тут наблюдать Настькину жопу, мечтать ткнуть в джинсы пальцем, услышать заветный «щелк!».

* * *

Адвокат дьявола! Конечно! Как это точно. Маргарита Антоновна почувствовала знакомое: эйфорию, всемогущество, блаженство. Она придумала! Они как раз прочитали первую главу. Соксы избили Понибоя. Она устроит суд, настоящее заседание с защитниками, обвинителями, присяжными. Две команды. Соксы против гризеров. Они такого еще никогда не делали. Маргарита Антоновна схватила свой черный Moleskine, открыла. И ему понравится. Ему точно очень понравится! But, that's nothing short of genius, my love! Nothing short of amazing! You are an outstanding teacher, you know that, Margot![54]

---

[54] Примечания: 54

Но это просто гениально, любовь моя! Просто потрясающе! Ты выдающийся учитель, и ты это знаешь, Марго! (англ.)

Он называл ее Марго. Королева Марго.

Маргарита Антоновна щелкнула выключателем настольной лампы. Винтажная. С барахолки в Нью-Йорке. MCM Wood Grain Metal Mini. Они оба любили красивое. Лампа с интересом вытянула железную шею, склонила голову к дневнику Маргариты Антоновны, заглянула. Когда Мужа не было дома, Маргарита Антоновна работала в его комнате. Сигареты, цитрус, смолистые ноты, кардамон, цветочность, специи. Комната пахла Мужем. Calvin Klein. Obsession. Флакон духов, наконечник градусника, постоянно измерял температуру, не допускал перебоев.

Маргарита Антоновна осмотрела комнату. Чисто. Муж не любит беспорядок. Особенно разбросанные Андрюшины игрушки. «Милый, ты убрал свой конструктор? Папа сегодня приезжает, давай уберем». Когда в комнате был только запах Мужа, налитый, густой, принадлежащий ей по праву свидетельства о бракосочетании номер III-МЮ № 251952, выданного Дворцом бракосочетания № 1 г. Москва, она убиралась сама. Когда в комнату пробирался чужой запах неМужа — breaking and entering[55], — прыще-

[55] Примечания: 55
Взлом и проникновение со взломом (англ.).

ватый, робкий, наглый, Маргарита Антоновна звала Акулину. Акулина выдраивала комнату с содой, а потом с шампунем Vidal Sassoon, вымывала запах из комнаты, уничтожала. Алан Кэмпбелл. Тела жертв Дориана Грея. Found guilty without conviction[56]. Муж не возражал. Только постельное белье не разрешал гладить, спал на мятом. «Слушай, ты в курсе, что у тебя простыни неглаженые?» Маргарита Антоновна, когда они съехались, еще думала, что он, как все мужчины, просто не в курсе. Но он был в курсе. Он всегда был в курсе всего. Маргарита Антоновна больше не спрашивала, глаженые простыни Акулина застилала ей и Андрюше. «Это что это у вас не по-людски, Риточка, что ж он у тебя спит как нежить? Разреши, гладану, а?!» Маргарита Антоновна не разрешала.

Дать им фразы не соглашаться друг с другом. Да, они их еще не брали. Что-нибудь красивое, сложное, уровня Upper-Intermediate… While this point seems to make sense, it overlooks the fact that…[57] Маргарита Антоновна так к экзаменам в инязе

---

[56] Примечания: 56

Признан виновным без вынесения обвинительного приговора (англ.).

[57] Примечания: 57

Хотя этот пункт кажется разумным, он упускает из виду тот факт, что… (англ.)

готовилась. Выучишь что-нибудь замысловатое и вставляешь везде, будто на ходу придумываешь. One could make a case for both sides, but I personally think that.. [58] Moleskine почти закончился. Муж обещал привезти новый, и настольные игры для уроков: Scrabble, Monopoly, Taboo. There seems to be a great discrepancy between… and…[59] Маргарита Антоновна обвела слово discrepancy, ревностно прищурилась. Жалко его отдавать. Любимое. Ее. Слово, которым она отправляла в нокаут всех учителей на экзаменах по языку. Гордое. Монументальное. Dis. Crep. Апсу. Маргарита Антоновна аккуратно, по морфемным швам, слово распорола. Dis. Врозь. Обособленно. Прочь. Crep. Латынь. Crepare. Трескаться. Скрипеть. Сдохнуть. Как итальянское пожелание залезть в пасть волку. In bocca al lupo! Ни пуха ни пера! Crepi il lupo! Чтоб он лопнул! К черту! Апсу. Суффикс, обозначающий, согласно Оксфордскому словарю, качество или состояние бытия. Как это красиво и точно. The quality or state of being. Dis-crep-ancy. Несоответствие. Разногласие. Несходство. Состоя-

---

[58] Примечания: 58

Можно было бы привести доводы в пользу обеих сторон, но лично я считаю, что… (англ.)

[59] Примечания: 59

По-видимому, существует большое несоответствие между… и… (англ.)

ние бытия. Кажется, есть великое несоответствие между… Великое несоответствие. Нет, великое несоответствие она им не отдаст. Должно у нее быть что-то свое. На соседней странице Маргарита Антоновна написала большими буквами RULES[60], поставила цифру 1. Each team must defend their position and justify their actions in the context of the story, while the opposing team plays the role of the devil's advocate, challenging their arguments and…[61]

— Мама! — Из детской раздался голос сына, уже семилетний, теплый, нежный, как мамина манная каша с малиной.

Маргарита Антоновна посмотрела на часы. Половина девятого. Уроки у Мужа полтора часа как закончились. Значит… Стопы скрутила судорога. Обе. Опять. Черт! Маргарита Антоновна задержала дыхание, нащупала под столом ипликатор Кузнецова, вдавила в него ноги. От колена. One Mississippi. Two Mississippi. Досчитать до двадцати. Three Mississippi. Four Mississippi.

---

[60] Примечания: 60
Правила (англ.).

[61] Примечания: 61
Каждая команда должна отстаивать свою позицию и оправдывать свои действия в контексте сюжета, в то время как команда противника играет роль адвоката дьявола, оспаривая их аргументы и оправдывая их действия… (англ.)

— Мама! — настойчиво повторил Андрюша.

Острые красные пластиковые зубцы впивались в светлую, прозрачную, каку Андрюши, кожу, искрили. Ten Mississipi. Ступни ожили. Держаться. Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you…[62] Маргарита Антоновна зажмурилась. Fifteen Mississippi. Насекомые. Oh, don't you know…[63] Кожу, как пчелы рамку улья, облепляли насекомые, шуру-дили лапками. Everything's alright, yes, everything's fine…[64] Возвращали жизнь. Надо попить магний.

— Сейчас, милый! — Маргарита Антоновна, держась за Moleskine, сглотнула. — Закончу работу и приду! Почитай пока, милый!

Twenty Mississipi. And it's cool and the ointment's sweet. For the fire in your head and feet[65]. Маргарита Антоновна посмотрела на потолок. Побелили наконец. Дом новый, кирпичный, элитный, а

---

[62] Примечания: 62

Старайтесь не волноваться, старайтесь не обращать внимания на проблемы, которые вас расстраивают… (англ.)

[63] Примечания: 63

О, разве ты не знаешь… (англ.)

[64] Примечания: 64

Все в порядке, да, все в порядке… (англ.)

[65] Примечания: 65

Она прохладная, а эта сладкая мазь. Чтобы потушить огонь у тебя в голове и ногах (англ.).

трубы текут, как в хрущевке. Можно было купить землю и на эти деньги построить целый дом. Но они купили старую развалившуюся фабрику. «Нам нужна своя школа, моя Марго, чтобы ни от кого не зависеть. Никому ничего не объяснять. Чтобы у моей королевы Марго было свое королевство». Муж все делал по-своему. Как тогда во время путча. Высокий. Непримиримый. Готовый умереть за новый мир. Про-сперо, идущий по канату. Когда она подошла вручить ему марлевую повязку, его лица было не видно. Контровой свет. Он заслонил ей солнце.

Онемение прошло. Маргарита Антоновна взяла Moleskine. Нужно еще что-то. Опоры. Костыли. Не только фразы. Соксы, избившие Понибоя. Гризеры, избившие соксов. Оправдать насилие. Задача со звездочкой. Небанальная. Пожалеть тех, кто причиняет тебе боль. Полюбить. Sleep and I shall soothe you, calm you and anoint you myrrh for your hot forehead…[66] На первое свидание он повел ее в театр Маяковского. На рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда». Они сидели высоко на балконе. В первом ряду. Даже в темноте было видно, какой он красивый. Чуть горбатый орлиный нос, бровь

---

[66] Примечания: 66

Спи, а я успокою тебя и помажу миррой твой горячий лоб… (англ.)

в форме горы Фудзи. Длинные волосы. Иисус. Только чисто выбритый. I wouldn't want to know. He scares me so. I want him so. I love him so[67].

— Мама! — Сын стоял в дверях, ковырял краску дверной коробки, вредная привычка, от которой она никак не могла Андрюшу отучить. Мужа очень раздражала: «Ну не знаю, горчицей ему ногти намажь, Марго, ну это же не дело. Ну нет, не горчицей, конечно. Но сделай же что-нибудь с этим». Маргарита Антоновна поправила их свадебную фотографию в рамочке на столе, рукавом платья вытерла отсутствующую пыль. Грибоедовский ЗАГС. «Только в Грибоедовском, Марго, в лучшем». Метро «Красные ворота». Большой Харитоньевский переулок, дом 10. Букет белых гвоздик. Манжеты и воротничок на ее платье тоже как гвоздики, оборчатые. В густых черных волосах — белые цветы. «Марго, только давай без фаты, хорошо?» Никого. Они женились тайно. Вдвоем. «Родителей звать не будем. Ни твоих. Ни моих». Работница ЗАГСа, Егорова В. Д., с изящно сплетенным пучком горчичного цвета волос, крепко пожала ей руку: «Поздравляю!»

— Андрюша. — Маргарита Антоновна вдавила

[67] Примечания: 67

Я бы не хотела знать. Он так пугает меня. Я так хочу его. Я так его люблю (англ.).

ноги в ипликатор Кузнецова и нахмурилась.

Андрюша растерянно посмотрел на ногти, под которые забились струпья краски, засунул в рот. Пижама с Микки Маусом. Сам как Микки Маус. Похож на ее отца и на нее очень похож. Темненький. Щуплый. Курносый. С большими все понимающими глазами. Нянечка в роддоме взяла Андрюшу на руки, когда он расплакался один в палате, а потом сказала Маргарите Антоновне: «Ему два дня всего, а смотрит, будто уже все видел, все понимает». Андрюша так и смотрел с тех пор, будто все понимал. Это в сыне Маргариту Антоновну пугало. Вдруг Андрюша видел, как она пыталась найти в нем черты Мужа, докрутить взглядом генетику, которая так подло ее подвела. Пыталась и никак не могла. Всматривалась так тщательно, что знала каждую пору на лице сына. «Повернись вот так на свет, Андрюша. А теперь вот так». Скулы. Губы. Уши. Ничего. Всё ее. Злилась. Вдавливала стопни в ипликатор Кузнецова. Выполняла активные движения. Сжимала. Разжимала. Вдавливала. А потом наконец нашла. Случайно. Ночью. Муж и сын одинаково спали, смешно вверх на подушку закидывая руки, сдаваясь в плен ночи. И одеяло оба сбрасывали, будто всю ночь боролись с ним,

как со страшным, неожиданно выпрыгнувшим из засады в темноте зверем. Побежденное, одеяло падало к их ногам, на пол. Маргарита Антоновна тихонько поднимала рыцарски поверженные одеяла, расправляла в пододеяльниках, укрывала Мужа, укрывала сына. Close your eyes, close your eyes, And relax. Think of nothing tonight…[68] «Знаешь, — улыбалась она за завтраком, — вы с Андрюшей абсолютно одинаково спите! Вот так». И, смеясь, показывала. Он кивал. Из уважения. Из вежливости. Сын был на него не похож. И она ничего не могла с этим поделать.

— Ну… Мама! — Андрюша, маленький и теплый, как кот свекрови, Варвары Андреевны, забрался к ней на коленки, сдвинул локтем лампу на столе. Лампа скрипнула, дернула головой, так глупо ули-ценная в шпионаже, стыдливо отвернулась. — Мама, пойдем читать! Про изумительного мистера Лиса!

— Да ты эту книжку уже наизусть знаешь, милый… — Маргарита Антоновна поправила Андрюше лезшие без конца в глаза непослушные волосы. Совсем как у нее.

— Не знаю! Не знаю! — запротестовал Андрю-

---

[68] Примечания: 68

Закрой глаза, закрой и расслабься. Ни о чем не думай сегодня вечером… *(англ.)*

ша, обвил маленькими ладошками ее шею и, высунув язык, начал понарошку душить, широко раскрывая и без того большие черные глаза. — Если не пойдешь, я тебя убью!

— Ну хорошо! Перестань, перестань… Не балуйся. — Маргарита Антоновна сглотнула и потерла шею, будто ее душили по-настоящему, убрала Андрюшины руки. Crepi. Сдохни. — Я тебе почитаю, милый. Только на английском. Договорились? И переводить не буду. Видишь? — Она кивнула на часы на стене. — Половина девятого. В девять приду. Мне нужно подготовить на завтра урок и папу дождаться…

Андрюша скривился.

— Можно я здесь подожду?

— Нет, милый, ты же знаешь, папа не любит, когда на его кровати валяются… У тебя есть своя. Иди в детскую. Я скоро буду.

Маргарита Антоновна с Мужем давно спали раздельно. «Я не хочу тебе мешать, Марго. У нас разный температурный режим. Ты любишь холод, а я тепло. И потом, ты же знаешь… Мне нужно пространство. Мне нужно дышать. Меня нельзя ограничивать. И мы наконец-то можем себе это позволить, каждому свою комнату, тебе, мальчику, мне. We've done it, my Margot! We've

arrived!»[69] Он целовал ее в лоб. Обсуждение окончено. Куце. Сухо. Не задерживаясь. Он теперь целовал ее в лоб.

— Мама, а папа привезет ириски?

Марго нахмурилась.

— Ириски портят зубы, милый. Ты же знаешь… — А можно я… — Андрюша спрыгнул на пол. — Возьму…

— Мы же про это уже говорили, милый. Ты уже большой, чтобы спать с моим халатом. — Маргарита Антоновна поправила сдвинутую сыном лампу.

— Ну пожалуйста, мама… — Андрюша цепко, ястребом, обхватил ее за плечи.

— Ну хорошо, бери и напомни мне подстричь тебе ногти. — Маргарита Антоновна аккуратно, но настойчиво сняла руки сына, обняла его, поцеловала в макушку. — Беги.

Маргарита Антоновна еще раз взглянула на часы, времени мало, нужно скорее закончить. Она вернула лампу на место. Смотри, я сказала. Смотри. Each round consists of a presentation of arguments, followed by a rebuttal phase where the opposing team questions the justifications. After

---

[69] Примечания: 69

Мы сделали это, моя Марго! Мы всего достигли! *(англ.)*

each round, the whole group can decide which team presented a more compelling argument… A more compelling argument[70]. Команде соксов будет непросто, конечно. They are disgusting![71] — вспомнила она Полинины слова. Полина?

Ипликатор. Подростки начнут протестовать. They will be flabbergasted! Think outside the box! Think outside the box![72]

Justifications for the Socs[73]. Маргарита Антоновна обвела заголовок. Нарисовала внизу первую точку, bullet point. Socioeconomic Pressure[74]. Богатые против бедных. Давление сохранить свой статус. Жестокость. Онемение. Бесчувственность. One Mississippi.

Бесчувственность. Она узнала давно. «Ты всегда это про меня знала». Она всегда это про него

---

[70] Примечания: 70

Каждый раунд состоит из представления аргументов, за которыми следует этап опровержения, когда команда оппонента подвергает сомнению обоснования противника. После каждого раунда вся группа решает, какая команда представила наиболее убедительные аргументы… Наиболее убедительный аргумент (англ.).

[71] Примечания: 71

Они отвратительны! (англ.)

[72] Примечания: 72

Они будут поражены! Думайте нестандартно! Думайте нестандартно! *(англ.)*

[73] Примечания: 73

Оправдания для соксов *(англ.).*

[74] Примечания: 74
Одна мысль. Социально-экономическое давление (англ.).

знала. «Ты мне нужна». Она ему нужна. «Ни одна из них никогда не сравнится с тобой, и ни одна из них никогда тебя не заменит. Никогда, ты слышишь меня?» Она ему нужна. Ни одна из них никогда не сравнится с ней, и ни одна никогда ее не заменит. Она слышит его. «Ты королева, моя Марго». First rule of Project Mayhem: Don't ask questions. Second rule of Project Mayhem: Don't ask questions. Woman, your fine ointment — brand new and expensive Could have been saved for the poor...[75]

Маргарита Антоновна нарисовала вторую точку. Misunderstanding and Frustration[76]. Соксы гризеров не понимали. Не могли понять. Даже не пытались. Жили в параллельных мирах, никогда не пересекающихся. Они не знали, каково это — с детства зарабатывать себе на жизнь, каково это — не жить, а выживать, постоянно за право быть живым бороться. Нет, это был не злой умысел. Их было за что пожалеть.

Она никогда у него про девочек ничего не спра-

---

[75] Примечания: 75

Первое правило проекта «Мейхем»: не задавай вопросов. Второе правило проекта «Мейхем»: не задавай вопросов. Женщина, твою прекрасную мазь — совершенно новую и дорогую — можно было бы сохранить для бедных... (англ.)

[76] Примечания: 76

Непонимание и разочарование (англ.).

шивала. Никогда ни одной из них не показала, что знает. Только никак не могла избавиться от животного, неконтролируемого инстинкта вычислить каждую как можно раньше. В момент, когда даже он еще сам не знал. А она уже знала. Она бы таких не брала в группы, но тестирование всегда проводил он. Учуять. Понять. Обезопасить себя и Андрюшу. Самое ужасное было не знать. «За красивого пойдешь — лиха наберешь». Мама вздохнула, но отговаривать Маргариту Антоновну не стала.

Третье. Peer Influence. Давление сверстников. Насилие как способ доказать свою лояльность или жесткость. Быть частью группы.

Маргарита Антоновна вспомнила Розу. Лучшая подружка. Они вместе раздавали марлевые повязки у Белого дома. У Маргариты Антоновны не осталось подруг, ни лучших, ни обыкновенных, никаких. Только коллеги и подчиненные. Подруги все как одна пытались ее осчастливить. «Мы сделаем вас счастливыми». Открыть глаза. «Мы сделаем вас счастливыми». Они зачем-то всегда хотели с ней поговорить. А и Б сидели на трубе. «Марго, милая, ты только не расстраивайся…» А упала, Б пропала. Она расстраивалась от их разговоров. Кто остался на трубе? Они этого не

понимали. Они всё ломали.

Осталась ваша буква «и». Маргарита Антоновна осталась одна, от всех подруг избавилась. Роза держалась дольше других, но и она сдалась.

Caution[77]. Соксы должны соблюдать порядок. Гризеры опасны. Они отбитые. Человек, доведенный до нищеты, редко сохраняет человечность.

Она никогда не стучалась, если дверь была заперта на ключ. С праздников уходила раньше: «Я пойду, если ты не против, к Андрюше, Акулину отпущу». Он был не против. Он приходил поздно. Счастливый. Голодный. Она всегда запекала ему курицу с тимьяном и картошкой. Она слышала через стенку, как он разогревает курицу и что-то счастливо напевает. Притворялась, что спит.

— Мама, стрелка уже на двенадцати! — крикнул Андрюша.

Марго закрыла Moleskine, выключила лампу, аккуратно задвинула стул, подняла с пола иппликатор Кузнецова, аккуратно положила в специальный льняной мешочек, вышла из комнаты Мужа. Discrepancy. Несоответствие. В пасть к волку! Сдохни, волк!

---

[77] Примечания: 77
Осторожность (англ.).

* * *

Маргарита Антоновна, в отличие от Гудвина, никогда не опаздывала, приходила за десять минут до урока, широко улыбалась и говорила громко и ясно, не шептала. Аглая не знала, как вести себя на ее уроках, поэтому тоже широко улыбалась и учила все, что бы Маргарита Антоновна ни задавала.

Они начали читать «Изгоев». В оригинале. Первая Аглаина книга на английском. Это оказался тот самый текст про красноволосого мальчика из тестирования на поступлении. Читался текст шершаво, подставляя подножки. Tough. Тиоугх. Произносится как лак для волос. «Тафт». Три погоды. Content. Почему не написать просто happy? И ударение не на месте: контент. Как «тент». Аглая все учила наизусть. И это оказалось несложно. Повторяешь много-много раз, пока текст не пристанет к тебе, как переводилка с «Ну, погоди!». Аглая с Вероничкой за такими в киоск «Союзпечать» бегали. Теплая вода, полотенце — и вот на руке уже Заяц дарит Волку цветы из телевизора. Захочешь — не смоешь. Переводилки въедались в кожу покрепче современных тэту, на веки вечные. Аглая с Вероничкой проверяли. Один раз

весь телевизор ими обклеили. У Бабушки чуть инфаркт не случился. Все лето отмывали, отмыть не могли. И программа «Время», и «АБВГДейка», и «Что? Где? Когда?» три месяца были в павлинах, цветочках и Винни-Пухе. Только Николай Дроздов из «В мире животных» в наклейках выглядел органично, не жаловался, улыбался так же широко. «Хорошо работает наша химическая промышленность», — усмехался Дед, Вероничку с Аглаей не ругал, хвалил за находчивость.

Когда Маргарита Антоновна звонко, задорно, выдвигая вперед пеликанью нижнюю челюсть — у нее как будто было больше рта, чем у обыкновенного человека, — спрашивала на уроке: «Any volunteers?», Аглая всегда поднимала руку, первая и единственная. Полина над ней смеялась: «Да, Аглая, тебе нужно быть поосторожнее, иначе Марго испугается, что ты хочешь занять ее место…» Аглая улыбалась. Могла ли Полина знать? А Маргарита Антоновна? Стоило Аглае встретить Маргариту Антоновну в коридоре, в ней автоматически включался режим сверхвосторженности. Аглая широко улыбалась и смотрела на Маргариту Антоновну с полным обожанием, готовая сделать все, что бы та у нее ни попросила, будто чрезмерная вежливость могла искупить то,

что она спит с ее мужем. Это ведь так называлось. Она спит с ее мужем. «You are now my lover, A. L-o-v-e-r. Lover[78]. — Гудвин проводил большим пальцем по позвоночнику, повторял: — Lover».

Но Маргарита Антоновна ничего не подозревала. Конечно, не подозревала. Иначе она бы так Аглаю не хвалила: «Outstanding effort, honey! You've really gone above and beyond! I'm so impressed and proud!»[79] Ни Ольга Николаевна, ни Вера Валентиновна — никто ее так никогда не хвалил. Аглая краснела, а на следующий урок выучивала отрывок в два раза больше, еще чаще поднимала руку. Считала дни до возвращения Гудвина. Скорее бы, скорее.

Гудвин поймал ее в коридоре. Навис.

— Я привез тебе подарок и… ирисок, А, Honeycomb Toffee — слышала о таких?

Он наклонился к ее уху, убрал волосы. Аглая всегда теперь ходила с распущенными. Ему нравились ее распущенные волосы. И слово «распущенные» тоже Гудвину нравилось.

— Соскучился. Дождись меня после урока. Не

---

[78] Примечания: 78

«Ты моя любовница, А. Л-ю-б-о-в-н-и-ц-а. Любовница» *(англ.).*

[79] Примечания: 79

«Выдающаяся работа, дорогая! Ты действительно превзошла все ожидания! Я так впечатлена и горжусь тобой!» (англ.)

уходи.

Аглая не ушла. Поднялась на второй этаж, достала коричневую распечатку «Изгоев», принялась учить. Ей нравилось набивать рот английскими словами, как летом — спелой, почти черной, лопающейся сладким соком черешней. Нравилось, как они ловко косточками выплевывались с той же интонацией, что у Гудвина, не русской, скрипучей, как ржавые железные качели во дворе — ограничители, на таких высоко не взлетишь, — а с английской — качели аргонавтов в бору, американские горки, раз — мертвая петля, и ты уже висишь вверх головой. Аглае нравилось брать каждое слово по очереди, подносить на свет, рассматривать, что там просвечивает, разламывать, пачкая черешневыми чернилами пальцы, ковырять, изучать, из чего у слова сделана мякоть, тонкая ли кожица, червивое ли. Если в слове корчился, изгибаясь, червяк, никак не хотел вылезать из сладкого ягодного морока, Аглая брала словарь, червяков, зацепив ногтями, по одному вытаскивала. По десять раз прописывала слова, что непонятно как писались — каждое второе в этом языке было словарное. Винни-Пух голосом Леонова утешал: «У меня правильнописание хромает. Оно хорошее, но

почему-то хромает»[80]. Вела неравный бой с произношением: расшифровывала иероглифы транскрипции, долго разжевывала звуки во рту, как травянистый ревень с дачи, который Дед не умел выращивать, а Бабушка не умела готовить, повторяла вслух снова и снова, пока слово не сдавалось, не становилось своим, привычным, сладким, как Бабушкино домашнее варенье. Аглая червяков не боялась. Папа всю жизнь в холодильнике мотыль хранил, да и сладкую черешню поди найди без червяков. Червяки всегда любят самое сладкое. Каждую ягоду черешни Аглая раздавливала по очереди, а потом съедала, всю — и сама становилась черешневой. В начале года червяков в словах было невыносимо много. Аглая боялась, что они ее сожрут, прежде чем она успеет их всех повыдергивать. А потом червивые ягоды стали попадаться все реже и реже. И она уже могла читать книги в оригинале быстрее Полины, ела черешню горстями, жадно, сочно, свободно. Английские слова ей подчинились: стройно, послушно вставали на странице в понятное и ясное. Им нравилось, что Аглая ими управляет. А Аглае нравилось ими управлять.

---

[80] Примечания: 80

Из мультипликационного фильма «Винни-Пух и день забот». Реж. Ф. Хитрук.

Аглая часто сидела одна на фабрике, приходила раньше всех, тетя Света ее пускала. Словари: Оксфордский, Лонгман, Макмиллан — сокровище, такого даже у Костика на рынке не достать. Они с мамой пытались. Аглая на Восьмое марта себе попросила Лонгман. Костик почесал шапку-петушок, улюлюкнул, по буквам записал в клетчатый блокнотик с голой женщиной: Longman Dictionary of Contemporary English, нахмурил рыжие брови, сказал, что поищет, но так пока ничего и не нашел.

— Ой! Ты чего? — Тетя Света хотела выключить свет в холле. Увидела Аглаю, остановилась. — Опять зубришь? Уж все словари, небось, наизусть выучила! Марш домой!

— Я перевожу, у меня дома нет таких, — упрямо ответила Аглая.

— Ну и забрала бы себе. Кто тут их кроме тебя читает?

Аглая посмотрела на тетю Свету так, будто та предложила ей украсть деньги. Тетя Света только вздохнула:

— Шла бы ты домой, Гпашенька. — Тетя Света поджала тонкие губы, поправила пиджак. Он был с рынка, как у мамы, только серый. — И нужно тебе это?

— Нужно, — не сдалась Аглая, уставилась в словарь.

— Ну, не засиживайся… Лучше домой, успеется, Гпашенька, успеется еще. — Тетя Света посмотрела Аглае прямо в глаза так, что обеим стало не по себе, хотела что-то еще сказать, но передумала, только улыбнулась. — Свет выключишь, когда уйдешь.

К семи тридцати фабрика совсем опустела. Гудвин подошел тихо, сел рядом. Кивнул на распечатку «Изгоев»:

— Как тебе? Нравится?

— Никогда такого не читала. Я уже по второму разу. — Аглая посмотрела в окно. Фонарь знобило, свет дергался. Фонарь простудился, ночью опять были заморозки.

— Наизусть выучила? Марго говорила. — Гудвин улыбнулся. Римский нос сморщился от улыбки.

— Я так лучше запоминаю. — Аглая прикрыла распечатку ладонью. Увидит еще, сколько она слов не знает.

— Значит, я по ней скучал, а она тут тексты сидит учит, про меня и думать забыла. Так нечестно, Аглая. Мы так с тобой не договаривались. Мы договаривались… — Гудвин сделал паузу, посмот-

рел на нее: — Что ты будешь по мне скучать. Ты и так в группе лучшая. Я за тобой скоро сам не угонюсь. Будешь ты мне уроки давать. — Гудвин легонько толкнул ее плечом в плечо. Мягкая рубашка. Выцветшая голубая клетка. Мадрас. Как в «Изгоях». Они в понедельник с Маргаритой Антоновной разбирали. Мадрас — индийская ткань, которая сначала попала в Европу, потом — в Америку. Это еще в XVIII веке было. До сих пор очень популярна. Из нее рубашки шьют. — Пойдем. — Он поднялся. — Пойдем ко мне, покажу, что я привез тебе из Лондона. Ты же Уитмена выучила, как я просил? — Он подал ей руку, подтянул и, прежде чем пойти в кабинет, наклонился и поцеловал, легко и щекотно, запахом сигарет и жвачки Wrigley's Peppermint.

* * *

В кабинете пахло краской, стена прямо за столом Гудвина стала темно-синей, цвета мантии французский королей. Повсюду на полу, на стульях стояли ярко-зеленые холщовые сумки со стопками английских книг, новых, только что привезенных из Лондона.

— Меня было не остановить, я вынес половину Waterstones. Будем отчитывать с Маргаритой

Антоновной, выберем вам что-нибудь интересное. Люблю это. Да, точно, подарки! — Гудвин хлопнул себя по карманам джинсов, наклонился, принялся рыться в одной из сумок на полу. — Wait for it…[81] Ага! Вот! — Он протянул Аглае книгу и прозрачный сине-оранжевый пакет, внутри которого виднелись похожие на желтые кусочки пемзы конфетки.

— Honeycomb toffee. Их еще Hokey-pokey называют. Пчелиные соты, с тысячью пузырьков. Держу пари, это самая пористая, воздушная карамель, которую ты когда-либо ела в жизни.

— Спасибо.

Аглая не любила ириски. «Кис-кис», «Золотой ключик» — липкие, жесткие, пока разжуешь, все пломбы повылетают. Она, не отрываясь, смотрела на книгу. Не распечатанная на принтере. Настоящая. Полновесная. Бумажная. С тем самым древесно-ванильным запахом молодой, еще только родившейся плесени. На гладкой черной обложке было написано «The Outsiders», S. E. Hinton, нарисованы четыре белые расчески и одна желтая. Та, что желтая, была в крови. Аглая провела по книге рукой, погладила — шершавая.

---

[81] Примечания: 81
Подожди-ка… *(англ.)*

Ни один Дед Мороз ей такого никогда не дарил.

— С автографом автора, смотри. — Гудвин подошел сзади, открыл на форзаце. — Я специально для тебя искал, мне Марго все уши прожужжала, как ты полкниги уже наизусть выучила. Тебе нравится.

Черная ручка. Широкий, пухлый, небрежный, пульсирующий почерк. S. E. Hinton. T с двумя черточками вместо одной. И надпись: «Stay Gold! I hope you enjoy the book!»[82]

Нравится. Гудвин говорит утвердительно, за нее. Улыбается.

— Помнишь Роберта Фроста? Nature's first green is gold, her hardest hue to hold. Her early leafs a flower; but only so an hour. — Голос у Гудвина тихий, ясный, как первый безголосый час после сильного снегопада. — Then leaf subsides to leaf. So Eden sank to grief, So dawn goes down to day. Nothing gold can stay.

— Спасибо.

— Я очень скучал по тебе, Аглая. — Он берет книгу из ее рук, кладет на стол. Он разворачивает Аглаю к себе, нюхает справа от носа, она пахнет медом, слева от носа — медом. Нюхает сначала

---

[82] Примечания: 82

«Вечное золото есть! Надеюсь, книга тебе понравится!» (англ.)

медленно и нежно, а потом быстро и нервно, как собака, которой хочется успеть найти кость, пока хозяин не утянул удавкой домой. Он не целует ее. Он спотыкается о нее губами, носом, запахом Wrigley's Peppermint, Camel, медовых сотовых ирисок. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Слепо и близко. — Я очень скучал, Аглая.

Он очень скучал. Скучание выпукло, телесно, твердо. Скучать, срывать, сытить. Все рифма. Все анжамбеман. Нарушение границ. Одна строчка наваливается на другую. Без спроса. Опять и опять застает врасплох. Он подталкивает ее к столу. Любимым жестом укрощения убирает за уши волосы, локон за локоном. Смотреть. Молчать. Дышать. Кто-то словно упирается одним сжатым кулаком ей в живот, вторым — давит снизу вверх. Учиться дышать. Не задерживать дыхание.

— Умница, Аглая. Хорошо. Мы же научимся с тобой любить друг друга. Ты же хочешь научиться? Ты же у меня отличница. Ты выучишь все наизусть, слово в слово. Ты у меня первая. Буква «А» всегда первая. И в русском, и в английском, везде, впереди тебя — никого. My A-girl.

Сглотнуть. Быть первой. Учить, пока не запомнишь. Учить, пока не перепачкаешь черешневыми чернилами пальцы, рот, нижнее белье,

вообще всю одежду. Учить, пока не вытащишь всех червяков по одному. Учить, пока не поймешь, как это, что это, зачем. Учить, пока кулак снизу не перестанет давить. Он разворачивает ее лицом к столу. Он больше не говорит. Он что-то делает. Вкл. Выкл. Когда телевизор не работает, Дед дает ему крепкую затрещину по деревянной щеке. Телевизор ойкает. Вкл. Распечатка. W. Witman. O Captain! My Captain! Тело хочет зажмуриться. Выключиться. Не быть. Не разрешать. Заставить смотреть. Чувствовать. Солнце всегда просвечивает даже самую черную от сока ягоду. На распечатке желтый маркер. Our fearful trip is done. Ей повезло. Она уже учила это наизусть. Маргарита Антоновна улыбалась белыми зубами, хвалила. «Outstanding effort! А-Гла-Е». Маргарита Антоновна, как Гудвин, забрала ее имя себе, поднесла на свет, как Аглая — черешню, прищурилась, у всех на глазах разрезала по слогам: «А-Гла-Е». Кулак давит сильнее. Что-то давно сломалось внутри нее, застряло, не вытряхивается. Пластиковое и бракованное. Кукла. Советская. Не Барби. «Читай, А-Гла-Е.Читай наизусть! — Маргарита Антоновна обводит всех своими идеально белыми зубами — Все слушайте, как нужно готовиться к урокам!» И Аглая читает. По памяти.

С выражением. На оценку. O Captain! My Captain! Вкл. Выкл. «Нужно носить гольфы, Аглая. Зачем ты прячешь свои красивые ноги?» Blue madras. Сглотнуть. Это другой текст. К другому уроку. «Очень красивые у тебя ноги!» Our fearful trip is done… Пассив. Настоящее. Простое. Время. Третья форма глагола. Мощная, категоричная, бьющая в гонг. Done. Done. Done. Our fearful trip is done… The prize we sought is won. Done. Won. Рифма. Сделала — выиграла. Такая ей досталась рифма. Вкл. Выкл. The port is near… Порт близок, а она надела колготки. Зачем она надела колготки? Ей нужно носить гольфы. Март. Холодно еще. Но нужно носить гольфы. The bells I hear… Собака, которую душит ошейник, дышит глубоко и шумно. Собака уже учуяла в кустах кость. Люди жалеют бездомных собак. Люди выбрасывают из окон кости. Но хозяин все видит. Он не пускает собаку дотянуться до кости. People. Exulting. Какое неприятное слово. Exulting. Тыкающее. Жалящее. А значит «радость». Чему они радуются? Grim and daring. Мрачно. Дерзко. Она что-то пропустила, ей не поставят отлично. Но и Уитмен пропустил, Уитмен выкидывает мешающие ему слова. Строчки его маршируют, как солдаты. Стройно. Громко. Отбивая сапогами с железными набойками ритм. Та.

ДАМ. Та. ДАМ. Та. ДАМ. А потом подходят к мосту, и Уитмен командует: «Вольно!» Ритм сбивается. O heart! heart! heart! ДАМ. ДАМ. ДАМ. «Если ты не хочешь, Аглая, просто скажи. Но как же я по тебе соскучился». Как же он по ней соскучился. Щекам холодно, а потом жарко. Щекам жарко, а потом холодно. Градусник сломался. Сердце сбоит, останавливается. Вкл. Выкл. O heart! heart! heart! Молчать. Дышать. Сглатывать. Дубасить телевизор. Звать на помощь. Вкл. Вкл. Вкл. Выкл. Сердце запускается. Бьется. Беспорядочно. Больно. Как голубь. O the bleeding drops of red. Бабушка ушла хоронить брата, дядю Леню. Все ушли: Дед, тетя Зоя, мама, папа. Аглая осталась дома одна, совсем одна, настолько одна она никогда еще не оставалась. В доме всегда много народу, сейчас никого. Аглая сидит на Бабушкином диване, ждет, боится. Вдруг они не вернутся. Вдруг придет бабайка и съест ее. Смотрит на часы. Where on the deck my Captain lies… Слышит страшный звук. Страшный звук. С кухни. Fallen cold and dead. На кухне не бабайка, голубь. Голубь бьется о стекло. Не может вылететь. Голуби — глупые птицы. O Captain! My Captain! Голубь бьется всем телом: крыльями, грудью, головой. Стекло отпихивает его от себя, а он несется обратно. Звон. Голуби

— глупые птицы. Удар. Еще удар. Rise up. Стекло звенит, и звон этот наполняет все ее тело, звенит в ней. Hear the bells. Лежать. Выполнять команды. Быть послушной собакой. Голубь бьется за свободу на смерть, а собака подчиняется. Собака умрет за свою несвободу. For you the flag is flung. Чувствовать запах хозяина. Угадывать. Не тянуть. Не сопротивляться. Нести в подарок цветы. For you bouquets and ribbon'd wreaths. Она принесла ему цветы. Он любит цветы. Повторять. Вытаскивать червяков из черешни. Не задыхаться. Отвечать на отлично. Радовать, всегда радовать. Their eager faces turning. Звук. Железный, зубчатый, надменный. Дернуться. This arm beneath your head. Тихо, тихо, малышка-брауни. Лежи спокойно. It is some dream. Лежать спокойно. Слушать. Видеть сны. You've fallen cold and dead. Слушать, как щелкает ткань. Как он чмокает, будто пьет чай из блюдца. Еще слишком горячий. От такого горячего чая немеет нёбо. Сглатывать, быть смелой, дышать. My Captain does not answer. Она переврала весь текст. Стыдно. Как невыносимо стыдно. О стыд. Мой стыд! Стыд — безвременье, бездонная бочка с дегтем. Стыд и есть деготь. Ты хлебаешь его, стоя перед учителем, забыв слова, и сама становишься дегтем, черным и липким. Pale and still. Голубь

бьется и бьется, так сильно бьется в стекло. Аглая смотрит на птицу в ужасе. Неужели голубь не видит, что там стекло? Крылья. Грудь. Голова. Писк. «Голуби — глупые птицы, — говорит папа. — Самые глупые птицы, что я видел». My father does not feel my arm, he has no pulse nor will. Ей некого звать. У нее нет ни пульса, ни силы воли. Она же сама этого хотела. The ship is anchor'd. Апостроф заглатывает букву, сжирает. Во рту остается соленый вкус. Не кричать. Аглая хватает Бабушкино полотенце. Its voyage closed and done! Залезает на стол, закрывает глаза. Done. Done. Done. Аглая выпихивает глупого голубя в окно, спасает. А потом садится в Дедово кресло и молча смотрит перед собой. Задыхаться, дернуться, замереть. Its voyage closed and done. Done. Done. Done. Ее находит Бабушка. Бабушка говорит, что голуби умные, ой какие умные птицы. А о стекло и люди разбиваются.

Аглая не чувствует свое тело. Бабушка не придет. Никто не придет. Аглая не чувствует свое тело, будто кто-то укрыл его старым тяжелым дедовским ватным одеялом. Одеяло засунули в реку прополоскать, а потом не справились, просушить не сумели. Одеяло выпило реку, забрало всю тяжесть воды, весь вес реки, остыло, запрело, вы-

растило в своем ватном желудке пухлую плесень. Из-под него уже не выбраться. Гудвин чавкает ей прямо в левое ухо, допивает чай — остыл наконец. Он ворошит носом волосы, сам разоряет то, что так крепко собирал и удерживал. Рубашка, Мадрас, выцветшая голубая клетка. «Thank you, A! Thank you!» Белые ровные зубы Маргариты Антоновны. «Это отлично! Выдающиеся усилия!» «Я так скучал, Аглая». Собака догрызает кость.

Своего запаха больше нет. Вот и все. Она больше ничем не пахнет. Nothing gold can stay.

Он велит ей встать. Она встает. Victor ship. У нее кружится голова. «Мы будем так счастливы, А». Маргарита Антоновна разрезала ее имя на три слога, Гудвин сократил до одной буквы, отбросил все ненужное. «Я это чувствую, малютка-браун-ни. Ты невероятная». Белые зубы. Это отлично. Выдающиеся усилия. Это отлично. Выдающиеся усилия. Ноги подкашиваются — будто кто-то возвращает ей одолженное на время тело. Как Петька возвращает одолженную на урок ручку: «Эй, Аглая, лови!» Она не умеет ловить ручку, которую Петька кидает с другого конца класса. Она боится, когда Петька кричит ей: «Аглая, лови!» Гудвин умеет. Он ловит, ловко, ласково, легко. Ловит ее тело за нее. Она не падает. Он ее держит,

поднимает, трясет: «Ты меня слышишь, Аглая? Ты умница. Умница». Exult, O shores, and ring, O bells! Она смотрит вверх, на Гудвина. Она всегда смотрит на него снизу вверх. Гудвин — великий и ужасный, его никто никогда не видел без очков с изумрудными стеклами. А она видит. Она особенная. Она что-то хочет сказать, только вот что? Ей никто не кинул обратно слова. Не вернул. Да если бы и кинул, она бы опять не поймала. Не нужно кидать. Пожалуйста, не нужно кидать. Аглая зажмуривается. But I. Они одеваются. With mournful tread. Они идут к выходу, говорят о Уитмене, о Фросте, о Хинтон. Walk the deck. Он говорит. My Captain lies. Спрашивает, как она понимает Уитмена, просит дома перевести на русский O Captain! My Captain. «Есть перевод Чуковского. Но он поразительно приторный, в нем нет… — Он задумывается. — В нем нет мощи, жизни, понимаешь? Мы переведем заново, вместе. Мы сравним переводы, да?» Да. Они сравнят переводы. Он вручает ей распечатку, книгу и леденцы: «Не забудь». Он обнимает ее, целует в макушку. Ему пора. Маргарита Антоновна ждет. Он к ней даже не успел зайти поздороваться. Маргарита Антоновна очень хвалила ее по телефону: «Аглая, ты наша гордость! Моя гордость! My A-girl!»

Дверь фабрики железная, тяжелая, как в пельменной, только без панталон. Дверь громко хлопает, будто кто-то выстрелил в живое сердце Железного Дровосека. Бах! Дровосек повержен и больше не жив. Он теперь просто железо. Фонарный желтый свет перед входом без конца вздрагивает, никак не справится с дрожью. Бабушка растерла бы его змеиным ядом, укутала в свой белый пуховый платок — сахарную вату, надела бы на него шерстяные носки и напоила бы чаем с малиновым вареньем. Аглая закрывает глаза. Белые зубы Маргариты Антоновны улыбаются ей. Они занимают половину лица Маргариты Антоновны. У Маргариты Антоновны очень большой, пеликаний рот, когда она улыбается. В нем много белых зубов. «Go on, A-Glay-Ye! Show them how it's done!» Она кивает и показывает им, как это делается. O Captain! My Captain! Выученного текста ей почти хватает до дома.

* * *

«Давай полежим», — говорит Гудвин. И они лежат. Она — солдатиком. Руки по швам. Он — полусидя на подушке, согнув правую ногу в колене. Они на физкультуре так суставы разрабатывают. Он курит сигарету за сигаретой. Camel. Непра-

вильный верблюд. «Сегодня было получше. Нет?» Она молча смотрит на него. «Ну что ты никогда ничего не говоришь?» Она ничего не говорит, потому что боится. Боится, что он узнает: она дефектная и у нее в теле отломанные застрявшие пластиковые части. «Ты слишком напряжена всегда. Секс — это про расслабление, малышка-брауни, про внутреннюю свободу, понимаешь? Нельзя, чтобы они залезли тебе в голову, в тело, ты должна научиться блокировать их. Вот Уитмен был свободен. Мне понравилось, как ты перевела первые две строчки! „О Капитан! Мой Капитан! Закончен страшный путь, / Корабль все дыбы превозмог…" Вот это очень хорошо, гениально, А! Дальше — плохо. „Трофеи выбрал Бог"? Это самодеятельность. Подумай еще. Ты гораздо способнее остальных. И я таких заданий не даю, она не потянет, зато… — Он улыбается и прерывает фразу. — Ты знаешь, отсюда, — он вытягивает вперед руку, — вон там, видны Полинины окна. — Он улыбается, обнимает Аглаю, целует в две макушки. — Сейчас я расскажу тебе сказку, А. Только укрою сначала. Ты замерзла вся. Вот так, смотри, я соберу все твои мурашки, одна, две, сразу сто! Спрячу их у себя. — Он укрывает ее одеялом в мятом пододеяльнике, прикладывает

ладонь к груди, туда, где римляне носили луковицу гладиолуса, амулет от сердечных ран. — И расскажу тебе сказку. Про пчел. Про улей. Про матку. Про шершней. Почему ты смотришь так удивленно? Да, на улей иногда нападают шершни».

Глава девятая
Шершни

Глаза пса смотрели на проходящих людей пусто, слепо, сквозь. Жить на вокзале значило наблюдать человеческую комедию каждый день, ничему не удивляться. Сумки. Чемоданы. Угрюмая усталость. Два часа в день в одну сторону. Два часа — в другую. Людям на вокзале было не до жизни, тем более не до собак. Особенно таких, как он. Дворняжка, скрещение одной бездомности с другой. Когда-то палево-рыжий окрас — сейчас серо-буро-черный. Времена года наросли грязью на шерсти, как кольца на деревьях. Кто их считает? Молодой еще, но давно не щенок. Его обходили стороной, как люди обходят стороной все, что не вписывается в их картину мира. И ты с этим ничего не поделаешь. Если человек решил жить в мире без бездомных собак, он живет в мире без бездомных собак.

Но пес не жаловался. У пса был Пирогов, дежурный по станции. Пирогов жил в мире, где бездомные собаки как раз были. В мире Пирогова не было женщин. Женщин Пирогов одновременно

презирал и боялся. «Зря баб из изб выпустили», — говорил Пирогов псу, грызя колбасные сухарики «Три корочки». Пес мизогинную повестку Пирогова поддерживал, вилял хвостом, получал в качестве поощрения партийной лояльности угощение. Баб обратно в избы, псу — сухарик.

Пирогов редко причесывался и еще реже брился. Забывал. «Чего ты ко мне пристала? У меня другие приоритеты, Галина!» — парировал Пирогов билетчице, отчитывающей его за прореженную клоками — то ли случайно, то ли нарочно, сказать сложно — бороду. Зато Пирогов не забывал кормить пса. Три раза в день. Все по-честному, брателло. Бутерброды с ливерной или докторской колбасой на завтрак. Шаурма или беляши на обед. Сухарики в полдник. Гречка с тушенкой на ужин. Два дня через два. Пирогов дежурил сменами.

Пес любил Пирогова какой-то мерцающей любовью, отстраненной. Пес ничто в жизни не воспринимал как должное. Ни к кому не привязывался. Да и Пирогов сразу четко обозначил правила: «Не смей за мной ходить. Кормить я тебя буду по-братски, пополам, но домой не возьму. У меня бабка померла, от нее кот остался, нервный очень, ему волноваться нельзя». Пес за

Пироговым не ходил. Жил два через два. Когда у Пирогова были выходные, пес рыскал по мусоркам, подъедался в шаурмичной и беляшной. Ложился обратно на место, к пироговской будке, ждал.

Второй выходной Пирогова всегда тянулся дольше первого. Пес со вчерашнего утра ничего не ел. Асфальт, пыльный от снега, выглядел так, будто строители штукатурку просыпали. Штукатурка на вокзале отваливалась каждый год, аккурат к марту. Ночью вокзал запорошило, цвету снега был какой-то тоскливый, серо-белый. Как у жизни. От голода урчал живот. Пес лежал, положив лохматую голову на передние лапы. Точь-в-точь ждущая Пирогова Аленушка на репродукции Васнецова в пироговской будке. Пирогов уважал Васнецова: «Нравится, и все тут. Душевный он художник, ох душевный! До мозга костей наш, русский!» Пирогов завесил Васнецовым всю будку: «Богатыри», «Витязь на распутье», «Иван Царевич на Сером волке». Васнецов хорошо рисовал волков и людские глаза, напряженные, тревожные, злые. Людьми, как и собаками, в жизни движут только две силы: они все делают либо из любви, либо из страха. Васнецовские люди все как один чего-то боялись. Пес

нюхал пыльный холодный снег, убеждал себя, что спит. Но это был не сон, а забытье, межпи-роговье его собачьей жизни.

— Ты голодный?

Запах был чужой, не пироговский. Пес не открыл глаза. Он ни с кем, кроме Пирогова, не общался. Его поэтому и в шаурмичной кормили плохо. Дефектный пес какой-то, не погладить, не почувствовать себя рядом с ним Наполеоном — к такому не привяжешься.

Запах был даже не мужской — девчачий, сладкий. Красные ягоды, только что сорванная мята, смородиновый лист. Пес хорошо знал огородные запахи. Почти год прожил в дачном поселке. Один. Пока его там не нашел Пирогов, не перевез на вокзал в будку с Аленушкой. В непироговском запахе были еще запахи шерсти и теста, но не масляного и хрустящего, как в беляшах, а дрожжевого, пузырчатого, мягкого. Заурчал живот. Пес вздохнул. Рядом с носом приземлилась сумка. Болоневая. Такая была у Танюши.

В ней Танюша притаскивала домой кисловато пахнущий воск. Лила разноцветные свечи на продажу.

— Эй, ты спишь? Пирожок с мясом будешь?

Пес сглотнул слюну. Уши самовольно дер-

нулись, встали стойкой. Целлофан. Бумага. Пирожковый запах приземлился прямо перед носом. Глаза все-таки открылись. Пес, не отрывая головы от лап, закатил глаза, посмотрел вверх. Девочка. Щенок-подросток.

— С мясом. — Девочка подпихнула пирожок вплотную к ноздрям.

Что он, сам не чует, что ли, что пирожок с мясом? Чего эта пигалица ему объясняет? Из-под красной шапки девочки выбивались длинные пушистые рыжеватые волосы, чуть темнее его шерсти, когда та чистая. Нос усиленно втягивал запах мяса, выбивающийся из-под мягкого теста. Свинина. Говядина. Говядины раза в два больше. Лук. Перец. Пес прикидывал, можно ли съесть пирожок. Или лучше не гневить собачьего бога, с чужих рук не брать.

— Ешь! Ты чего?! — сильным голосом велела девочка, присев на корточки прямо перед его мордой.

У людей голос либо сильный, и ты его слушаешься, либо слабый — такому подчиняться необязательно. У девочки был сильный. Но самое удивительное было не это. Девочка так пахла… Лучше пирожка с мясом. Пес опустил глаза, усилием воли запретил себе девочку внюхивать.

Еще вытеснит любимый пироговский запах.

Девочка вытянула руку в мягкой красной варежке, хотела погладить, но до шерсти пса не дотронулась, остановилась. Варежка с секунду повисела над холкой, а потом спряталась обратно на коленки.

— Ешь! Бабушка пекла! У меня целый пакет в дорогу!

Пес поднял морду с лап. Слюней во рту было так много, а пирожок пах так дико, что пес не выдержал, была не была, сдался. Он огляделся, нет ли поблизости Пирогова, высунул язык и быстро пирожок слизнул. Сглотнув вкусные слюни, он посмотрел на девочку. Еще есть? Девочка заулыбалась, зашуршала бумажным пакетом, вывалила из него все пирожки разом. Пирожков оказалось четыре и еще один. Пес хорошо считал до четырех. Девочка задумалась. Один пирожок, тот, что лежал сверху, не коснулся асфальта, взяла обратно:

— Один себе оставлю. Остальное ты ешь! Тебя как зовут?

Пес смотрел на девочку. Она, как все бабыдуры, задававала бессмысленные вопросы. Но девочка, как и он, умела считать до четырех и вкусно пахла. И пирожки пахли. Пес сделал усилие, чтобы

девочку не запомнить. Но он запомнил. Курносая, оленье-глазая, с ямочкой на правой щеке. С одной. У Танюши было две. У Пирогова вообще ямочек не было.

Пес тряхнул мордой, принялся за пирожки. На этот раз решил не торопиться, разжевывал. Пирогов не в смену точно не выйдет. Небось, лежит на диване сейчас со своим нервным котом, телевизор смотрит, громко гогочет. Пирогов любил «Городок», причмокивая, пересказывал псу юмористические скетчи Стоянова и Олейникова. Сбивчиво и несмешно, но псу было все равно, что именно говорит Пирогов, он просто любил слышать рядом его голос. Фарш внутри пирожков был вареный, прокрученный через мясорубку. Когда-то такой был в макаронах по-флотски. Вкус домашней жизни.

— Какой ты смешной!

Девочка опять хотела его погладить, но пес ее остановил, зарычал животом. Не трогай. За пирожки спасибо, но гладиться только Пирогову дамся. Девочка вскочила. Но, похоже, не испугалась. Ее кто-то позвал. Голос был мужской, глубокий, сильный.

— Аглая, сюда! — Около ларька с шаурмой стоял, махая мускулистой рукой, мужчина. Из

тех, что живут в мире без бездомных собак. Антипирогов. Высокий, широкоплечий, гладко выбритый, ни одного пореза. От антипирогова доносился сложносочиненный запах сигарет, контроля и чистой одежды, отглаженных до манжет рубашек.

Девочка отряхнула варежки, быстро схватила сумку и побежала к ларьку с шаурмой.

Пес дожевал последний пирожок, положил голову обратно на лапы и закрыл глаза. В животе было полно и тепло. Пес чуял, как запах девочки удаляется от него. Дача, пирожки, трепет.

Заморосил, сбивая с асфальта снежную пыль, дождь, рассеял запахи и девочки, и антипирогова. Пес поблагодарил собачьего бога за обед и приказал себе заснуть до завтра. Завтра у него будет бутерброд с ливерной колбасой на завтрак, беляш на обед, сухарики на полдник, гречка с тушенкой на ужин и свой хозяин, взятый на два дня напрокат у бабкиного нервного кота, которому нельзя волноваться.

* * *

Аглая сидела на нижней полке купе. Гудвин ехал в соседнем. С Гошей и другими мальчишками. В окне поезда мелькали спешащие по

платформе люди, навозные жуки, толкающие вперед свои чемоданы. Аглая вспомнила пса на вокзале — и как хотелось его погладить, и как, когда она занесла уже руку, в голове заговорила тетя Зоя: «Чумка. Бешенство. Глисты. Не смейте трогать этих шелудивых собак и кошек на улице». От любого контакта с бездомными животными, если верить тете Зое, смерть наступала мучительно и мгновенно. У пса в глазах было прогорклое одиночество. Аглая знала это чувство. Мультфильм «Варежка». Изощренное советское орудие пытки. Девочка. Варежка. Воображаемая собака. Страшнее мультфильма в Советском Союзе не сняли. Даже дурацкие кукольные были намного лучше. Может, пес на вокзале ей привиделся?

— Ну что, снегурочки мои? Как устроились? — Проводник, ежеподобный пахнущий шпротами пятидесятилетний мужчина, ни с какого бока на Деда Мороза не похожий, облизнул масляные губы. — Чай пить будете?

— Не будем. — Машка, кругленькая девочка-тыква с копной светлых кудрявых волос, высунула голову с верхней полки.

— Никто, что ли, не будет? — Проводник надул масляные губы. — Вы что, снегурочки мои? Растаять боитесь? С сахарочком! Горяченький! Ой

хорошо. И баиньки! — Он шлепнул на стол перед Аглаей стопку серого влажного белья в пятнах — то ли зассанного, то ли залитого проводниковым горяченьким чаем с сахарочком. От белья исходил сырой подвальный запах.

— Да ладно, давайте попьем, — отозвалась, жуя жвачку, Лиза, долговязая девочка из параллельной группы. — Чего вы? Несите ваш чай!

Проводник Лизиным словам обрадовался:

— Вот, другое дело, снегурочки! Бельишко дораз-дам и с чайком к вам прибуду!

— Маньяк какой-то, — прокомментировала Машка, спрыгнув вниз, когда проводник защелкнул дверь купе. — Еще подмешает нам наркотиков и изнасилует! Вы «Дикое поле» смотрите? Там этот мужик, как его, в черном кожаном пиджаке, ну этот, с челкой, такое рассказывает! Уф-ф-ф! — Машка вздрогнула. — Надо дверь на ночь запереть.

— Какие маньяки? Я постоянно чай пью, когда к папе езжу. — Полина спокойно заправляла белье. У нее тоже была нижняя полка, напротив Аглаи.

— Спокойно она ездит! Там даже людоедов показывали! Может, он людоед?! Вы видели его губы? — не унималась Машка.

— Кончай страх наводить, и без тебя тош-

но. — Лиза спрыгнула, вынула изо рта жвачку, приклеила на стенку возле двери, села на полку к Полине. — Давайте лучше стихи повторим. Конкурс завтра.

— As soon as wolf began to feel… — тут же задекламировала вмиг забывшая про людоедов Машка. Глаза ее засверкали.

Гудвин называл Машку не Машка, а Мэри, как лермонтовскую княжну. Самая артистичная в группе. Машке жутко повезло. Гудвин на конкурс дал ей учить «Красную Шапочку» Роальда Даля. Единственное смешное стихотворение, в котором Красная Шапочка убивает волка из пистолета, а потом щеголяет по лесу в волчьей шубе. Машка, прищурившись, дула на воображаемый срез ствола и, накинув на шею отодранный от материнского пальто лисий хвост, уходила со сцены так виляя своей тыквенной задницей, что от смеха даже Парамонов прыскал.

Аглае достался Уитман. На смерть какого-то дурацкого президента. «Пустошь» Элиота, свое любимое, Гудвин отдал Полине. Конечно, Полине, кому еще? Лиза читала «Если» Киплинга.

— Чаечек, снегурочки! — Еж-проводник распахнул дверь купе, зазвякал железными подстаканниками. — Сахарочек! Если что еще понадобится,

я рядышком. Мне вас охранять велели!

— Это кто это вам нас охранять велел? — Машка плюхнулась рядом с Аглаей, заняла три четверти полки. Какая же Машка толстая!

Аглая вжалась в угол, поближе к окну. Нижняя полка — полный провал. Никакого личного пространства. Зря радовалась. Машка теперь тут засядет на всю ночь со своими людоедами, не сгонишь.

— Кто надо, тот и велел, снегурочки! Спокойной ноченьки! — Проводник подмигнул и вышел.

— Точно маньяк, — резюмировала Машка, подняла пистолетом указательный и большой пальцы, направила на дверь купе, выстрелила. Пиф! Прищурилась и подула на воображаемый срез ствола. Паф!

* * *

Из окна дуло. Аглая, завернувшись в одеяло, как в кокон, лежала лицом к стенке. Полина смотрела на нее не отрываясь, встык. Аглая чувствовала ее взгляд спиной. Не такая уж она и красавица. Не красивее нее. И уж точно не умнее. Первое впечатление обманчиво. Только произношение у Полины, конечно, королевское. Только живет она рядом с Гудвином. Только Гудвин зачем-то

смотрит в ее окна из своих. Только... Аглая зажмурилась.

Машка чмокала во сне. Наконец угомонилась. Закончила моноспектакль самолюбования. Тоже мне Царевна-Лебедь, слопавшая кашалота! Лиза давно спала, самая первая на полку к себе залезла. Машка ее раздражала.

— Ты спишь? — прошептала Полина.

Аглая не пошевелилась.

— Аглая...

Колеса стучали по рельсам. Туп-туп. Туп-туп. Туп-туп. Вагон мерно, как люлька, покачивался. Туп-туп. Туп-туп. Туп-туп. Стену забрызгивал мелькающий холодный белый свет железнодорожных фонарей. Не рыбий жир. Аскорбинка. Туп-туп. Туп-туп. Туп-туп. Из тамбура доносился масляный голос проводника, слышались шаги, голос Гудвина. Гудвин с кем-то разговаривал. Не спал. Туп-туп. Туп-туп. Туп-туп. Ложусь на новом месте, вдруг вспомнила Аглая. Туп-туп. Туп-туп. Туп-туп. Вторую часть про жениха сказать не успела, уснула. Во сне жужжал улей. Пели пчелы. Весна пришла. Улей из омшаника на пасеку вынесли.

* * *

Жужжит улей. Поет. Весну празднует. Радостно пчелкам из омшаника на пасеку весной вылетать.

Четыре разнодеревенных ящика один на другом. Липа. Ива. Тополь. Ель. Пчельник молодой совсем. Не смог выбрать, какое дерево лучше, решил все, что было, в дело пустить, все опробовать.

Улей-удав.

На нижнем самом темном тополином ящике над ртом-прорезью ползают пчелы. Брюшками дергают. Танцы танцуют.

Улей с Аглаю ростом. Могли бы еще сверху ящик поставить, да не поставили.

Свадебное платье на Аглае выше колен. Простое. Красивое. Рукава длинные. Юбка короткая. Горловина расшита прозрачным бисером. У мамы такое было. Венок. Фата торчит юбкой-полусолнцем, плеч касается. До пят фата хотела вырасти, да сил не хватило.

Аглая наклоняется.

Улей затихает, пчелки заползают внутрь, прячутся, замирают, прислушиваются. Девочка говорить с ними будет.

Аглая кивает, говорит:

Малютки-брауни,
птички божьи,
али в небе
вы нынче гуляете,
али в тереме своем
деток растите.
На меня поглядите,
малютки-брауни,
меня послушайте!

Песен своих
вы сейчас не пойте.
Не летайте
к ведуну-дедушке!
Съест он вас,
не подавится.
А вот гостей созывайте,
танцы танцуйте,
сыграем свадебку.
Невестой заснула я,
женою проснулась.
Колечко на пальце.

Тоска в сердце.
Говорить мне
о колечке не велено
ни старцу, ни архангелу.
Только вам и поведаю,
нашепчу всю правду пугливую.

Малютки-брауни,
птички божьи,
от лошадки болотистой
отроились вы,
невод стал вам первыми сотами.
Так и я из него народилася,
зацвела цветами ослиными,
цвета желтого,
непонятного.

Кабы жить мне с суженым
в вашем тереме,
кабы играться нам с ним,
как белорыбица с водою играется,
то не виться бы тоске моей
ласточкой.

Не биться горлицею
о слюду оконную,
не сбивать бы себе крылышки.

Реки текут
слезами горючими.
Вы медок в слезах разведите,
веки суженого
пергой присыпьте.
Буду ходить к вам по полюшку.
Навещать вас, заботиться.
Колечко подвенечное вам показывать,
ласточкиному богу молиться.

Благословите,
малютки-брауни.
Птички божьи.
Замуж я вышла,
сердечко запрятала.

Пчелки слушают девочку, слова друг другу перешептывают. За-муж-ж-ж. За-муж-ж-ж. За-а-а. М-у-у-у-ж-ж-ж. Девочка за-муж-ж-ж вышла. За-муж-ж-ж. За-муж-ж-ж. За-а-а. М-у-у-у-ж-ж-ж. Эхо ласкает тело матки. Не выкрасть ее рыболову. Не

съесть ее ему от больной головушки. Тело пчелиной матки вздрагивает судорогой. Еще одна пчелка. Еще одна девочка. О жизнь ужалилась. Обожглася. Пчелок о колечке предупреждает. Правила соблюдает. Не предупредишь о свадебке — пчелки обидятся, улетят навсегда с пасеки. Не воротятся. Опустеет улей, не зажужжит больше песнями, не загудит работой медовою. Благословляю тебя, деточка. Лети с боженькой. Колечко береги, никому не показывай, только пчелкам и матке новоизбранной. Коль меня убьют, ты останешься.

Аглая поднимается. Улей жужжит. Малютки-брауни ее выслушали, благословили, суженому глаза соленым медом замазали, пергой присыпали.

Аглая смотрит вокруг.

Поле.

Кто-то пышно лиловой краской горизонт красит. Только спину его видно широкую. Закат собирается.

Туфельки! Босые ноги на траве стоят. Траву приминают. Труп в прошлом году в саду закопали. В этом пророс он. На будущий год зацветет. Апрель уже. Месяц ангельский.

На земле, у улья, кусок пирога.

Великан. На полголовы выше дяди Валеры. Дядя Валера космонавтом мечтал быть. Его из-за роста не взяли. На два сантиметра выше положенного. Хоть макушку себе отрубай.

Великан. Одет просто. Рабочая кепка. Изношенная. Рабочий комбинезон. Изношенный. Рабочая рубаха. Изношенная. Сапоги. Грязью заляпаны. Уши круглые, торчат в разные стороны. Великана все детство за уши отец таскал, вытягивал, чтобы сыночек вырос скоренько, скоренько зарабатывать стал. Глаза у великана тугие, непроницаемые, пчелиные.

В глазах его покойник отражается. На столе покойник лежит. Мертвый совсем. Мерзнет. На груди покойника миска деревянная. Тесто холодом мертвецким расстаивается. Поминальный пирог испекли из теста этого. Вот и пчелам принесли поминальный пирог в угощение, знают правила.

Великан берет кусок поминального пирога, открывает свой великанский рот, круглый, как уши его. Откусывает. Вопит, громко, яростно. А-а-а! А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а! Пожирает грехи покойника. Умер кто? Кто умер? Великан рыгает. Достает из кармана штанов металлическую фляжку, запивает грехи сытой, на меду из это-

го самого улья настоянной. Снова откусывает. Вопит. Пьет. Рыгает. Откусывает. Вопит. Пьет. Рыгает. Последний кусок пирога. Последний грех хрипом из великана выходит, глухим, пожухлым. Покойник очистился. Великан все грехи его поглотил, не подавился.

Великан закрывает круглый рот, протягивает Аглае руку. Оплату ждет. Аглая трогает платье свое подвенечное — нет у нее ничего. Ни полушки. Ни рубля. Ни копеечки. Лицо великана пусто. Он свое дело сделал, Аглая заплатить должна. Больше некому. Стыдно Аглае. Ой как стыдно! Щеки жгутся. Как когда она маленькая за занавеской стояла пряталась, гусеницу из ведерка схватила и съела, думала, что огурчик это. Великан не отступается, на Аглаину правую руку кивает. Кольцо обручальное в оплату требует. Аглая руку отдергивает. Не отдам колечко свое. Не сговорю тебе, кто подарил его.

Улей притаился, затих. К спору прислушивается.

Аглая смотрит на улей.

Защитите меня, малютки-брауни.

Не мой это покойник.

Не должна я за грехи его плату платить.

Пчелы молчат. Поминальные пироги просто

так к ульям не приносятся. Чему суждено быть, то и сбудется.

Великан хватает Аглаину ладонь, вверх выворачивает, крепко держит за запястье, будто хочет ей запястье ножом отрезать, старухе на смену продать. Аглая дергает руку. Бесполезно. Великан сильнее ее. Крепко держит. Улыбается. Колечко обручальное с пальца срывает, прячет в карман нагрудный. Не нужна мне рука твоя костлявая. Забрал, что причитается. А чужого мне не надобно.

Аглая трет запястье.

Что же это? Потеряла я колечко, малютки-брауни. Почему от шершня не защитили улей? Почему бросили?

Пчелки молчат. Что деточке ответить, не знают. Нескладно вышло. Свадебка и покойничек.

Скажите что-нибудь, малютки-брауни!

Ответьте мне!

Аглая бьет кулаком по крышке улья.

Тишина.

Бьет еще раз.

Тишина.

Снимает крышку.

Улей пуст.

Улетели пчелки с пасеки.

Колечко унесли новой девочке.
Холодно пчелкам здесь.
И Аглае холодно. Дует откуда-то.
Ноги небосые мерзнут, студятся.

* * *

Аглая замерзла. Дуло не только из окна, но и из-за двери. Голова гудела. Хотелось поскорее из сна выбраться, стряхнуть его с себя. Не получалось. Сон все длился и длился, налип на нее, как снег на валенки. Аглая скинула одеяло. Приказала себе проснуться. Села. Ай! Голова. Верхняя полка. Блин! Голова загудела перестуком колес. Туп-туп. Туп-туп. Туп-туп. Черт! Никого не разбудила? Аглая оглядела купе. С верхней полки свешивалась голая пухлая Машкина рука. Машка лежала к ней лицом, на хомячьей щеке, пускала пузыри. Машку жир греет. Ей не холодно. Лиза тоже спала. Аглая вздохнула. Слава богу! И только тут украдкой взглянула на полку напротив. Вдруг Полина не спит? Но Полинина полка была пуста, постель застелена. Аглая посмотрела на часы. Два двадцать. Пчелы. Великаны. Свадебки. Такой бред снится, только когда чая перед сном напьешься и очень хочется в туалет, а ты никак не можешь из сна выбраться, добежать

до туалета. Аглая поежилась, натянула куртку. Дурацкий проводник со своим дурацким чаем. Зачем послушалась девчонок, чая напилась?

В вагоне было пусто. Перегоревшие через одну лампочки хрипло, ритмично дергались. Хрипло, ритмично выдавали свет. Туп-туп. Туп-туп. Туп-туп. Аглая, шатаясь, добрела до тамбура, хотела уже открыть дверь, но отшатнулась. Вжалась в стену вагона. Не заметили? Полина, Гоша и Гудвин стояли прямо через стекло. Курили. Аглая сглотнула. Гудвин легонько пихнул Полину в плечо. Полина пихнула в плечо Гудвина. Они засмеялись. Гудвин передал Полине сигарету. Полина затянулась. Аглая задержала дыхание, не отлипая от стены, сделала два шага вправо и, пригнувшись, побежала к своему купе. Черт! Черт! Черт!

* * *

С Кирочной повернули на улицу Маяковского, грязную и серую, как все в этом городе. Полина с Гошей шли впереди, за ними остальные. Гудвин и Полина курили, смеялись. Аглая шла одна, сзади. Гудвин ей сигарету не предложил, захлопнул пачку перед носом: «Нечего тебе начинать. П. давно курит, ей можно».

Прошли дом Маяковского. Черные плесневые подтеки на терракотовой коже под глазами окон. Тушь потекла. Написано «водостойкая», но она течет. Плесенью.

Кирпичные экземы по всему фасаду. Обгрызенный временем барельеф. Кудрявый мальчик с крыльями летучей мыши. Колени мальчика стерты до серого цемента. Занозы на коленках так, наверное, уже не ноют. Коленки опомнились, заскулили.

Три ребра длинных водосточных труб. Межпозвоночные хрящи сожрала ржавчина. Ноктюрн на этих флейтах не сыграть.

Дом несимметричный. Разная высота этажей. Слева выше, чем справа. Криво. Лиличкаобразно криво.

«Из тела в тело веселье лейте. / Пусть не забудется ночь никем. / Я сегодня буду играть на флейте. / На несобственном позвоночнике»[83]. Стихи Гудвин вчера читал тоже кривые, нестройные, дикие, не те. На флейте играл не на своем позвоночнике, а на ее.

Аглая любила другого Маяковского, жемчужного, опаздывающего, того, что над крышей достает

---

[83] Примечания: 83

В. Маяковский «Флейта-позвоночник».

до звезд.

В этом городе не было звезд. Доставать было не до чего. Небо и днем, и утром, и ночью затянуто плотным шерстяным шинельным сукном. Волокна так плотно сбиты между собой, что совершенно отсутствуют любые просветы между ними. Не то что звезд, даже солнца не видно. Вот что стало с вашей шинелью, Акакий Акакиевич. Ею завесили петербургское небо.

«Деньги любят счет. Вы любите деньги. Мы сделаем вашу любовь взаимной. Доверительное управление активами. Тел.: 062». Посредине плаката на руке голого мужчины с очень белыми зубами в томной неге лежала голая накрашенная девица с локонами. Ладонь мужчины под головой девушки застыла клешней. Один зуб девушки закрашен черным. Пошлость в шестой степени.

Мама радовалась: «Наконец-то ты едешь в Петербург! Культурная столица, Аглая, Эрмитаж, Кунсткамера, кондитерская „Север", Невский, Фонтанка. Удивительный город!»

Мама врала.

Это дурацкий город.

В нем все дурацкое.

Дурацкий Эрмитаж. Слипшиеся хвостами шарфов и павловопосадских платков культурные

тетки с нарисованными коромыслом черными бровями. Тетки культурно расталкивали друг друга в гардеробе и культурно орали: «Галь, Галя! Сюда! Женщина, вас здесь не стояло!» Эти лезущие без очереди женщины были всегда почему-то среднего рода, не имели агентности и пола. «Га-а-аля, сюда, сюда, скорей!»

Дурацкая Кунсткамера. Уродцы в банках. Родились, чтобы сразу, не заметив, умереть. Им не дали. Поймали, засунули в банки, заставили, как Ленина, жить вечно, пугать школьников всей страны. У нас свои фредди крюгеры, пострашнее ваших.

Дурацкая погода.

Верезгливый ветер, холодный, подлый, непристойный. Забирается в каждую щель твоей куртки, лапает ледяными пальцами: «Тихо, милая, тихо, я только хочу тебя погладить. Что ты дрожишь, милая? Не дрожи, милая. Расслабься. А кожа какая у тебя тонкая, милая! Прозрачная. Тихо, тихо. Вот так, милая! Да. Вот так. Вдохни, милая. Задержи дыхание».

Тощий непроходящий туман, будто кто-то огромный нон-стоп обрызгивает город из пульверизатора. Как у бабушки. Холодные капли не двигаются, мелкими мошками зависают в возду-

хе. Жужжат.

Дурацкий конкурс. Ей дали грамоту за участие. Чертову грамоту за участие. «О, капитан, мой капитан!» Машка со своей Красной Шапочкой заняла первое место, получила золотой кубок. Какая девочка! Талант! Сияющий Гудвин. Полине тоже места не дали, но ее особо отметил декан факультета иностранных языков, пригласил учиться: «Какие смыслы! Как вы это отыскали?»

Дурацкая Полина. «Попросишь Полину?» Он пришел к ней в номер после конкурса. Стая чаек молча, покорно вздымалась над рекой и опускалась обратно, точь-в-точь как руки скрипачей, играющих «Танец рыцарей» Прокофьева в Мариинке. Балкон последнего яруса. Только оркестровую яму и видно. Рука на коленке. Чья? На чьей? Чаечно, чуждо, чересчур. Надменная река лопала ледяные чирии. Разорванная черная кожа реки сочилась ледяной сукровицей, латала раны. «Нам бы было так весело втроем, ты не находишь?» Она не находила. Ни слов. Ни смелости сказать, что она ненавидит Полину, ненавидит всем телом, запредельно, убийственно, больше Настьки, больше всех на свете. Недокуренная сигарета в пепельнице. В Петербурге Гудвин курил Gauloises, не Camel. «Поговори с Полиной».

Дурацкая кондитерская «Север». Толпа у входа.

Каждый сам себе царь и верблюд. Нет, верблюд, не царь. Толстые тетки-официантки с лицом уродца из Кунсткамеры шлепают тарелку с пирожным на стол так, будто столу пощечину влепливают. Хрусткую. Тяжелую. Пирожное невкусное, слишком сладкое. Стоит как целый обед в столовой.

Дурацкий Невский, оскаленный, неуютный.

Усатый мужик на большом плакате рекламирует брачное агентство. Его лоб весь заклеен розовыми, желтыми листовками. На них одно слово «Куколки» и телефон. Петербург — город куколок. В гостинице им с девчонками в номер под дверь запихнули красную визитку: «Куколки. Приятный отдых».

Под мужиком с усами — попрошайка. Молодая женщина в тельняшке с дочкой возраста Вероники. Рядом в желтой картонной коробке Lipton Yellow Label Tea пищат грязные котята. Им и месяца нет. Банка собачьего корма. Девочка засовывает туда палец, вынимает, облизывает. «Людидобрыепомо-гитеунасукралиденьгипомогитебогарадиспасите-людидобрыепомогите».

Пересечение Маяковского и Некрасова. Маяковский и Некрасов могли пересечься только в

этом дурацком городе. «Мы в булочную, ты с нами?» Аглая мотает головой. У нее еще позавчера закончились деньги. Остается одна. Машка хохочет в булочной так громко, на улице слышно. Аглая отходит.

Сквер. Тут тоже Маяковский. Бюст. Мраморный. Прямой. Тревожный. Шесть заплеванных и зассанных лавочек вокруг оккупированы алкоголиками. Или наркоманами. Гудвин говорил, здесь торгуют. Аглая алкоголиков от нариков не отличает. Аглая видела только алкоголиков. Так папиных друзей мама называла: «Алкоголики чертовы!» Все курят и харкают. В этом городе все курят и харкают. Даже у них, в Подмосковье, in the middle of nowhere, чище. Опухшая, как расквашенная губа, женщина. Шерстяные носки, резиновые шлепки с надписью Adidas. Смотрит в одну точку, жует рогалик из булочной, медленно и отрешенно. Ее собутыльник курит и харкает. Он задирает верхнюю губу, пропускает пенящуюся слюну сквозь верхние прореженные жизнью зубы, выдувает. Пш-ш-ш-тьфу. Пш-ш-ш-тьфу. Потом зажимает одну ноздрю — выдувает зеленое, другую — снова зеленое. Аглая отворачивается, задирает голову на Маяковского. Маяковский на алкоголиков не смотрит. Хмурит свои вы-

дающиеся каменные брови на устало-розовое пятиэтажное здание впереди. Хотя бы симметричное. В относительно хорошем состоянии. Все развалили.

Ничего не достроили. Инцидент исчерпан. Советская лодка разбилась о человеческую сущность.

Не мамин Петербург. Подмененный.

На голове Маяковского топчутся четыре голубя. Под каменным глазом течет слеза голубиного помета. Маяковский весь в подтеках и помете, как и сквер, и его дом, и весь этот дурацкий город. Попробуй заявись так на Жуковского, 7. Тут же Лилечка запрет на ключик дверь, выставит на угол Невского, к Аничкову, орать рыбой в Фонтанку, накапливать творческую энергию. Голубиный помет имеет антисептические свойства. Дед так говорит, собирает на удобрение. На Маяковского антисептик работает с обратным эффектом — не убивает инфекции, превращает великое в жалкое, разъедает. Как Лилечка. Как Полина.

Аглая помнила Маяковского другим. Любила его другим. Широкоплечим, громким, бескомпромиссным. Но такого в этом городе не имелось. Такой жил в Москве.

Аглая опускает взгляд. На соседней лавочке

трехлитровая банка. В ней нет ни огурцов, ни помидоров, ни даже вишневого компота с косточками. В желто-зеленой горько пахнущей жиже в два слоя плавают сигаретные бычки. Интеллигентность петербургских лавочных алкоголиков. Харкать и сморкаться повсюду вокруг себя, а бычки кидать в банку. Аглая снова поморщилась. Снова заныли коленки.

Дурацкий, дурацкий город.

— Я тебе купила… — Полина стояла рядом, протягивала веснушку с изюмом.

Аглая посмотрела сначала на веснушку, потом на Полину. Не узнала. Смотреть сейчас на Полину было как засунуть нос в трехлитровую банку с бычками — горько, гнило, гадко. Аглая покачала головой:

— Спасибо, я не ем изюм.

Аглая пожала плечами, натянула губы улыбкой Маяковского Осе и быстро пошла к Гудвину. Он махал им пакетами сосисок в тесте, рогаликов и бубликов с маком. Весь этот дурацкий город оказался памятником Маяковскому. Вроде с виду красивый, из розового мрамора, а остановишься, присмотришься — один голубиный помет и гниющие в банке сигаретные бычки. Очень хотелось домой. Очень.

* * *

В городе началась весна. Асфальт высох. Возле пироговской будки зацвела мать-и-мачеха. Танюша называла мать-и-мачеху табачной травой. Собирала. Сушила. Пила для профилактики инсульта. Напрасно, получается. Профилактировала, профилактировала, да не выпрофилактировала. Не сработала табачная трава. Не уберегла Танюшу.

Девочка вернулась через два дня, во второй выходной Пирогова. Пес почувствовал ее запах издалека, еще с перрона. Выругал метнувшийся было завилять хвост. Уймись. Девочка больше не пахла ни красными ягодами, ни мятой, ни пирожками. Она пахла влажными простынями, немытой шерстью и сосисками. Запах антипирогова, шедшего сзади, не изменился — табак, контроль, свежие, выглаженные до хруста рубашки. Антипирогов принялся обнимать по очереди пахнущих булочками и сосисками щенков-подростков. Некоторых он обнимал быстро, хлопая по спине, отпускал. Над кем-то, как над девочкой с короткой стрижкой, в страшных черных ботинках «вали отсюда псина», — зависал. Антипирогов приклеивался к девочкам, как пузо к

асфальту во время дождя. После объятий подростки махали антипирогову, разбредались в разные стороны. Кто-то группками, кто-то в одиночку.

Его девочка брела одна. Пес сглотнул и на мгновение испугался, что девочка пройдет мимо. Но девочка направилась прямо в его сторону, уверенным шагом, сильным, как ее голос. Пес, сам от себя не ожидая, подскочил и все-таки завилял вышедшим из-под контроля хвостом. Так на собак, наверное, запах сосисок действует — пробуждает любовь, заглушает страх. Пес ни разу за свою трехлетнюю жизнь сосиски не ел. Танюша и Пирогов жили в мире без сосисок. Танюша считала, что в мясорубки на фабрике регулярно падают мыши и крысы. А Пирогов просто предпочитал беляши.

Девочка сняла варежки, присела на корточки, вытащила из бумажного пакета сосиску в тесте, протянула. Девочка пахла тоскливо, по-собачьи, Аленушкиной безнадежностью. Пес завилял хвостом еще сильнее, как вилял, только когда Пирогов протягивал ему полбеляша.

— Это сосиска в тесте. Из Петербурга, — сказала девочка, будто пес сам был не в состоянии отличить сосиску от пирожка.

Пес посмотрел на девочку с укором. Опять оче-

видное объясняешь?

— Будешь? Это, конечно, не бабушкины пирожки, но все-таки.

Буду! Пес в этот раз не раздумывал, мигом слопал сосиску. Собачий бог наконец-то снова внес его в список любимцев. Заметил. Вспомнил, что он и его народил. Молочно-мясной сосисочный вкус оттенялся слегка сладким тестом, пьянил, как Пирогова пьянила квашеная капуста, единственное, чем он с псом никогда не делился. «Ты такое не будешь, брателло. Ферментация!» — Пирогов важно поднимал кривой мозолистый палец вверх, тряс им. Девочка осторожно погладила пса по голове, он ей на этот раз разрешил, вздохнула и пошла прочь. С вокзала. И из его собачьей жизни.

Дожевав сосиску, пес обернулся на пироговскую будку, а потом сделал то, чего за последние полтора года не делал ни разу. Покинул вокзал. Почему именно в этот момент он вдруг разрешил себе покинуть вокзал, пес объяснить не мог. Просто знал, что должен довести девочку до дома. Должен ее защитить. Не из страха. Из любви. Должен проследить, чтобы девочка дошла до дома целая и живая, не утопилась по дороге, как Аленушка на картине. Васнецов изобразил

Аленушку за мгновение до смерти. Это было и Пирогову ясно. Ожидание отпугивало, цепенило, отторгало тебя от жизни. Пирогов все равно будет только завтра, он успеет вернуться. Он оставит метки по пути.

Метки от вокзала пес расставлял тщательно, со знанием дела. Каждый четвертый столб. Жаль, что метки ему так и не пригодились. На вокзал пес больше никогда не вернулся. Собачий бог кроме сосиски послал ему в день, когда в третий раз зацвела табачная трава, не только девочку. Собачий бог послал ему то, о чем пес даже не мечтал — боялся, не верил, — свою собственную стаю. Ровно из четырех человек, чтобы пес мог за всеми следить, всех пересчитывать. У пса появилась своя Бабушка, которая пекла самые вкусные на свете пирожки и кормила его пять раз в день лучше, чем, по разумению пса, кормили в собачьем раю, свой Дед, которого нужно было ждать, сидя возле «копейки», когда они вместе ходили по бабкиному списку за покупками, своя мама, которая опускала ему в шерсть теплую руку и называла ну-ты-чучелом, а он лизал ей за это ступни с выпирающими косточками, — и своя Девочка.

Девочка вымыла его шампунем, Бабушки-

ными отварами, смешала его запах со своим, приручила. Пес теперь был естественного цвета, бело-рыжего, и пах точь-в-точь как девочка, красными ягодами, мятой и черносмородиновым листом. У пса даже появилось имя. Оказалось, что он как две капли воды похож на черного лохматого мужика в берете с дедовской желтой футболки. Новое имя не имело ничего общего с тем первым, мягким, похожим на вдох именем из прошлой жизни с Танюшей. Новое имя звучало ярко, обстоятельно, степенной поступью васнецовского Серого волка. Имя в четыре шага. Имя вожака стаи. Имя — заклинание счастливой собачьей жизни. Че-ге-ва-ра.

Когда пес засыпал ночью в дальней комнате рядом с креслом-кроватью девочки, ему иногда снились Пирогов, бутерброды, беляши, сухарики, гречка с тушенкой, и, проснувшись утром, пес обещал себе снова и снова, что обязательно навестит Пирогова на вокзале. Но его собачью память будто залила жидким воском заботливая Танюша, жизнь два через два совсем спуталась. И он, как ни пытался, никак не мог вспомнить, когда у Пирогова смена, а когда начинаются выходные.

Глава десятая
Воск

Аглая вышла в коридор, в ушах стучал молоточек. Тук. Тук. Тук-тук. Телефон на лаковой галошнице был бордовый, пластмассовый, с бумажкой под прозрачной табличкой, на которой Бабушка вывела их номер 5-44-32. Бабушка боялась забыть номер в нужный момент, записала. 5-44-32. Аглая сняла трубку, убрала волосы за ухо, как Гудвин ей убирал. Спросить про диплом об окончании первого года обучения. Предложить нарисовать стенгазету с Summer Bucket List. И про стипендию. Про поездку. Почему? Почему не мне. Я же сдала тестирование на 98 из 100, лучше всех. Настька сколько получила — 62, еле-еле. А Полина? Что я сделала не так? Ты меня… Вы меня… «Ты» и «вы» постоянно путались, менялись местами, слиплись в два новых местоимения: вы…ты, ты…вы. Он больше не просил ее остаться после уроков. Он больше не угощал ее ирисками.

Он больше ее не любил.

Трубка тоскливо и одиноко гудела: «У-у-у-у-у». Чегевара положил морду Аглае на ноги и поску-

ливал, пытаясь подхватить унылый телефонный мотив: «У-у-у-у-у». Аглая сглотнула, уставилась на себя в зеркало. Осунулась. Два дня после объявления результатов конкурса на стипендию не ела. Выбрасывала еду в мусорку, пока Бабушка не видела, прикрывала скомканными исписанными листочками в клеточку из тетрадки по математике. Узнает. Как объяснишь? У них в семье негласный договор: черное с белым не носить, «я тебя люблю» не говорить. Но Аглая всегда ест Бабушкины пельмени, и Бабушка знает, что Аглая ее любит. Словами такое не скажешь. Трубка устала ждать, жалобно запищала: «Пип-пип-пип-пип». Чегевара навострил уши, нахмурился, замолчал. Аглая пригладила торчащую челку. Два дня шли дожди, волосы пушились больше обычного. Мамино красное платье с пуговицами, его любимое. Гольфы. Он говорил, что ей нужно носить гольфы. Она что, думает, видеофон из «Жука в муравейнике» и вправду Стругацкие изобрели? Я в дурака не играю, только в дурочку. Аглая нажала на кнопку. Телефон облегченно вздохнул: «у-у-у-у-у». Чегевара положил ей на ступни голову, подпевать не стал. Восемь. Треск диска. Выдох. Четыре. Треск диска. Выдох. Восемь. Треск диска. Нет выдоха. Два. Треск диска. Нет

выдоха. Один. Треск диска. Нет выдоха. Длинный гудок. Второй длинный гудок.

— Алло. — В трубке, на другом конце города, Третья Садовая, 34/2, раздался мальвовый шепот. Мускусный, сухотравный с яблочной кислинкой.

Аглая резко развернулась, девочка в зеркале исчезла, схватила трубку и второй рукой. Чегевара обиженно поднял морду, отошел.

— Алло, — повторил голос Гудвина чуть громче.

— Я… — Аглая сглотнула, опустила левую руку на голую ногу. — Я хотела узнать, когда можно забрать результаты экзаменов. — Вонзила ногти в голое бедро, потянув вверх, задрала юбку. — Здравствуй…те.

Трубка на пару секунд замолкла, задумчиво потрещала.

— Аглая, ты? — Шепот сменился полновесным взрослым голосом, таким, выбор местоимения с которым очевиден, гадать не нужно. — Рад тебя слышать. Мы позавчера не успели поговорить. Ты не расстроилась из-за стипендии? Я хотел тебе позвонить. Нуты же взрослая, ты все понимаешь…

— Да, нет… — промямлила Аглая. — То есть нет, я…

— Ну вот и умница! Ты не расстраивайся. Это

же по совокупности личного прогресса и *других* факторов. В следующем году все может быть совсем по-другому.». — Голос потеплел. — А за дипломом можешь зайти в любое время с девяти до трех. Заберешь в третьем кабинете у Светланы Сергеевны. Ты молодец, Аглая. Мы с Маргаритой Антоновной тобой очень гордимся.

Аглая закрыла глаза. Они с Маргаритой Антоновной ею очень гордятся. По ноге вязко, медленно потекла густая капля крови.

— Так я зай… — Звук «й» царапнул горло, застрял.

— Зайдешь? Тебя плохо слышно. Да, конечно. Светлана Сергеевна здесь с девяти до трех. Ну что я тебе объясняю. Ты сама все помнишь. Поздравляю с отличным окончанием! Впечатляющий прогресс, Аглая! Outstanding effort! Well done!

Аглая ничего не ответила. Outstanding effort! Well done!

— Что-то еще? Ты что-то еще хотела?

Аглая точно хотела что-то еще. Выты. Тывы.

— Нет. — Аглая второй раз провела ногтем по царапине. Защипало.

— Ну, пока, Аглая! В сентябре увидимся. Еще раз поздравляю! Пока!

Трубка судорожно дробно завыла: «Пип. Пип.

Пип. Пип». Правый висок, левый висок, правый висок, левый висок. Живот скрутило — мучительно, коряво, против часовой стрелки. Дыхание, которого и так было в обрез, совсем закончилось. Мерзкий запах из горла ударил в нос. Аглая бросила трубку, сложилась вдвое. Вырвало. Вытерла белым рукавом рот. Сглотнула. Желтая пенистая слизь. Чегевара попытался слизать, но Аглая его отпихнула, подумала единственное матерное слово, которое знала. Трубка, повисшая на проводе, завизжала. Одиноко, брошенно, с обидой, как младенец, который истошно орет, не зная, что матери нет дома. Заткнись. Аглая схватила трубку, вернула ее обратно на телефон и придавила. Заткнись. Нужно убрать. Бабушка скоро придет. Нужно привести себя в порядок. Что-то поесть. И Ахматову доучить. Завтра на литературе они читают стихи.

* * *

Кирюша читал Есенина. Ольга Николаевна установила свою норму ГГО. Не стометровка, не отжимания, не прыжки в длину, готовность к труду и литературной обороне определялась количеством выученных наизусть стихотворений. Десять за год. Учить можно было что угодно, пол-

ная свобода внутри литературной автократии. Петька обычно читал что попроще и покороче — Пушкина, Лермонтова; Наташка — что проходили сейчас, то и учила, не заморачивалась. Олька Воронина выпендривалась, приходила то с Маяковским, то с Беллой Ахмадулиной. Аглая читала длинное или любимое: «На смерть поэта», Цветаеву, Бродского, Пастернака. Кирюша — обычно Есенина. Почему-то раздольная разнузданность рязанского Леля нашла особый отклик в душе толстенького нелюдимого Кирюши, еврейского мальчика-недоразумения.

Кирюша стоял возле доски памятником Пушкина, приложив руку к груди. Читал самозабвенно, всем телом. *Выйду на озеро в синюю гать…*[84] Шаг вперед, рука вперед. *К сердцу вечерняя льнет благодать.* Шаг назад. Обратно в памятник. *В хворосте белые веки луны.* Воображаемые очки к глазам. Ольга Николаевна поджала губы. Веки луны, очевидно, были лишние. Аглая посмотрела в тетрадь. Нужно повторить свое. «Тебе, Афродита, слагаю танец, / Танец слагаю тебе»[85]. Сквозь Ахматову пробивались гать и выть Есенина. Не

---

[84] Примечания: 84

С. Есенин «Черная, потом пропахшая выть!..».

[85] Примечания: 85

А. Ахматова «Тебе, Афродита, слагаю танец…».

давали сосредоточиться. «Где-то вдали, на кукане реки / Дремную песню поют рыбаки…» Аглая вздрогнула. Подняла глаза на Кирюшу. Что он только что сказал? На кукане реки? Рыбаки. Кукан. В животе кольнуло. Аглая сглотнула. Кукан.

На летних каникулах папа брал ее с собой на рыбалку. Бабушка собирала Аглаю на рыбалку как Нансена в Гренландию. Непрекращающимся речитативом выдавала инструкции, сливающиеся в одно большое «нельзя». От отца отходить далеко нельзя. Потеряешься. Ты маленькая, отойдешь, они тебя забудут. На речку одной ходить нельзя. Подводные течения знаешь какие сильные, у нас мальчика в деревне унесло. В лодку с отцом садиться нельзя.

И с Егорычем нельзя. Даже не думай! В лес одной нельзя. Еще на кабана наткнешься или на лося. Кабаны знаешь какие агрессивные! Затопчут! К костру близко садиться нельзя! Искра отлетит — загоришься, глазом моргнуть не успеешь.

Аглая кивала, всем своим видом показывая, что, как большая, осознает всю серьезность нависшей над ней угрозы и честно ничего из «нельзя» делать не будет. Но как только папа с Егорычем уплывали ставить сети, бежала в лес.

Как не бежать?! Там муравейники — египетские пирамиды с нее ростом: оближешь соломинку, положишь на муравейник, достанешь, обсасываешь — кисло, шипучкой из «Кегельбана» жжет язык. Там к стволам деревьев пиявками присосались чаги и трутовики-ракушки. Главное, не перепутать. Трутовик висит на березах жабьей губой, чага — черной, еще тлеющей красным жаром внутри, головешкой. Чагу Егорыч собирает, чай из нее вечером заваривает, пьет, хочет до ста лет дожить. Там кусты колючей малины, маленькой и сладкой. Наешься ее и удивляешься: то, что растет у Деда на даче, и здесь, в волшебном лесу, одним словом «малина» называется. Слово одно, а ягоды разные.

На рыбалку вставали рано, часа в три, затемно, успеть к утреннему клеву, до рассвета. Аглая просыпалась, терла кулачками глаза, сонно натягивала свитер. «Давай, доча, быстрее! К клеву опоздаем! Ты, когда утром просыпаешься, есть хочешь? Вот и рыба хочет! А тут мы… Мы ее ать!» С улицы на весь двор уже сигналил Макс: «Би-и-ип! Бип! Бип! Би-и-ип! Бип! Бип!» «Вот же ирод! Всех соседей перебудит! — Бабушка вываливалась, как тесто из кастрюли, в окно кухни, орала шепотом, махая кулаком невидимому, но точно

прячущемуся там внизу Максу: — Три часа ночи! Совсем ополоумел?! Я тебе посигналю! — Бабушка залезала обратно в окно, подходила к Аглае, крестила ее три раза, пальцем грозила папе: — Смотри у меня! За ребенком глаз да глаз. Ну, с Богом, Агуленька! Ты, как выйдешь, мысленно машину кругом три раза обведи, чтобы Бог хранил. И я обведу. Вот и сбережет тебя Господь». И глаза у Бабушки блестели всегда, как у красивой тети на вокзале в черно-белом фильме, который мама, плача, смотрела.

Папа и другие рыбаки уплывали на надувных лодках на середину реки, далеко-далеко от берега, детей с собой не брали. Рыбалка — процесс тихий, несуетный, метафизический. Детское мельтешение тут ни к чему. На берегу поиграйте. Поймать папу с удочкой можно было только рано-рано утром, когда он рыбачил у берега.

Аглая открыла глаза внутри брезентового рыбьего пузыря. Болотно-зеленый свет, проникавший внутрь палатки, казался мокрым. За ночь все отсырело, стало ненадежным, неуютным, промозглым. Поскорее бы утро, солнце — Егорыч костер разведет. Аглая прищурилась, зевнула, повернула голову. Папин картофельного цвета спальный мешок был расстегнут и пуст. Аглая

все сразу поняла. Нельзя терять ни минуты! Она вскочила, вылезла из своего зеленого кокона, кое-как пригладила два дня не расчесываемые, превратившиеся в воробьиное гнездо волосы, натянула резиновые сапоги, голубые, с яблочками. Жалобно дворовым котом замурчал живот. Вчера на ужин Егорыч наварил полбы с тушенкой, Аглая такое не ела, спать легла голодная. Узнала бы Бабушка — убила бы Егорыча лопатой, глазом бы не моргнула. Этим? Детей кормить! Есть хочется, но времени на завтрак нет. Сегодня она точно поймает свою первую рыбу! Она это чувствовала мурчащим животом. Аглая порылась в углу палатки, достала палку с привязанной леской: сама нашла палку в лесу, сама привязала леску, сама стащила у папы крючок, осталось только червяков выпросить. Главное, чтобы папа еще был на берегу, не уплыл.

Папа никуда не уплыл. Стоял на обычном месте, под ивой, в мощных высоких камышах с небывалого размера початками, точь-в-точь пирожное «картошка». Рядом на складном стуле сидел Егорыч. Река, укрытая рассветным паром, дышала спокойно, ладно, как Вероничка, когда спала. Егорыч ловил на воткнутый в землю спиннинг, папа — на обыкновенную удочку. Папа молчал.

Егорыч бубнил.

— Ты, Мартыныч, молодой еще, бестолковый! Я тебе говорю, в моем детстве… Егорыч погладил бороду. — Жили мы бедно, и что?! Вот знаешь, все тогда добрее были: рыбы, люди. Все. А сейчас… Рэкет один! Кого мы растим? — Егорыч повернулся, увидел Аглаю: — Ты чего не спишь, Глашунь?!

Аглая крепко сжала палку-удочку, приготовилась дать отпор, если ее опять погонят спать.

— Ты смотри, Мартыныч, удочку себе смастерила. А?! Какова! Рыбачка растет! Ну, эту, может, и не оболванят, смотри, какая предприимчивая! — Егорыч засмеялся. — Ну-ка, подь сюда, Глашунь. Давай, давай… Пришла рыбачить, так пожалуй! Чего мнешься!

Аглая, подпрыгивая от радости, что ее не отфутболили, подбежала к Егорычу. Егорыч порылся в растянутом кармане, достал сухарь с сахаром и изюмом, вручил Аглае.

— Так… Глашунь. Ну-ка, поешь пока. Смотри! Это тебе! Не рыбам!

Аглая сухарю обрадовалась, принялась, хлюпая носом, грызть. От холодного, талого утреннего воздуха потекли водяные сопли.

— Так вот, когда я был вот как твоя Глаша, вот тут по берегу мно-о-ого лодок стояло, плоскодонок…

Так мы, мальцы, в них забирались. Выбирали, что подальше носом в реку… и с них и рыбачили. Никто нас никогда не гонял! Хозяин приходил, кивал, мол, давай, мы в другую и перебирались. А сейчас?! Частная собственность! — Егорыч скривился, будто съел недозрелый крыжовник, сплюнул. — Приватизация! Тьфу на вас! Злые все стали. Человек человеку волк! — Егорыч зарычал, пытаясь изобразить волка, щелкнул зубами, но вышла у него овчарка какая-то нестрашная, смешная. Аглая хихикнула. — Развалил ваш Горбач, такую страну развалил! Едрена ж мать! Я б его! — Егорыч погрозил Горбачеву кулаком, словно тот стоял на том берегу реки, покорно слушал, опустив глаза, как Егорыч его отчитывает.

Горбачева и Дед часто ругал, Аглая знала, что это главный враг Ленина и коммунизма, капиталист недорезанный, прихвостень американцев. А вот кто такая Едрена и кому она мать, Аглая не поняла. Но спрашивать не стала, ясно дело, неприятный кто-то; откусила сухарь. Сухарь был сладкий, с подгоревшей, вкусно крошащейся корочкой. Принялась жевать.

Папа Егорыча слушал вполуха. Он стоял в огромных, по пояс, резиновых сапогах в мутной воде сказочным Котом в сапогах. Только вме-

сто широкополой шляпы — старая выцветшая кепка.

— А-а-а ну вас! — Егорыч махнул рукой. — Пойду кашу варить. Сухарями одними не наешься, правда, Глашуня?! Сегодня пшенка у нас. Мартыныч, присмотришь?

Папа кивнул. Егорыч, оставив самоловящую удочку, поднялся, начал взбираться на берег, но помедлил, обернулся:

— Или вон Глашуня пусть за меня ловит. Ну тебя, Мартыныч, я ей доверяю!

Аглая аж сухарь уронила. Ей? Его собственную настоящую удочку?! Тем более спиннинг! С катушкой?! Она бросила свою недоделанную палку без червяка, подбежала к Егорычу, обхватила руками за живот в старом, пахнущем вчерашним костром свитере. Егорыч засмеялся, погладил ее по спутанным волосам:

— Давай, Глашуня. Смотри в оба! Будет клевать — тащи что есть мочи! Отца попроси, он подсобит. Погоди! Держи-ка. — Достал из кармана второй сухарь, вручил: — Грызи и смотри в оба.

Аглая вернулась к реке, важно села на теплую табуретку Егорыча, принялась за второй сухарь. Хотела сидеть тихо, не двигаясь, как сидели обычно настоящие мужики, медведями сгорбив

широкие спины. Не получалось. Внутри будто пузырилась шипучка из «Кегельбана». Аглая ерзала туда-сюда, с табуретки вскакивала, подбегала к самой воде, тихонько указательным пальцем трогала леску — натянута, но не дребезжит, — возвращалась. Папа на Аглаю не оборачивался, смотрел прямо, гладил усы. Рыбалка не терпит суетности. И детей не терпит. Если б не Егорыч, отправил бы ее спать.

Время тянулось долго, пшенной недоваренной кашей размазывалось по реке, леска молчала: чего зря натягивали, нет тут рыбы, нет. Но когда Аглая дожевывала сухарь, его краешек, самый вкусный, тот, где больше всего корочки, и уже думала сбегать к Егорычу, проверить, сварилась ли каша… леска дрогнула, натянулась, и красный поплавок булькнул под воду, резко, быстро, с головой! Аглая выронила сухарь, подскочила, вцепилась в удочку двумя руками. Удочка Егорыча, тяжелая, каменная, предательски выскользнула из рук, быстро вспугнутым ужом поползла в реку. Аглая ойкнула. Не успеет. Уйдет! Егорыч ей доверил, а она… Но папа уже бежал наперерез, хлюпая по воде сапогами. Он нагнулся, схватил удирающий спиннинг ровно у берега.

— Помогай! — оглянулся папа, подмигнув, и

Аглая, вся дрожа, кинулась прямо в реку.

— Да нет, не в воду же, дурында! Намокнешь! — Папа аккуратно вытянул мокрую, в мелком сером песке удочку обратно на берег, вложил в руки Аглаи, встал сзади, обхватил, начал водить. — Вот так, аккуратно, аккуратно… Рыба должна хорошенько заглотить наживку, ее нельзя резко дергать, нужно погулять… Не выгуляешь как следует — крючок выскользнет, сорвется.

И они водили в одну сторону, в другую. В одну сторону, в другую. Рыба тянула сильно, она не хотела быть пойманной, хотела жить и свободно плавать. Но папа держал крепко. И Аглая держала крепко. Даже если бы ей сейчас сказали: «Отпусти удочку, протяни руки, получишь „Электронику"!» — Аглая бы ни за что не выпустила спиннинг. Это была ее первая самопойманная рыба.

— Крути потихоньку… — Папа кивнул на катушку.

Аглая убрала с удочки одну руку, начала крутить.

Крутить оказалось сложно.

— Тяжело, да? — Папа схватил Аглаину ладошку. — Ну-ка…

И они крутили вместе, и водили, крутили и водили, пока поверхность реки не взбрыкнула

раз, два и не показала ее, Аглаину, рыбу. Это была щука, пятнистая, удивленная, что ее поймали, похожая на Егорыча щука. Не большая, но и не маленькая. Средняя. Щуренок-подросток. Почти взрослый, но еще ребенок. С черепашьего цвета плавниками. Трепыхающийся, блестящий, живой. Папа вытащил рыбу. А глаза! Гааза у щуренка светились солнечным затмением: черный диск луны и яркая солнечная корона.

— Какая, а! — Папа первый раз за утро улыбнулся — от души, радостно. — Поздравляю, доча!

Аглая тоже улыбнулась, да так широко, что улыбка на лице не поместилась, до ушей добралась. То ли от первого улова, то ли оттого, что папа назвал ее «доча». Слово было теплое, байковое, незнакомое.

Уже почти рассвело. Река выпила весь надречный пар, просыпалась, потягивалась.

— Пойдем Егорычу покажем. — Аглая дернула папу за куртку.

— Да он щук сколько видел, доча, мы ее лучше сразу на кукан, чтоб свежей была. Вон как за жизнь борется… Тише, тише, милая, еще губу порвешь.

Молодая. Мясо у нее будет нежное! Баба Нина пожарит нам, м-м-м-м-м, с черным хлебушком!

Аглая перестала улыбаться. Кукан? Надо же Егорычу показать, какую она щуку поймала. Всем, всем нужно показать! Папа ее не слушал, он уже сидел на табуретке Егорыча, ловко зажав щучью голову одной рукой, осторожно вытаскивал из зубастой пасти крючок.

— Хорошо, не разорвала себе губу… Щуки, они знаешь какие сильные! Могут и жабры себе выдрать, и губу разорвать в хлам, тогда только в уху, домой не довезешь, стухнут.

Папа достал из кармана стальной тросик, согнутый в форме Бабушкиного пирожка с капустой. Щука была хоть и не огромная, хлестала хвостом мощно, но с хваткой больших папиных рук совладать не могла. Папа взял рыбу под жаберную крышку.

— Нижняя челюсть у нее твердая, цельная, крепкая, а под ней, вот, смотри, белая, мягкая. Вот тут как раз проделываем маленькое отверстие и продеваем сквозь нижнюю челюсть, вот так… — Папа просунул железный крючок рыбе в губу.

Аглая смотрела не моргая. Ей вдруг невыносимо, щипл юще стало щуренка жалко.

— Многие думают, челюсть не выдержит. Выдержит! Еще как выдержит! Тут, главное, кровеносные сосуды не повредить… Рыба тогда

засыпает, как в летаргический сон впадает, понимаешь?

Аглая сглотнула. Шипучка внутри шипеть перестала, превратилась в химически окрашенную слишком сладкую воду. Шипучка теперь шипела в папе. Не в ней. Рыбалка ей нравилась все меньше и меньше. Живот каменел.

— Некоторые дураки через жабры… и выводят через рот. Так, доча, не делай. Щука, она тогда не сможет дышать, умрет. И очень быстро. А когда вот так, за нижнюю челюсть, — спокойно закрывает рот, тросики ей практически не мешают. — Папа подвесил щуку на кукане, застегнул карабин. Щука все еще дергалась, фантомно плыла, надеясь, что хвостом взобьет воздух в воду. — Остается целая, свежая до конца рыбалки… Только с тросиком, пружины и застежки, рыба с них просто слетает, особенно сомы. Сомы часто с них уходят… Да. Простая система, дешевая, сам делал, — заметил папа гордо.

Он встал, подошел к иве, опустил рыбу в воду, вывел шнур, привязал к ветке. Рыба булькнула, дернула трос, ветка слегка дрогнула, но не поддалась. Через мутную воду было видно движение, а на поверхности то и дело появлялась пятнистая чешуя. Щука отплывала, натягивала шнур, дер-

гала, плыла обратно. Дергала, плыла обратно. Но уплыть не могла. Надежно сидела на кукане.

«Дремную песню поют рыбаки…» — стихотворение уже читала Ксюшка. Что-то про девушку и хор. У нее другое. «Тебе, Афродита, слагаю танец». Онемело нёбо, заскребло. Вязкими соплями застрял в носоглотке крик. Она дергалась, но уплыть не могла. Дышать ей кукан не мешал. Жабры были целы. Аглая посмотрела на Кирюшу, тот сидел довольный, положив руку на руку. Наверное, пятерку получил за Есенина.

— Аглая, к доске! — сквозь толщу воды послышался голос Ольги Николаевны.

Аглая послушно встала. «Проще ведь? — Удар весла». Нет. Не то. Вышла к доске. Трос досюда дотягивался свободно. Улыбнулась. Начала читать: «Тебе, Афродита, слагаю танец. — Мутно, нечетко, захватывая ртом воздух. — Танец слагаю тебе».

Глава одиннадцатая
Танец

Аглая увидела Настьку не сразу. В кабинете было пусто, ярко, предзакатно. Слепило глаза. Аглая Настьку учуяла — фиалка, Camel, горький мед, — ощутила волосками на белой коже, а потом услышала. В углу, за партами, под портретом Блока в белом воротничке раздавались отрывистые, нервные, постоянно меняющие направление — вправо, влево, вправо, влево, — срывающиеся подвывания на чернобурый звук «А». «А» шумно, спешно втягивался ртом, застревал где-то в носоглотке, проглатывался. Будто хотел и никак не мог вырваться, полногласно, во всю силу завыть, громко, мокро, свободно. Аглая замерла. Она не видела, но знала: Настька сидит за партами, в углу. Пчелы друг друга чуют на расстоянии. Аглая поежилась, напряглась, застыла. Раненое животное. Смерть подползла слишком близко. Тепло! Тепло! Горячо! Обожжешься! Выйти. Сделать вид, что ничего не слышишь. Спастись. Беги, Аглая, беги. Но Аглая не побежала. Она сглотнула, оперлась об их с Наташкой парту на первом ряду,

будто хотела убедиться, что парта настоящая, деревянная, стоит, сделала шаг в проход. Получив душистый пароль, пчела не может уже улететь. Аглая подняла глаза на Блока. Блок, сложив руки на груди, прислушивался, молчал утомленно, будто всю ночь не спал, смотрел куда-то вправо, вверх.

Дверь. Шаги. Небезопасность. Настена дернулась. Сжала губы, заперла разнузданный, касторкой клокочущий «А» во рту. Сидеть! «А» не послушался, заскакал черным резиновым мячиком, то ударяясь в нёбо, то проваливаясь в горло. Туда, сюда. Туда, сюда. Плакать перед этой?! Не дождется! Сидеть! Так, наотмашь, отец огрызался на Рокса. Дрессировал. Отец и Рокс боролись в семье за доминирование. Ни один не мог одержать победу. Ни один не сдавался. Чертова курица в павлиньих перьях шла по проходу. Курица! Чертова необщипанная курица! Везде клюет своим кривым клювом! Воришка! Подло крадет все, все, что она, Настена, так любит: главные роли в спектакле, первую парту, Петьку. А теперь свою куриную лапу еще и в самое личное хочет засунуть, в самое нутряное, в самое ее. За это Настена ненавидела курицу еще больше, еще яростнее, инстинктом животного

другого вида, один ареал обитания на двоих, либо она сожрет тебя, либо ты ее. Настена нахмурила брови, схватила тяжелой отцовской хваткой дыхание, сжала. Нёбо не слушалось, подрагивало, Настена подпоркой прижала к нёбу язык, как учила мамка, чтобы не провоцировать, чтобы хуже не было, стиснула зубы, громко задышала через нос. Нет уж! Рыдать перед этой курицей она не собирается. Не дождется! Худые куриные лапы в позорных черных туфлях остановились возле ее модных белых сапожек. Мамка достала. Таких ни у кого во всей школе нет. Кожаные, голенище гармошкой, на каблучке. Не то что эта дешевка. Старушечья обувь. Сбоку кожа содрана. Перепачканная в говне курица.

Мысль про курицу, перепачканную в говне, Настене понравилась, успокоила. Настена даже на секунду отключилась от пульсирующей, тычащей боли. Но тут курица закудахтала. Боль вернулась.

— Н… — промычала Аглая. Она вдруг забыла, как Настьку зовут. Он же звал ее Н. — Н-н-настя… Что с тобой? Что случилось?

— Уйди-и-и, — выплюнула сквозь сжатые зубы Настена. Она не шелохнулась, даже глаза на курицу не подняла. Мамка говорит, что нельзя

зверю в глаза смотреть.

— Тебя кто-то обидел? — Аглая не хотела с На-стькой разговаривать, но разговаривала, действовала на автомате, прописанная в генетическом коде программа помощи раненой особи своего вида запустилась сама, заставила сделать ужасное, необъяснимое — Аглая присела рядом с Настькой на корточки, протянула руку, дотронулась, погладила. На-стькино плечо дернулось.

Настена от неожиданности, смешанной с ужасом — теплая куриная лапа легла ей на плечо, — нечаянно, не собиралась совсем, посмотрела курице в глаза — они были не куриные, а собачьи, большие, как у Рокса, когда отец принес его щенком домой и Настена, пока никто не видел, затаскивала Рокса, мягкого, всего в складках, спать к себе на кровать… Пока отец не начал Рокса дрессировать, пока не взял… Зубы застучали мелкой дробью железного игрушечного кролика-барабанщика, палочками взбивающего воздух. Внутри кольнуло и лопнуло что-то большое, черное, несдерживаемое, что-то дикое. Оборона сознания рухнула, стало опять очень, очень больно. Физически, режуще больно. Настена последний раз попыталась вжать боль в пол и не смогла, заревела. Боль, с курицей никак не

связанная, автоматически курице приписалась, ею стала обусловлена. Боль была там, где нельзя, там, где никому не скажешь, там, где даже думать стыдно, что может болеть. Боль была там, за что отец, если, не дай бог, узнает, такую затрещину засадит, что и Роксу мало не покажется, никаким тональником не замажешь. А мамка? Мамка просто не поверит. Мамка в боль не верит, мамка верит в белые сапожки для Настены и в то, что, если прижмешь язык к нёбу, то не заплачешь, мамка верит, что все можно вытерпеть. Горячие слезы текли по Настениным опухшим щекам жирно, как топленое масло, без остановки. Рот беспомощно ловил воздух — выходило натужно, горько, противно выходило.

Аглая застыла. Настька плачет. Настька, которая никогда не плачет, плачет. Аглая дернулась Настьку обнять, но не смогла. Тело не послушалось. Были глаза, которые пялились, не моргая, на Настьку, и остальное застывшее тело, никак друг с другом не соединенные. Аглая знала, почему плачет Настька.

Настена знала, что курица знает, и от этого плакала еще сильнее.

Они обе знали. Они также обе знали, что про такое друг с другом не поговорить, такое вместе

не выплакать. О таком даже думать вместе нельзя. И даже подумать о том, что вы думаете об этом вместе, нельзя.

— Там фотография, классная… Ольга Николаевна меня… Фотограф сказал, срочно… — Аглая убрала от Настьки руку, кивнула на дверь.

— Уйди-и-и же, уйди! — Настена оторвала прилипшую к коленям пухлую руку, пихнула сидящую на корточках курицу в плечо. Боль была невыносимой, да, но терпеть ее без курицы было легче, легче, легче…

Аглая покачнулась, упала, но удержалась, оперевшись сзади на руку. Ей приказали уйти. Теперь было можно. По-паучьи Аглая отползла на два шага назад. Поднялась. Сглотнула.

— Я скажу Ольге Николаевне, что ты будешь через десять минут, что ты… в туалете, приходи, или она сама… за тобой. Ты же ее знаешь… — Аглая поднялась, быстро, почти бегом, направилась к выходу. Перед дверью на секунду помедлила, может, нельзя уходить, может, что-то нужно еще сделать, посмотрела на Блока. В закатном солнце нахально, без спроса валились в большие окна класса, алели, беспорядочно паря, метались во все стороны крошечные пылинки. Нужно завтра протереть шкафы. Сколько пыли. Аглая оперлась

о стол, прислушалась. Всхлипы в углу затихли. Да, настоящий, деревянный стол, стоит. И завтра будет стоять. Кивнула то ли сама себе, то ли Блоку и бесшумно закрыла за собой дверь.

* * *

Трехэтажная школа — сколько таких в целой стране, одинаковых и безликих! Бетонная лестница. Ты взбегала по ней вверх, неслась вниз. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Бесконечное число раз, но ты так никогда и не запомнила, сколько на лестнице ступенек. Лавка из физкультурного зала. Тяжелая. Лавка дубасила тебя по лодыжке, когда ты через нее прыгала, а сейчас делает вид, что ничего не было, что ты все придумала, что все было хорошо.

Общее фото класса в конце года. Вещественные доказательства того, сколько тебя здесь продержали. Состав преступления определен. Преступники никогда не будут наказаны.

Фотограф нервничает. Десятый «А». Последние. Солнце уже заходит. Зайдет совсем — придется приезжать еще раз. Кто ему за дополнительную смену заплатит? Десятый «А», готовы?

Слева на лавке — Наташка. Волосы у Наташки распущенные, длинные. Два года до совершен-

нолетия и долгожданной стрижки. Белая блузка. Прямая спина. Черные брюки. Руки на коленях. Правая на правом. Левая на левом. Туфельки. Тоже черные с голыми носочками. Идеальная как надо — девочка со школьной фотографии. Безликая. Таких на фотографиях не запоминаешь. В ушах у Наташки черные кабошоны в тонкой золотой оправе. Клипсы. Уши мама ей так и не разрешила проколоть. Наташка в клипсах широко улыбается. Год она заканчивает без троек. Даже математику, вернувшись за парту к Аглае, вытянула. Аглая во время годовой контрольной решила и свой вариант, и Наташкин. Осталась без карточки со звездочкой. Зато с Наташкой.

Рядом с Наташкой — Олька Воронина. Джинсы-варенки. Белый свитер. Горло — хомут. На голове — начес и челка трубой. Олька теперь дружит с ней и с Наташкой. Прибилась после Наташкиного побега. Олька и Аглая вместе гуляют с собаками, Аглая с Чегеварой, Олька с Лесси. Иногда с ними ходит гулять Олькин сосед, мальчик в джинсах клеш, но у него нет собаки, он пахнет апельсинами, и он лысый.

В середине лавки — Ольга Николаевна. Красное платье. Подплечники. Белый воротничок. Ольга Николаевна смотрит прямо. Не улыбается. Ольга

Николаевна не любит летние каникулы. Три летних месяца длятся как шесть. Ольга Николаевна всегда выходит из отпуска первая в середине августа, сидит подолгу одна в пустом классе на втором этаже, ест курабье, пересаживает цветы, достает портреты писателей из шкафчика, протирает, назначает дежурство классиков на стене на будущий год.

Справа от Ольги Николаевны — Аглая. Грамота с благодарностью от школы за отличное окончание десятого класса. Аглаю уже сфотографировали отдельно для галереи на первом этаже. Черная юбка до колен. Обыкновенная. Белые колготки. Обыкновенные. Белая блузка. Обыкновенная. Сверху — кардиган цвета фьюша. Необыкновенный. Аглая первый раз в жизни попросила у мамы что-то себе из одежды. Мама удивилась, но купила. Аглаины волосы собраны в мальвину. Длинные и пушистые. Пахнут отваром смородинового листа. Аглая уже не такая незаметная, как в прошлом году. Фьюша кардиган сразу притягивает глаз. Как розовые астры в дедовском букете. Правая рука Аглаи сжата в кулак, накрыта левой. Фотограф велел улыбаться. Аглая улыбается, но с закрытым ртом. Не так нахально, как Ксюшка.

Ксюшка лыбится так, что ее улыбка, кажется, спрыгнет сейчас с фотографии и лангольером поскачет за тобой, щелкая жвалами. Джинсовая юбка. Аляпистый свитер. Огромные розовые клипсы. Ксюшка перепутала фотографию класса и дискотеку в кафе. Ольга Николаевна уже пять раз пожалела, что разрешила им одеться свободно. Фатальная ошибка. Кто во что горазд. Ярмарка подросткового недоразумения. Страна, которой индивидуальность каждого гражданина не к лицу. Индивидуальности эти друг с другом совсем не сочетаются, не умеют сосуществовать. Какофония. Хаос. Неединообразие.

Петька справа от Ксюшки. Высокий. Красивый. Петька коротко подстригся под бобрик. Период Ди Каприо у него закончился. У Петьки новая джинсовка и роман с Ксюшкой. Петька все также филонит с уборкой класса и все так же просит списать математику.

Настька в леопардовых лосинах и белых сапожках. Но ни лосин, ни сапожек не видно. Виден только свитер-балахон. Ольга Николаевна поставила Настьку в последний ряд, чтобы она не портила фотографию своим опухшим лицом. Богданова, тебя что, в стиральной машинке постирали? Настька, постиранная в стиральной

машинке, смотрит прямо, широко улыбается густо намазанными розовой помадой губами, и кажется, что она этой же помадой и глаза себе замазала, и щеки.

«Улыбаемся, дети! Веселее! Скажите "чиз“!» Фотограф доволен. Успели. «Один. Один год остался, — думает Аглая. — Всего один год заключения». И вместе со всеми громко, с хорошо поставленным американским произношением говорит: «Чи-и-из!»

* * *

Аглая вставила кассету.

«Картошка. Лида».

Нашла! Я тебя нашла, выходи! Видеомагнитофон Panasonic зажужжал, заглотил добычу, чавкнул. Крышка с надписью Super Drive щелкнула, прыгнула на место. Play. Телевизор зашипел мелким черно-белым просом, икнул, выплюнул на экран трактор с плоской мордой ротвейлера. Трактор, увидев камеру, замер, порычал для порядка: ближе не подходи, укушу — вернулся к работе. На краю темно-серого, расчерченного грядами, как по линейке, поля обувной щеткой торчал лес, не давал полю растечься за пределы кадра. Запись была старая, рябила царапинами,

пузырилась черными волдырями. Аглая моргнула. Ввысь, по диагонали экрана дернулась утка. Картинка мигнула, кадр сменился.

Поле ожило, зашевелилось, подхватило ритмичное движение работающих на нем людей. Телогрейки. Резиновые сапоги. Платки. Лыжные шапки. Люди вскакивали, изгибаясь дождевыми червяками, падали обратно, извлекали из земляных кишок клубни картофеля, скидывали в ведра — манна, но не небесная, а земная, осязаемый результат планомерной трудовой деятельности — ведра ссыпали в мешки, мешки закидывали в прицеп трактора. Точное, ритмичное, непрерывное движение. Ритуальный танец поклонения полю, восхваление урожая: «О ты, вино из вены черной! Играйте, пойте!»[86]

Трактор-ротвейлер скалился, тарахтел, вилял прицепом. Люди хлопали трактор по кабине, хвалили. Хороший пес! Хороший! Поле пульсировало, полнилось, вздымаясь, потело вместе с людьми. Люди, любя, взбивали его в черную пену, наполняли кислородом, освобождали от беремени переношенных плодов, целое лето и полсентября высасывающих все его соки, выпив-

---

[86] Примечания: 86

П. Верлен «Сбор винограда». Пер. Ф. Сологуба.

ших всю его черную кровь, опустошивших его, жадно забравших всю силу, молодость, жизнь, как младенец себялюбиво высасывает мать, не спросясь, а только требуя: «Мне! Все мне!»

Аглая нахмурилась. Что за кассета? Она не помнила ее. Картинка снова щелкнула. Трактор сменился КамАЗом. «Зачем я это смотрю?» — подумала Аглая, но телевизор не выключила, залезла на диван, натянула Бабушкино ватное одеяло, красным глазом-ромбом приглядывающее за ней из белого пододеяльника. КамАЗ, чихая паром, переваливался по полю. Кассета опять зашипела. Экран почернел. «Ноздри убери! Да, ноздри свои ослиные убери от камеры! Ты мне весь объектив заляпал соплями. Сказал же! Ноздри убери!» Камера дернулась, уворачиваясь от назойливого ухажера с ослиными ноздрями, хихикнула. Лоб, переносица, улыбающийся глаз. «Да ты не так держишь, Мартыныч! Что ты шатаешься, а? Не шатай, говорю тебе! Дай сюда! Сюда дай!» Камера чиркнула объективом белое небо, упала беспомощным жуком на спину, резко подскочила и снова упала, на этот раз в обратную сторону, стыдливо уперевшись в черные сапоги. Повисев так пару секунд, встряхнулась, взмыла вверх, уставилась вперед. Горизонт выпрямился.

На мешках картошки сидели молодые люди, ели бутерброды, пили чай из термосов. «Видишь, как держать надо, Мартыныч! Давай уже! Иди! Начинай свою оперетту!» Люди с бутербродами заулюлюкали, замахали руками и исчезли за широкой, во весь кадр, спиной. Спина постояла перед объективом, оценивая обстановку впереди, начала удаляться от камеры. Свитер. Телогрейка. Длинный полосатый шарф. Прическа Мирей Матье. Штаны с лампасами, заправленные в черные резиновые сапоги. Мирей Матье подпрыгнула, ловко сделала кабриоль. Оп-па! А потом повернулась к камере и… широко улыбнулась своими филатовскими усами.

Аглая вцепилась в Бабушкино одеяло, затрясла головой, сама с собой не соглашаясь. Не может быть! Испуганно дернула головой, сглотнула, расцепила пальцы, спрыгнула с дивана, подбежала к телевизору, пластилиновой куклой из заставки «Спокойной ночи, малыши!» уселась перед экраном, замерла на секунду, а потом схватилась руками за телевизор с двух сторон и потрясла, словно хотела оттуда застрявшую в экране Мирей Матье вытрясти. Папа?!

Мирей Матье подмигнула Аглае, заговорила папиным голосом: «Вадик, ты снимаешь? Вадик,

сюда!

Сюда! Вадик, ты меня сначала снимай».

Аглая отдернула руки от телевизора, будто схватилась за оставленную на плите Бабушкину раскаленную чугунную сковородку.

Папа сделал два больших шага обратно к камере. Встал по пояс. Каре Мирей Матье ему совершенно не шло. Челка тоже. «Так?! Как мне встать? Вадик, ты режиссер или что? Командуй! Меня видно? Нужно, чтоб меня видно было». Папа совсем молодой, как на черно-белой фотографии из дедовского альбома. Серый полосатый свитер. Лысая трехмесячная Аглая в ползунках. Папа держит ее вверху, как космонавта, на вытянутых руках. Они друг другу улыбаются: папа Аглае — усами, Аглая папе — беззубым ртом.

«О, добрый наш рыцарь Дон Кихот Ламанчский!» — из-за папиной спины выскочил высокий парень, похожий на осла из «Бременских музыкантов». Волосы по плечи, джинсы клеш, в руках пустое железное ведро. Папа не успел оглянуться, ведро шлемом приземлилось ему на голову, спрятало усы. Парень по-ослиному заржал. Папа замахал руками: «Сашка, дурак совсем, что ли! — Скинул ведро, стряхивая землю, замотал головой, впихнул шлем Сашке обратно в руки: — Я те-

бе! — Погрозил кулаком. — Сам же знаешь?! Чего ты?! Гитару неси, Санчо Пан-са недоделанный!» Сашка, отвешивая поклоны и шаркая ногой, удалился.

Аглая улыбнулась. Точно! Папа же на картошку ездил в институте. Она тоже мечтала на картошку, родительские рассказы про картошку напоминали разом приключения и Жюль Верна, и Дюма, и «Петрова и Васечкина». Но в школе была только дурацкая летняя практика. Две недели. Пропалывание сорняков, уборка мусора на пришкольной территории, высадка маргариток в клумбы.

Сашка вернулся в кадр с гитарой. «Вадик, ты снимаешь?! Снимай меня!» Папа забрал гитару, от Сашки отмахнулся: «Иди отсюда!»

«Да снимаю я тебя, только тебя и снимаю! Давай уже! У меня пленка не вечная. Да и Лидка твоя сейчас того… Да, Лидка?! Не дождется!»

Папа выпучил глаза, сделал Вадику угрожающий жест — молчи! — отряхнулся еще раз, оглянулся назад, кивнул кому-то, откашлялся. «Дорогие товарищи… Мы рады приветствовать вас в лучшем, не побоюсь этого слова, образцово-показательном колхозе нашей области!»

«Н-да! Сюда послать мог только пьяный — спа-

сибо нашему декану!» — из-за папиного плеча опять выскочила Сашкина лохматая голова.

«Исторический момент не порти мне, пожалуйста! Убери свою нечесаную опухщую рожу из кадра! — Папа ладонью свободной руки отпихнул Сашкину голову. — Итак, товарищи, вчера в дружеском матче „Студенты Высшего московского технического училища имени Николая Эрнестовича Баумана против работников колхоза «Красный путь»" победили… — папа ударил по струнам, гитара протяжно, расстроенно загудела, будто ей случайно сделали больно, — колхозники».

«у_у-у_у_у_у! — студенты на мешках оживились. — Позор! Позор Бауманке! Пить меньше надо, студенты! Да при чем тут пить! Это всё Лешка! Три гола пропустил! Одни привозы! Лешка дерево! Вратарь-дырка! Да это уже не дырка, а черная дыра какая-то! — все расхохотались. — Лешка вратарь — черная дыра! Ну что это такое?!»

«Да нас просто плохо кормят! — заорал Сашка Санчо Панса, возмущенно вскинув руки, и опять впрыгнул в кадр. — Объявляем бойкот переваренным макаронам с тушенкой! У Лешки вон рожа больше ворот уже! „Робин Бобин Барабек

скушал сорок человек[87]!“ Да и у тебя, Маратыч, штаны по лампасам трещат! Даешь грибной суп и гречку честно выполняющей социалистический трудовой долг молодежи!»

«Поддерживаю! — в кадр выскочила девчонка с черными косами и в шапке с помпоном. Глаза у нее были чуть раскосые. Узбечка или казашка? Аглая их не различала. — Мы всю карамель из сельмага потребили! Требуем бутерброды с повидлом и нормальное питание работникам умственного труда!»

«Это ты-то, Мадин ка, работник умственного труда?! — Сашка хмыкнул. — На место давай, не мешайся, тут важные дела делаются, давай своими бумажками занимайся или, лучше, мной, мной, Мадиш, займись! Я весь тут! В твоем полном распоряжении!» — Сашка попытался Мадинку обнять, но она вырвалась.

Папа нахмурился, замахал свободной рукой, отгоняя Сашку и Мадинку: «Развели тут „Анжелику"! Выйдите оба из кадра немедленно, с вами все понятно давно! Все претензии по питанию перенаправляем Тошке, дежурному по костру».

«Я вам картошку сегодня сварю! Во-о-о! Лучшие

---

[87] Примечания: 87
К. Чуковский «Робин Бобин Барабек».

клубни отобрал! В мундирчике! — отозвался долговязый Тошка с дальнего мешка. — Соль у нас, правда, осталась только каменная. На газетку и жестяночкой!» Все загудели, картошку на ужин одобрили.

«Прошу занести в протокол, что матч был проигран из-за плохих погодных условий», — в кадр вошел толстенький очкарик в клетчатой рубашке и сбитой набок шапке-ушанке.

«Плохому танцору, Лешка…» — папа покачал головой.

«Сам ты плохой танцор, Мартыныч! — Очкарик ткнул папу кулаком. — Ты, между прочим, капитан нашей команды! Забыл?! Ты только Лидке на гитаре песни орать горазд! Кто нас тренировать будет?!»

Папа отмахнулся: «Ты сначала килограмм десять сбрось, потом про тренировки поговорим!»

Лешка хотел возразить что-то, но его перебила камера: «Кончай базар! У меня пленки не хватит! Важное объявление. Дискотека состоится сегодня в любую погоду. Форма одежды парадная. Телага, кеды, девочкам — мини-юбки».

«Раскатал губу! Мини-юбки ему! — широко, по-итальянски замахала руками девушка в платке, на полголовы выше папы. Она подошла вплот-

ную к камере, пухлогубая и принципиальная: — Сам давай в такой холод в мини-юбке ходи! Мы в штанах с начесом придем, если вообще придем… Вот с Лешкой там и танцуйте! Без нас!»

«Ты, Валентина, можешь хоть в скафандре! У тебя такие ноги, Валентина, что тебе все юбки автоматически мини!»

«Валька, выйди из кадра, а?! — папа нервничал. — Дело важное, Валька! — папа кивнул на гитару, склонил набок голову, развел руки. — Ну что ты, в самом деле?!»

«А ты поменьше на мои ноги засматривайся, понял?!» — Валька уставилась в камеру, замерев в позе модели, а потом не спеша развернулась и очень медленно пошла прочь, аккуратно ставя ноги одну перед другой. Камера заулюлюкала.

Папа выпрямился: «А теперь позвольте представить вам героиню сегодняшнего дня. Мисс Борозда этого сезона, Лидия Василенко!» Толпа засвистела и звонко заскандировала: «Лид-ка! Лид-ка! Лид-ка!»

«Да чего ты меня снимаешь, обалдуй? Ты вон ее снимай!» — папа ткнул гитарой куда-то вправо. Камера мотнулась в сторону картошки.

«Вадик, да в кого же ты такой криворукий, ей-бо-гу! Сюда смотри! Сюда!» — крикнул папа.

Камера перестала метаться, опомнилась, остановилась. На мешке картошки в первом ряду сидела… мама. Очень молодая. Очень красивая. Очень на себя непохожая. Прямые волосы ниже плеч. Густая челка, закрывающая темные брови и глаза с нависшими веками, как у Аглаи. Тельняшка с собранной гармошкой рукавами. Обтягивающие темные спортивные штаны, заправленные в высокие резиновые сапоги. Софи Марсо. Мама встала, сложила руки на груди, как часто делала, когда ее заставали врасплох, посмотрела на камеру.

«Лидка, вот так и стой! Никуда не уходи, поняла меня? *Я тебя* очень прошу. Вадик, ты снимаешь? — Папа ворвался обратно в кадр, встал напротив мамы. — Вадик, снимай! Снимай, Вадик! С меня сопромат! Как договаривались! — Папа повернулся к маме: — Сейчас я исполню для моей Лиды песню». Папа схватил Сашкино железное ведро-шлем, перевернул, поставил на землю, на ведро водрузил ногу в сапоге, положил на колено гитару, обернулся в камеру, кивнул Вадику, ударил по струнам и запел: «Мир непрост, совсем непрост…»[88] Мама замерла, а потом улыбнулась

[88] Примечания: 88

Здесь и далее цитаты из песни «Все, что в жизни есть у меня» группы «Самоцветы». Автор текста Л. Дербенев.

очень простой, счастливой улыбкой, которой она улыбалась только на Дедушкиных черно-белых фотографиях в коричневом альбоме. «Нельзя в нем скрыться от бурь и от гроз…»

С мешков картошки повскакивали Валька, Мадинка, другие девочки. «Нельзя в нем скрыться от зимних вьюг». Они окружили со всех сторон маму. «И от разлук, от горьких разлук». Девчонки вскинули руки, переглянулись, синхронизируя движения, и закачались. Из стороны в сторону. Как худые молоденькие березы на ветру. «Но кроме бед, непрошеных бед…» Мама всех оглядела, убрала руки с груди и заулыбалась еще шире. У нее на щеках выскочили ямочки. Тоже счастливые. «Есть в мире звезды и солнечный свет». В кадр заскочил Сашка с огромной алюминиевой крышкой в левой руке, видимо изображавшей солнце. Сашка махал крышкой, будто это было не солнце, а бешеная, не определившаяся с курсом комета. «Есть дом родной и тепло огня…» Сашка бегал между девчонками, сжимая и разжимая кулак свободной руки, да так рьяно, что, казалось, крышка действительно светится. «И у меня, есть ты у меня…»

Первомайка. Аглае пять лет. Они идут с папой и мамой домой из парка аттракционов. Мама

держит Аглаю за правую руку, папа — за левую. Весна. Тепло. Везде лужи. «Раз, два», — считают мама и папа хором, в унисон… Аглая делает шаг, второй, главное, не сбиться и хорошенько оттолкнуться. «Три!» Аглая вскидывает согнутую в колене левую ногу, сильно отталкивается правой и, визжа, взлетает высоко-высоко над самой большой лужей на Первомайке. В этом месте всегда лужа, тут давно просел асфальт. Мама с папой действуют слаженно, как единый механизм — подъемный кран пятилетних Аглай. Аглая перелетает через лужу. И смеется. Как мама на видео. Просто и счастливо. С ямочками на щеках.

На кассете уже поют все — Валька, Мадинка, Сашка-солнце: «Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня…» Папа поет громко, в такт мотая головой. Остальные — как придется. Валька — красиво, звонко, оттеняя папин хриплый голос. Сашка — невпопад, на какой-то совсем другой мотив. Все смеются и пихаются. «Все, о чем тревоги и мечты, — это все, это все ты!»

Аглая маленькая, елка большая. Папа притащил елку вчера вечером, и она никак не залезала в квартиру, не проходила в дверь. Дверь полностью давно не открывается, там Дед хранит лыжи,

палки, строительный материал для недостройки. Но все хорошо. Бабушка ругается на Деда, Дед, бурча, вытаскивает хлам из-за двери. Елка, зеленая, величественная, нарядная, уже стоит в большой комнате между сервантом и телевизором. Гордая. Она выполнила свою кармическую задачу — принесла много-много радости, только не всем детишкам, а одной Аглае. Аглая смотрит на елку, а видит себя как будто со стороны, маленькую, лохматую, в трусах и майке — Бабушка не считает необходимым дома наряжаться, они с Вероничкой по дому в трусах гоняют, — и удивляется, как широко у нее открыты глаза и рот. Елка почти до потолка в два метра шестьдесят сантиметров достает. Мама вручает Аглае звезду. Звезда красивая, красная, кремлевская. Дед купил ее на елку в год рождения Аглаи. Папа поднимает Аглаю, сажает на плечи, держит за голые ноги, Аглая тянется и надевает звезду на самую вершину. Вот теперь настоящий Новый год! Папа ставит Аглаю на пол и запихивает в звезду гирлянду. Включает. Звезда сияет как на кремлевской стене. И Аглая со всех ног бежит в коридор за дедовскими валенками, самыми большими, чтобы Деду Морозу было место положить все-все подарки, которые он им приготовил. Один валенок себе. Второй

— Вероничке.

«Мир непрост, совсем непрост…» Вся танцующе-горланящая компания перестает помещаться в кадр. Вадик пытается отойти назад, чтобы всех захватить. «Но не боюсь я ни бурь и ни гроз…» Тщетно. «Не страшен холод, не страшен зной…» Сашка и Лешка берут маму под локти, поднимают, мама подпрыгивает, как Аглая над лужами, оказывается на мешке. «Если со мной, ты рядом со мной».

Лето. Лес. Лапы елей. «Аглая!» — папа зовет ее шепотом, чтобы их не услышали. Грибники — секретные агенты, они умеют читать по мху на коре деревьев, они могут, не уставая, бродить по лесу хоть целый день, они заметают следы и держат в строжайшей тайне свои грибные места. Аглая, спотыкаясь, несется к папе. У нее в корзинке позорно пусто. У папы почти полная, у мамы наполовину, а у нее… Под сосной, свесившей свой хвойный лисий хвост на юг, стоят три белых. Два пузатых, плотных, маленьких, а один такой огромный — шляпка с Аглаин живот. Папа подмигивает. Аглая падает на мягкое игольчатое покрывало, осторожно вонзает пальцы под ножку, как учил папа — главное, грибницу не повредить, — выворачивает гриб, держит двумя

руками. Один гриб — а она всех опередила! Полную корзину набрала!

«С бедой я справлюсь, любовь храня…» Сашка не выдерживает, бросает свое алюминиевое солнце, подхватывает Мадинку. Мадинка не сопротивляется, обнимает Сашку за шею. «Ведь у меня, есть ты у меня…» Камера дергается.

Аглая вытирает рукавом непонятно в какой момент брызнувшие слезы и понимает, что глаза, щеки, подбородок у нее мокрые. Будто кто-то сделал из воздушного шарика водного поросенка и кинул не из окна на асфальт, а прямо ей в лицо. Поросенок взвизгнул и лопнул. Аглая, как тогда в детстве, видит себя со стороны и, как тогда в детстве, удивляется, отчего она плачет.

Вадик и камера сдаются, танцуют и поют со всеми. Кадр скачет и тоже поет. «Все, о чем тревоги и мечты…»

Аглае хочется танцевать со всеми, но она не может ни расцепить сжатых до онемения кулаков, в которых застряло Бабушкино одеяло, ни перестать плакать, слезы текут и текут, и тоже танцуют.

«Это все, это все ты-ы-ы-ы-ы!» Папа бросает гитару, подходит к маме вплотную. Но музыка не останавливается. Санчо Панса подхватывает

гитару.

Аглая всхлипывает и слышит, как где-то справа, в коридоре очень громко и очень не к месту начинает трещать телефон: «тр-тр-тр».

«Все, все, что в жизни есть у меня…» Папа встает на одно колено прямо в грязь — тр-тр-тр, — берет мамину руку — тр-тр-тр — и кричит, пытаясь заглушить разбушевавшихся студентов: «Лидка, я тебя так люблю! Выходи за меня замуж!» Тр-тр-тр. «Выходи, Лидка!» — кричит Сашка Санчо Панса. Тр-тр-тр. «Сыграем осеннюю свадебку в общаге!» Тр-тр-тр. Мама стоит на мешке, смотрит на папу сверху вниз и кивает. Тр-тр-тр. Тр-тр-тр. Папа вскакивает с земли, обнимает маму за колени и кружит. Тр-тр-тр. Камера так дергается, что ничего непонятно. Тр-тр-тр. «Свадьба!» — орет Сашка Санчо Панса. Тр-тр-тр. «Все, больше не могу!» — орет Вадик. Тр-тр-тр. Аглая пытается нащупать пульт, его нигде нет. Тр-тр-тр. Аглая разжимает онемевшие пальцы, скидывает одеяло, встает. Черный экран снова поет: «Все, все, в чем радость каждого дня…» Аглая, вытирая текущие из носа сопли, идет в коридор. «Все, о чем тревоги и мечты…» «Хорошо, что Бабушка ушла за картошкой в погреб, Дед на даче, а мама на работе», — думает Аглая. «Это все, это все ты-ы-ы-ы-ы!»

Аглая хватает трубку телефона, пытается перестать плакать и не может, захлебывается. Она набирает полный рот воздуха и на выдохе заставляет себя ответить:

— А-алло!

— Алло… Алло… Алло… — как эхо, три раза повторяет трубка голосом Егорыча и замолкает.

— Да! Слушаю! Алло!

Голос Егорыча сглатывает.

— Гпашуня, ты? — чмокает. — Мартыныч. Мартыныч. Папа твой, значит. Это ж как же… Того… Аглая молчит.

— Упал он, мы на речке нашей были, только с нереста вернулись, значит, а он… — Егорыч заикается. — А он на холму-то, на холму, упал и…

«Это все, это все ты-ы-ы-ы-ы!» — последний раз орет невпопад из большой комнаты Сашка Санчо Панса, так и не уловивший ни мотив, ни ритм песни.

— …умер, значит. Упал и умер, значит, — повторяет Егорыч, будто сам забыв, что уже это сказал.

Аглая видит гору, горбуна и луну — она пялится на нее и смеется.

Аглая перестает плакать. Совсем. Все разом высыхает. И глаза. И щеки. И подбородок. Все разом краснеет, жжется. И глаза. И щеки. И под-

бородок. Будто кто-то наставил на лицо горячий фен, нажал ВКЛ и дует в нее. В квартире очень тихо. Только черным снегом шумит все-таки закончившаяся у Вадика и вправду оказавшаяся невечной пленка.

Телефонная трубка тоже молчит, а потом еловым голосом Егорыча всхлипывает и говорит совсем уже непонятное:

— Это ж как же… Глашунь. Батя твой… Вот же как вышло. Ровно на Зосиму-заступника преставился. Его, Глашунь, к Господу старец Зосима, значит, поведет, вот и будет ему на том свете проводник, милая, хороший он старец, добрый, чудотворец Соловецкий, Зосима-то наш, пчельник.

Глава двенадцатая
Зосима-пчельник

Церквей в городе было две: в валу и на окраине города, на холме, где Аглаю крестили. Отца отвезли в нее. Аглая не плакала, не разговаривала, не думала. Делала, что ей говорили: «Сними джинсы. В джинсах нельзя. Надень юбку. Нет, не эту. Длиннее есть? Попей воды, сколько там сидеть придется, неизвестно. Волосы собери. Нет, не так, дай сама соберу». Папиной смертью командовала тетя Зоя. Сухая, собранная, унаследовавшая дедовскую генеральскую стать, она единственная после звонка Егорыча не растерялась, быстро приехала, оценила обстановку, приняла единственное правильное в сложившихся обстоятельствах решение — установила автократию имени себя. Смерть ее не дезориентировала, не расшатала, спокойствия не лишила. Смерть придала тете Зое сил, сосредоточенности, наделила невидимой, но признаваемой всеми домашними властью. Никто не сопротивлялся, не бунтовал, механизмы народного контроля установить не пытался. Все, кроме тети Зои, вдруг забыли, как

жить, и были рады, что кто-то помнил это за них, отдавал четкие, понятные команды.

«Становись!» — вся в черном, тетя Зоя несуетно, споро дирижировала воцарившимся в квартире хаосом. Дед лежал на диване, спрятавшись в серую натянутую до кончика его персидского носа вязаную шапку, хрипло ворчал: «Развели духовную сивуху! Придумали мне тоже, отпевать атеиста! Еще б царю-батюшке сапоги почистили! Жополизы поповские! Его посмертно крестили, что ли? Попы-то и по черту панихиду отслужат, коли на лапу дашь! Все люди братья, люблю с них брать я!» Деда никто не слушал, даже Бабушка, давно привыкшая, что Дед говорит без остановки, как радио, у которого сломался выключатель, не отвечала. Дед знал, что его никто не слушает, хрипел еще ворчливее. Бабушка бегала из комнаты в комнату, а прибежав, останавливалась и пустыми глазами смотрела по сторонам, позабыв, зачем прибежала. А потом заперлась в туалете, принялась отмывать унитаз так усердно, что можно было подумать, папа умер из-за грязного унитаза, понес кару туалетного божка, Кавайя Ками, заброшенного к ним из Японии случайно, по образовательному обмену с местными домовыми.

«Смирно! Всем надеть черное!» Черный цвет удачно контрастировал с короткой дерзкой стрижкой тети Зои, придавал еще больше веса, превращал в председателя комсомольской организации. Тетя Зоя снова ходила блондинкой — посмотрела «Бангкок Хилтон», решила, что очень похожа на Николь Кидман, перекрасилась из натуральной шатенки. Маму черная одежда, в отличие от тети Зои, побила, смяла, как нетерпеливый подросток безжалостно мнет бесполезный бумажный пакет из-под съеденных пончиков. В Бабушкином черном платье для похорон мамино тело скукожилось, потеряло форму, стало не больше Аглаиного.

«Налево — равняйсь!» От кресла, где спряталась мама, доносились невнятные звуки, которым сложно было подобрать название. Если бы мама, как нормальный человек, плакала… Но нет, мама не плакала. Мама то хрипела, как дешевые китайские наушники, то захлебывалась, будто тонула, то выла, как человек, которому дверью только что со всей дури прищемили палец — «А! А-а-а-а! А! А-а-а-а!», — боль невыносима, все отключилось. Вспышка ядерного взрыва. Болевой шок. А ты в эпицентре, должна была распасться на элементарные частицы, но почему-то не распалась.

«На середину — равняйсь!» Аглая к маме не приближалась. Страшно было приближаться. Тете Зое лежать, ворча, на диване, выть, хрипеть, бегать по комнатам и мыть туалеты было некогда. Смерть — дело хлопотное, многозадачное. И казалось, что тетя Зоя одна во всей семье это осознавала. Позвонить в больницу, в милицию, в морг. «Что? Вскрытие сделали? Что? Кто разрешил? Работникам правоохранительных обязательно? Что? Омертвение чего? Участка сердечной мышцы? — Тетя Зоя все переспрашивала дважды и записывала в Бабушкин телефонный справочник. — Миокарда? Какой желудочек? Левый? Что? Вы сначала сказали — правый. Помедленнее говорите, я вам не стенографистка. Согласовать время отпевания. Уточнить детали похорон. Организовать прощание. С народом? С каким народом? Что? Вы в своем уме? Собрать мыло, носки, станок для бритья, расческу, полотенце. Большое полотенце? Я не ору, я уточняю размер необходимого полотенца, женщина. Вы глухая? Станок, станок, спрашиваю, одноразовый? Может, вы там покойников "Жиллетом" бреете, я откуда знаю. Это у вас каждый день новых покойников с десяток, а у меня первый за последние десять лет, женщина. Да, первый.

Перестаньте мне грубить. Это кому из нас с вами не повезло, мы еще посмотрим, когда я жалобу на вас напишу! Носки, спрашиваю, новая пара?»

«Отставить!» Тетя Зоя управилась со всеми формальностями, села на кухне выпить чая, передохнуть и тут, кажется, в первый раз заметила маму, сморщила нос. Определила положение как крайне неблагоприятное. Мама к этому моменту перестала издавать нечленораздельные звуки, стрелкой метронома монотонно покачивалась на кресле вперед-назад. Да, в таком виде до церкви ее не дотащить, оценила тетя Зоя. И дядя Валера, как назло, только завтра из командировки возвращается. «Как не вовремя твой отец решил умереть! И тут всем насолил!» Тетя Зоя отставила чашку с чаем, вздохнула, пододвинула к маме табуретку, села рядом, поставила руки в четвертую балетную позицию, продела внутрь конструкции маму, будто у мамы было заразное заболевание и тетя Зоя боялась до нее дотронуться, застыла. «Ну буде, тебе! Все! Все! Лидок, возьми себя в руки! Было бы по кому убиваться!» Мамино метрономное покачивание остановилось. Она вернулась на момент хлопка двери, опять завыла. «Так! — тетя Зоя чмокнула, аккуратно, не меняя позиции рук, поднялась, взяла чашку чая, выпила залпом, как

стопку водки. — Так, — повторила она и сменила тактику: — Сказала тебе! Прекрати, Лида! Устроила тут плач Ярославны! Нам еще полночи в церкви торчать! Наплачешься. Развела Азовское море! Успокоилась. Вон, Глашка маленькая, а держится лучше всех вас! Молодец, Глашка! — Тетя Зоя ободряюще кивнула ей, как единственному надежному соратнику в стане полностью ополоумевших обитателей Канатчиковой дачи. «Все почти свихнулись, даже кто безумен был»[89]. — Давай, Лидок! — Тетя Зоя смягчила голос. — Соберись! Царство ему небесное, конечно! Но Бог, если он есть, все видит же, Лидок! Просто так человек порядочный не будет падать и умирать. Нечего… — тетя Зоя сглотнула, не договорила, замотала головой, принялась отдирать маму от кресла. — Давай! Давай! Потихоньку!»

«Вольно!» Тетя Зоя выволокла маму в коридор. Тетя Зоя была права. Папа их бросил. Сбежал. Исчез. Уже год ни слуху ни духу от него не было. Обида. Злость. Забвение. Всех их разом из своей жизни вычеркнул, даже не вычеркнул, а сжег, как Гоголь второй том «Мертвых душ», и маму, и ее, и Бабушку, и Деда, и Вероничку, и тетю

[89] Примечания: 89

В. Высоцкий «Письмо в редакцию телевизионной передачи „Очевидное — невероятное" из сумасшедшего дома — с Канатчиковой дачи».

Зою, и дядю Валеру, с которым они собирались все-таки достроить дедовскую дачу. Будто их не было. Папа им не помогал. Мама все на себе тащила. Семью кормила одна. Взяла дежурства по ночам, охранять компьютеры в вычислительном центре, чтобы Аглае английский оплачивать. А папа? Большой разницы в том, умер он или просто исчез, по факту не было.

— Надевай! — тетя Зоя поставила перед Аглаей сапоги. — Больше черного нет ничего. Всё, что нашла. Давай, натягивай! У тебя какой размер?

Тети-Зоины черные сапоги-чулки заметно состарились, по-стариковски сутулились длинными голенищами. Тетя Зоя в них лет семь, не снимая, отходила. Капроновые колготки, миниюбка на две ладони выше колена. Ее на работе Зинкой прозвали, все спрашивали: «Когда в Гагры, Зин?!» Через два года танкетка протерлась. Дядя Валера спас ситуацию, залил дыры эпоксидкой. Когда тетя Зоя их наконец списала, они были еще на ходу, отправились на антресоль доживать свой век по соседству с пустыми трехлитровыми банками и покопанными коньками. Вот пригодились. И не просто пригодились. Жизнь приготовила им прощальное турне. На этот раз самое прощальное. В обоих смыслах этого слова.

Аглая натянула сапоги.

— Ну как? Ничего вроде. — Тетя Зоя с некоторой ревностью окинула взглядом сапоги на чужих ногах.

— Вел-л-лики… — промямлила, заикаясь, Аглая.

— Велики — не малы. Потерпишь, Глашка. — Тетя Зоя осеклась, поджала губы, переговорила с вопросительной интонацией, погладив Аглаю по голове: — Потерпишь?

Аглая кивнула. Она потерпит. Конечно, потерпит. Главное, чтобы тетя Зоя вдруг домой не уехала. С мамой она одна не справится. Тетя Зоя выставила большой палец вверх, принялась обувать всхлипывающую, как сапоги на Аглаиных ногах, маму.

«Рота! Слушать меня! Перемотать портянки! Восстановить сбившийся строй! Вы-хо-ди!»

* * *

По дороге в церковь Аглаю перестали двигать с места на место, как табуретку. Тетя Зоя отдала понятную, четкую команду: «Шаго-о-ом марш!» Аглая шагала. Подальше от тети и мамы. Молча. Только сапоги неуклюже хлюпали, как сопливый ребенок, который упирается каблуками в

землю, когда родитель против воли тащит его в сад. Полтора размера разницы с Аглаиной ногой оказалось не самым серьезным изъяном сапог. Поролоновая подкладка парила ноги. Как тетя Зоя в них столько лет отходила, оставалось загадкой.

На улице было тускло, промозгло, по-апрельски. Черный спрессованный до бетона снег держал последнюю оборону зимы вдоль решетки детского сада. Таял медленно, лениво, неохотно: «Рано еще меня со счетов списывать!» Аглая не любила детский сад. На прогулке ходила туда-сюда по бревну, смотрела на окно кухни на седьмом этаже их панельки, посылала Бабушке сигнал: «Забери! Забери!» Бабушка сигнал почти всегда безошибочно улавливала. Аглая-локатор работал без перебоев. Прибегала, запыхавшись, к концу обеда, забирала давящуюся капустной запеканкой Аглаю, засовывала в шубку, за калиткой шептала: «Плюй!» Аглая выплевывала вонючую капусту прямо на снег, обнимала Бабушкины валенки. Домой! Обедать! Вкусно! По-бабушкиному! По-настоящему!

Лужи в тонких чешуйках льда похрустывали под танкеткой сапог, ругались: только же схватились, замерзли, и вот опять ломают! Аглая поежилась. Зябко. Засунула руки в карманы,

вдавила подбородок в шею, спряталась в пещеру куртки поглубже.

Мама с тетей Зоей шли впереди. Тетя Зоя волокла маму сосредоточенно, не сбиваясь с курса, как гиперответственный мальчишка-милиционер, только-только пришивший голубые беззвездные еще погоны с красными лампасами к новенькой васильковой рубашке и еще верящий, что дядя Степа настоящий и всех на свете спасает. «Видишь цель? Вижу! Веришь в себя? Верю! Тогда пошел!»[90]

Мимо проплывали блеклые тени-призраки из жизни по ту сторону от папиной смерти. Аглая их с интересом рассматривала. Живые ли они? Настоящие ли? Кто-то нарисовал их быстро, на бегу, широкими мазками. «Что за болото ты тут развела?» — говорила Марта Игоревна, учительница рисования, заглядывая в Аглаину палетку акварельных красок. Школьно-оформительские. Семь цветов. На крышке картонной коробки — вечно испуганный Пятачок, рассеянно улыбающийся Винни-Пух, Сова-директор в капоре, кибитке с указкой. «Прости, пожалуйста, Пух, но

---

[90] Примечания: 90
Из художественного фильма «Чародеи». Реж. К. Бромберг.

я не чихала»[91].

Кадмий желтый средний. Женщина лет тридцати. Пальто с запахом. Высокие сапоги — змеиная кожа, тонкие каблуки. В одной руке зеленые папки для бумаг, в другой — пятилетняя девочка в шапке с помпоном. Женщина вцепилась в папки, девочка — в женщину. Женщина дергает болтающейся рукой с ребенком, пытается прилипшую девочку с себя стряхнуть — папки тяжелые, двумя руками нести нужно, — не получается. Девочка вцепилась намертво, не отпускает, пытается не отстать. Помпон, свисающий на веревочке с макушки меховой шапки, прыгает вверх-вниз, вверх-вниз, сигнализирует женщине о своем присутствии. У Веронички такая же шапка была. Бобруйская меховая фабрика. Город Бобруйск. Аглая с Вероничкой тогда решили, что в городе Бобруйске живут бобры и на Бобруйской фабрике тоже бобры работают, шьют шапки.

Краплак. Красный светлый. Старый азербайджанец идет им навстречу не спеша, покачивает взад-вперед застиранным пакетом Marlboro с ковбоем. Азербайджанец — в норковой шапке-формовке. Ковбой — в кожаном стетсоне, как у

[91] Примечания: 91

Из мультипликационного фильма «Винни-Пух и день забот». Реж. Ф. Хитрук.

Караченцова. Бабушка пакеты тоже стирает, в машинке Candy, сушит за лоджией, на прищепках. В пакете у азербайджанца звякают бутылки. Азербайджанец седой весь, а усы и брови — черные. Он улыбается в свои черные усы, курит. Азербайджанец проходит мимо, а сигаретный запах остается, крепкий, смолистый, папин. Аглая однажды стащила у папы сигарету, пока он в коридоре распутывал и чинил сети, заперлась на балконе, хотела попробовать курить. Но даже не затянулась. Зажгла сигарету, посмотрела на нее две секунды да и бросила со страху с балкона.

Ультрамарин. Старуха с ахматовскими челкой-шлемом и горбинкой на носу, как таксу, волочит за собой черную клюку. Домой! Домой, я сказала! Старуха еле плетется, а клюка все равно за ней не поспевает. Старуха в этом мире уже чужая. Она это знает. Перед смертью человек попадает в буфер-зону, комнату ожидания без удобств. Кто-то на мгновение, как папа, кто-то на годы, как старуха с клюкой. Старуха в буфер-зоне застряла, шаркает по ней, простукивает асфальтовый пол, ищет выход, никак не найдет. Папе еще, получается, повезло, что так быстро.

Нейтрально-черная. Кусты шиповника. Пустые, подтянутые, когтистые. Сторожат аллею. Тычут

острыми колючками мир — реальный ли еще, настоящий ли? Мир снова недостоверен. Достоверная, доказанная экспериментальным путем реальность в России не приживается, коллапсирует под своим собственным гравитационным давлением, сжимается до критически малых размеров. Бах! Ни один квант сознания отсюда никогда не выберется, ни один фотон памяти не выскользнет. Папа говорил, что черные дыры живут дольше людей. А люди — дольше божьих коровок.

В детстве Аглая собирала с морщинистых, как кожа кончиков пальцев после горячей пенной ванны, листьев шиповника божьих коровок, считала точки — черные дырочки. Крылья у божьих коровок точь-в-точь маленькие сливки. Усики — вязальные крючочки. Черная твердая головка в пилотных очках Антуана Мари Жан-Батиста Роже де Сент-Экзюпери. Быть божьей коровкой — это и значит чувствовать, что ты ни за что не в ответе, не сгорать от стыда, не гордиться, быть свободной. Когда точек оказывалось много — однажды она насчитала целых семнадцать, — Аглаин живот надувался, тревожно чавкал. Что-то было жуткое в таком их количестве, что-то неправильное. Когда точек оказывалось ров-

но семь: три — на одном крылышке, три — на другом, одна — посерединке, можно было загадывать желание, все хорошо. Аглая подставляла божьей коровке палец. Божья коровка послушно забиралась на самый кончик, замирала, дразнила, приподнимая красный панцирь, показывая черные органзовые крылья: «Улечу, никаких желаний не загадаешь!», сжаливалась, упаковывала органзовый парашют обратно, слушала Аглаины желания: «Божья коровка, черная головка, улети на небо, принеси нам хлеба, черного и белого, только не горелого! А коль хлеба не несешь, мне желанье украдешь! Самое заветное, чужим незаметное!» Божья коровка, жужжа, взлетала. Все поняла, все записала. Аглая загадывала коробочку для фантиков, как у Олеськи, красные туфельки с перепонками, как у Аленки, и железную дорогу с поездом! Семиточковая божья коровка все Аглаины желания исполняла: волшебную картонку для фантиков (открываешь с одной стороны — крестик из резинки фантики прижимает, с другой — две параллельные линии) Дед смастерил, красные туфельки оттети-Феклиной старшей внучки в наследство достались, а железную дорогу «Орленок» с черными рельсами и голубым паровозом в большой коробке «В

добрый путь!» принес Дед Мороз. Аглая сидела на галошнице в семь утра первого января, ждала папу с дежурства, обнимала картонную коробку. Папа пришел весь красный, веселый. «Ты чего в коридоре? В трусах!» Но пока железную дорогу Аглае не собрал — «Вот это тебе Дед Мороз угодил, конечно, постарался старик», — спать не лег. Божьи коровки исчезли. Аглая давно уже их не видела. Эндемики Советского Союза. Не захотели к новой стране приспосабливаться или не смогли, оказались с Россией генетически несовместимы, как молоко в бидонах и Надя Богданова, самый юный пионер-герой СССР, девочка-партизанка, про которую Аглае Дед рассказывал и которая в год развала Советского Союза взяла и умерла, как все божьи коровки на свете.

В школе в их классе на третьем этаже горел свет.

Ольга Николаевна опять засиделась, наверное, проверяет тетрадки или смотрит в одну точку, как кошка, которая, не моргая, глядит поверх твоей головы в сгустившуюся пустоту и видит что-то, чего ты не видишь. «Аглая, ты? Иди, иди домой Аглая, все хорошо, спасибо, до завтра». Аглая ускорила шаг, обогнала маму и тетю Зою. Еще встретишь кого из школы, даже тетя Зоя

тогда маму до церкви не дотащит.

Город знобило весной. Пчелы принесли свои золотые ключики, отомкнули летечко, замкнули зимушку. Щелк! Попалась! Не отпустим тебя на волю, до ноября сиди в омшанике, не смей выходить, и так полгода тут шастала!

За школой начинался чужой район, игрушечный, с пятиэтажками. Аглая ездила туда по вечерам на трехколесном велосипеде «Малыш» с Дедом встречать маму с работы. Красная рама. Красные пластиковые педали. Красные кисточки на красных ручках. Дед шел впереди широким генеральским шагом в пять Аглаиных маленьких шагов. Аглая крутить педали не успевала, вскакивала, вставала на заднюю перекладину велосипеда, догоняла Деда, как на самокате, отталкиваясь ногой. Но даже если они совсем опаздывали и мама уже выходила им навстречу, Дед останавливался у ларька, доставал из кармана смятую зеленую купюру в три рубля, покупал Аглае мороженое. Плодово-ягодное в потрепанном бумажном стаканчике всегда было в наличии. Не на много вкуснее прилагавшейся к нему деревянной палочки. Сливочный пломбир в брикете за двадцать копеек привозили три раза в неделю. По праздникам продавали толстенькую

«Лакомку» с медведем на обертке. Когда мороженщица улыбалась Деду улыбкой, которая бы ни за что не понравилась Бабушке, и говорила, что привезли «Лакомку», Дед облокачивался о прилавок, ставил на носок черный сапог, скрестив ноги, мороженщице подмигивал подмигом, который бы понравился Бабушке еще меньше улыбки, покупал десять «Лакомок» разом. В коробке. Когда еще привезут в следующий раз?! До мамы они в такой день не доезжали, неслись наперегонки домой. Аглая впереди! Быстрее, Деда, быстрее! Дед с картонной коробкой сзади. На две недели хватит! Главное, в эти две недели не заболеть, иначе Бабушка будет «Лакомку» плавить в эмалированном ковшике, подавать сладкой жижей в чашке, горлышко жалеть. Ларек-мороженое давно продали косоглазому узбеку. Узбек установил в ларьке тандыр, пек лепешки-кепочки с кунжутом, но тетя Зоя не разрешала их покупать: «Вы что, все совсем ополоумели?! Откуда мы знаем, что он этими руками трогал, куда лазил?!»

Чем ближе подходили к церкви, тем хуже шли тети-Зоины сапоги, спотыкались о ровный асфальт, натирали пятки, соскакивали, вели себя так, что, если бы у тети Зои были силы отслеживать еще и их поведение, она бы им точно

сделала выговор.

— Надень. — У входа в церковь тетя Зоя остановилась, усадила маму на ступеньки, порыскала в сумке, достала три платка. Черный, Бабушкин из серванта, сунула маме, себе повязала хлопковый с вышивкой, Аглае отдала серый, такой большой, что его пришлось обмотать два раза вокруг шеи. Тетя Зоя выглядела в платке задорной колхозницей. Мама — пьяной теткой-охранником. Аглая никак не выглядела.

— Ну, с Богом, как говорится. — Тетя Зоя махнула правой рукой в неопределенном околорелигиоз-ном жесте, кое-как перекрестилась.

Аглая вытащила из карманов руки, посмотрела на пальцы. Два или три? Два или три? Вправо или влево? Вправо или влево?

Тетя Зоя вытерла тыльной стороной ладони мамино заплаканное лицо, поправила ей платок. Кивнула Аглае:

— Настроили тут потемкинских лестниц.

Аглая присела, взяла маму под руку и чуть не упала.

Мама, раза в три усохшая со звонка Егорыча, оказалась на удивление тяжелой. Тетя Зоя строго посмотрела: соберись, мне еще не хватало и тебя тащить. Аглая сглотнула, вцепилась в мамин ло-

коть, кивнула и пошла вверх. По потемкинской лестнице. Считая ступеньки.

* * *

Аглая зажмурилась. Яркий, голый, ладаном пронизанный свет набросился на нее с порога. Сбил. Словно огромный великан, раздув щеки, набрал полный рот этого света, задержал дыхание, а потом плюнул. Окатил душем. Закрытые глаза щипало, но Аглая и через опущенные веки почему-то все видела. Из глубины белого храма на них двигалось что-то темное, большое, неостановимое — фура. Водитель фуры, очевидно, уснул за рулем и точно не затормозит, не успеет, собьет их всех троих разом, проволочит по трассе с полкилометра, бросит умирать на обочине. Аглая до боли сжала веки, досчитала до трех и открыла глаза. На ходу натягивая золотую ризу на черный подрясник, к ним на очень длинных ногах-ходулях несся батюшка. На удивление молодой, лет тридцати пяти. Его распущенные волнистые рыжеватые волосы в церковном свете казались розовыми. Светились. Выпученные, рыбьи глаза смотрели, не мигая, через толстую стенку круглого аквариума очков. Аглая шарахнулась, забыв, что должна поддерживать маму, спряталась за

тетю Зою. Тетя Зоя напряглась, готовая в любой момент подхватить дополнительный вес, но мама устояла, вдруг заново обрела телесность, выпрямила сгорбленную спину, выросла до своего обычного размера. Батюшка затормозил за полшага перед тетей Зоей. Уставил слепящие фары толстых линз прямо на Аглаю. Аглая моргнула ослепленным лосем. Опустила глаза. Больно. Из-под подрясника выглядывали черные кроссовки Nike с необычно большим белым свушем вдоль всего ботинка и маленьким розовым у пятки. Батюшка подался вперед — ряса спрятала кроссовки, — заговорил низким, округлым, окающим баритоном:

— Бо-о-ог не есть Бо-о-ог мертвых, но-о-о Бо-о-ог живых, мо-о-олимся за раба его-о-о, без-временно-о-о нас по-о-окинувшего-о-о.

Батюшка стрелой строительного крана вытянул вперед длинные руки, похлопал одновременно маму и тетю Зою по плечам, маму — по левому, тетю Зою — по правому, будто склеил их боками, потянулся к Аглае. Аглая опять шарахнулась. Тетя Зоя спохватилась, отлепилась от мамы, повернулась полубоком, выпихнула Аглаю вперед. Батюшка погладил Аглаю по голове. Рука у него была рыбья, холодная, как у

старухи. Он тоже, видимо, хранил ее отдельно от тела в морозилке, доставал, отогревал на службу, пристегивал для поцелуев и благословения. Но папа умер внезапно, времени отогревать руку не было. Ноги у Аглаи подкосились, запутались на месте, «пешеходы на третьих» прыгать она не умела. «Слабо тебе, Глашка!» — кричала ей Аленка в пионерском галстуке. Аглая дулась и на себя, и на Аленку. Ей и правда было слабо.

Тетя Зоя опять пихнула Аглаю:

— К лавкам давай.

Аглая не заметила, что батюшка ее отпустил. Казалось, будто рука его так и лежит у нее на голове, как до сих пор там же лежат и старухина рука, и рука Ольги Николаевны, и рука Гудвина. Весь мир пытался научить ее кланяться.

На лавках сидели тетки. Какие-то папины родственницы. Аглая их не знала. Знала только бабу Надю, толстую, опухшую, будто покусанную осами, с черной чалмой сикха на голове, спереди завязанную бантом. Баба Надя косо глянула на них и продолжила беззвучно двигать губами, шепча то ли молитву, то ли проклятие. Тетя Зоя хмыкнула и усадила маму с Аглаей с другой стороны от бабы Нади, на табуретки. Ведьма!

Храм сиял. Золотом. Его с Аглаиного крещения

отреставрировали. Вера выбралась из подполья. Спрос на замаливание грехов рос в прямой зависимости от развития частного бизнеса в городе. Розничная торговля, «Копейка», «Седьмой континент» под чутким руководством мэра города восстанавливали главный храм на площади. Прочие бизнесмены под предводительством директора кладбища — этот. Деньги жертвовали щедро, по-барски, устраивали смотрины храмов друг друга, вели перед Богом негласное соревнование.

Что-то загрохотало. Это был монах-кузнечик, щуплый и усатый. Он выволок на середину храма три табуретки. Баба Надя схватилась за сердце. Мама схватилась за голову. Тетя Зоя — за маму. Аглая — за лавку. Правильно сделала. Нужно за что-то держаться, когда видишь первый в своей жизни гроб. Алый атлас, черное дерево, позолоченные ручки. Все по статусу. Аглая хотела отвернуться, не смогла. Мозг активно регистрировал новую информацию об этом мире, снимал мерки объекта, заносил в картотеку. Продолговатый прямоугольный ящик для мертвого папы. Два метра. Книзу заужен. Человек заужен книзу, поэтому и ящик заужен книзу. Ромбовидная крышка. Узор — дачный бетонный забор. Аглая

сглатывала, моргала, не отрываясь смотрела на гроб.

— Ночную панихиду служат по блату, — шепнула Аглае и маме тетя Зоя, успевшая сбегать за свечами и установить контакт с бабкой-свечницей.

Панихиды устроят две: секретное отпевание в церкви для близких родственников — Аглая еще раз осмотрела теток вокруг бабы Нади, так и не вспомнила, кто они, — и общественную в милиции, завтра.

— Андрюшенька, Андрюша…

Аглая не сразу поняла, что произошло, но сразу почувствовала. Тишина храма, сонастроившаяся с женскими всхлипами, потрескиванием горящих свечей, звонко лопнула. В церковь, распихивая локтями невидимую толпу, ворвалась женщина. Тоже близкая родственница, что ли? Разнузданная, нахальная коричневая дубленка. Рыжий мех. Разного размера глаза. Правый — большой, нарисован черной запятой, под ним мешок размером с кулак. Левый — плоский, прямоугольный, злой. Без мешка.

За женщиной, не успевая, семенил мальчик, высокий, года на два старше Аглаи, в форме, как у папы. Женщина не стала дожидаться ни при-

ветствия батюшки, ни приглашения, пронеслась, распятием раскидывая руки, будто пыталась взлететь, прямо к гробу, нырнула внутрь, в облако алого атласа и белого кружева. С головой.

— Андрюшенька, Андрюша! — завыла разноглазая женщина так громко, что даже батюшка опешил. — Андрюшенька. Андрей… За что же ты нас?.. У-у-у-у-у-у! — Женщина почему-то повторяла все время папино-непапино имя — его никто так не называл, даже баба Надя.

Появление незнакомой разноглазой женщины всех разморозило, привело в движение. Отомри! Тетя Зоя уперла руки в боки, левый уголок губ у нее подскочил вверх, правый закорючкой опустился вниз. Та-а-ак! Еще одна ведьма явилась! Баба Надя очнулась, ринулась за разноглазой женщиной к гробу, возмущенная, что не она рухнула в него первая. Мама зависла на секунду, вытянулась косоглазым аистом, отпихнула сдерживавшую ее тетю Зою, три раза нервно втянула в себя ртом церковный студеный воздух, сунула Аглае в руки свою свечку и уверенным, цементирующим шагом тоже пошла к гробу, прихватив с собой табуретку. Аглая в ужасе подумала, что мама собирается на эту табуретку забраться, перелезть через край и лечь рядом с папой. Но

мама ни на какую табуретку забираться не стала. Она оценила обстановку, обошла гроб с другой стороны от бабы Нади и разноглазой женщины, поставила табуретку у самого широкого края, где, видимо, лежала папина голова, и тоже завыла:

— Андрюшенька… Андрюша…

Аглая сглотнула. Мама никогда так папу не называла. Это, наверное, был какой-то чужой Андрюша, к ее папе не имеющий никакого отношения. Их всех позвали сюда по ошибке, поняла Аглая и впечатала спину поглубже в каменную стену церкви. Она ни за что с лавки своей не встанет теперь. Только когда разрешат идти домой.

Мама, баба Надя, гроб и разноглазая женщина слились в единый организм. Келья форта Боярд. Жидкая глина. Против участниц команды — полуголая Пенелопа, цель которой не дать схватить ключ. Кто из них троих была Пенелопа, а кто участницы, сказать было сложно. Аглае хотелось верить, что Пенелопа, конечно, мама. Пенелопа чаще выигрывала, знала, как устоять на ногах, как сделать захват, как повалить соперницу наземь. Мама и разноглазая женщина оккупировали широкую сторону гроба с разных сторон, пытались наперегонки, отталкивая руки друг друга, что-то в гробу поправить. Баба Надя

занималась ногами, без остановки гладила их.

— Ведьма деревенская, — прошипела тетя Зоя все еще искривленным ртом.

В этот момент наконец очнулся батюшка. Он схватил из рук монаха-кузнечика кадило, размахивая им, подбежал к гробу и принялся отгонять воющих женщин подальше. Это было непросто. Ни одна не хотела уходить первой. Аглая жмурилась. Боялась, что батюшка заедет маме прямо по голове.

— По местам! — рыкнул батюшка, потеряв терпение.

Женщины, озираясь друг на друга, наконец оставили гроб с папой в покое и разошлись по разным углам церковного ринга. У тети Зои тут же расклинило губу. Она подскочила к маме, как заботливый тренер, стала массировать ей плечи, что-то шепнула на ухо и ткнула пальцем в разноглазую женщину. Батюшка недовольно цокнул на нее, приосанился, развел руки, протяжно запел:

— Господи Иисусе Христе… — Густой, как свежая, блестящая золотая гуашь в банке, глубокий горячий голос батюшки пел отдельно от его несуразного тела, захватывал пространство храма, глушил вой женщин. — Боже наш, Владыко жи-

вота и смерти, Утешителю скорбящих!

Мама с разноглазой женщиной бесконечно крестились. Такого соревнования в «Форте Боярд» не было. Они его сами придумали. Только что. Кто больше перекрестится за минуту? Кто точнее?

— С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе… И молюся Ти…

Аглая не без удовольствия заметила, что мама выигрывает. Разноглазая женщина дергалась, сбивалась, ошибалась. «У мамы третий взрослый разряд по спортивной гимнастике», — гордо подумала Аглая.

— Помяни, Господи, во царствии Твоем усопшаго раба Твоего…

Тетя Зоя стояла вплотную к маме, подпирала ее, и хотя в Бога, как и Дед, не верила, она тенью четко повторяла все мамины движения, усиливала их, умножала. Еще посмотрим, ведьма, кто кого.

— Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне чадо сие.

Мама, баба Надя и разноглазая женщина подвывали, безуспешно пытаясь влиться в непрекращаю-щийся поток молитвы. Но как они ни старались, их голоса звучали щенячьим тявканьем на фоне матерого рыка. Тетя Зоя и Аглая не плакали. Слезы спрессовались внутри, как

расстаявшие на полуденном солнце леденцы, а потом снова застывшие от нежданно ударившего ночного холода или Божьей кары.

— Буди взят могилой!

Мальчик, про которого, казалось, все забыли, даже разноглазая женщина, с которой он пришел, тоже не плакал. Он испуганно забился в угол церкви, мял в руках милицейскую фуражку, глаз не поднимал. Батюшка, размахивая кадилом, как лассо, наворачивал круги вокруг гроба, будто хотел не проводить покойника в мир иной, а пытался его воскресить мудреным языческим ритуалом. Аглае и правда иногда казалось, что труп Андрюша сейчас воскреснет, сядет в гробу, и ей все-таки придется на него посмотреть. Она снова зажмурилась. В темноте различала плач разноглазой женщины, растрепанный и лютый, бесшумное движение кроссовок Nike по камню, колыхание воздуха от маятника-кадила, бабы-Надино покашливание, мамино подвывание. Наверное, это и есть ад — ни секунды тишины. Звуки в пространстве храма умножались, длились дольше отведенного им времени, отскакивали друг от друга, от стен, ни один не возникал из полной тишины. Даже батюшка не выдержал, зыркнул на воющих, погрозил тон-

ким пальцем. Должок! Аглая посматривала на маму, перестанет ли она выть, и не узнавала ее. Слово «мама», мягкое, молодое, слово-мороженое растаяло в приторно-сладкую жижу растопленной Бабушкой «Лакомки», перестало маме подходить, мутировало в молчаливо мертвое «мать». Батюшкин грозящий палец на маму не возымел никакого действия. В ее маленьком теле вздымался и тут же выплескивался, впиваясь в тяжелый воздух церкви, вакуумный, вакханальный выкрик, вой волчицы. Вой, превращавший маму в оборотня. У Аглаи свело верх нёба. Она осиротела. Никого у нее не осталось. Андрей, который когда-то был папой, лежал в гробу — упал и, никого не предупредив, ничего не объяснив, так и не достроив Дедову дачу, умер. А мама у нее на глазах… Аглая попыталась пошевелить пальцами стоп и не смогла. Они были ледяные. Как у Гудвина.

— Владыко живота и смерти…

Аглая лишь смутно улавливала смысл молитвы.

Мозг выхватывал отдельные полупонятные слова, но вместе они больше походили на заклинание вуду-шамана.

— …чадо мое, и сотвори ему вечную память.

В церкви горько пахло смертью и одуванчиками.

Аглая с Бабушкой рвала одуванчики. В детстве. За домом. Дед на даче разводил кроликов, в недостройке соорудил для них двухэтажный вольер. Все называли вольер Титаником. Кролики много ели: одуванчики, крапиву, овес. Много какали крошечными шоколадными яйцами. Бойко плодились. Аглая хватала хрусткие чесучовые стебли желтых цветов. Драла. Они в отместку за убийство измазывали детскую кожу горькой белой кровью. Аглая и Бабушка набивали одуревшими от внезапной смерти и еще, как рыбы, некоторое время живыми одуванчиками толстые пластиковые пакеты, несли домой. На ладонях оставались одуванчиковые укусы и грубый горький запах смерти. Пахло вот точно как сейчас в церкви. Голова кружилась.

— Зосима заступник, святой Савватий…

Егорыч. Проглоченная слюна склеила горло, дышалось плохо, отрывисто. Когда же это закончится? Аглая подняла глаза и вовсе дышать перестала. Рядом с черным гробом отца стоял еще один, маленький. Она не видела его раньше. Нет, не не видела. Его не было. Или его внесли, пока она жмурилась? Деревянный, простой, без-

атласный, непошлый, будто не гроб это, а детская деревянная люлька. Пустой ли он? Аглая не успела рассмотреть. Поняла: если сейчас не сядет, то первый раз в жизни грохнется в обморок. Она попятилась к каменной стене, упала на лавку. Попыталась восстановить дыхание, но никак не могла вспомнить, где оно контролируется, зато очень четко вдруг почувствовала кости черепа, каждый их миллиметр. И кости эти давили внутрь и наружу одновременно. Мысли рябили черно-белой пленкой, на которой папа был еще жив и пел маме о мире, о разлуках, от которых не скрыться, о судьбе. Аглая поняла, что она все-таки, наверное, потеряет сейчас сознание, но потеряла только память, которая просто выключилась, перестала что-либо регистрировать. Совсем.

А потом подошла немутировавшая, оставшаяся тетей Зоей тетя Зоя, и все щелчком закончилось. Можно было идти домой.

* * *

Ржавая, рыбья ночь, когда отпевали папу, оказалась бракованной, болезненной, дефектной. Раздулась отеком квинке. А когда ей вкололи антигистаминное, очнулась голодная, пережевала время, выплюнула и размазала его по смерти

папы, как ребенок размазывает говно по полу, облизывая пальцы и смеясь, глядя на полные ужаса глаза матери.

Аглая так ее и запомнила — размазанно, разводами.

Запомнила, как тетя Зоя подошла к ней. Погладила по голове. Сказала, что можно идти домой, что все на сегодня закончилось, что ведьму из церкви тоже выгнали. Это уж она проследила. Аглая не поняла, которую из двух ведьм выгнали, но череп перестал давить во все стороны сразу. Она вспомнила, как дышать.

Запомнила, как, выходя из церкви, она обернулась посмотреть на детский деревянный гроб — был ли он на самом деле или привиделся, но не запомнила, что увидела.

Запомнила, что, когда они спускались по каменной лестнице, мама наконец замолчала, будто выплакала весь голос, что у нее был, не производила ни единого звука, стала тишиной.

Как они дошли до дома, Аглая не запомнила. Может, потому что темно уже было, фонари-то у них горят только на Первомайке по ночам. Мэр церкви реставрирует, а на фонари деньги не тратит. А может, просто потому, что время уже было ночью пережеванное, выплюнутое, не живое.

Запомнила, как сняла в коридоре тети-Зоины сапоги и сидела на галошнице, потому что не чувствовала отекших ног.

Запомнила, как Бабушка совала ей прямо в коридоре бутерброд с маслом: «Поесть нужно, Агу-ленька, целый день не ели». Аглая бутерброд не взяла. Она не хотела есть.

Запомнила, как, когда она шла в спальню, увидела Деда. Дед спал на диване в большой комнате. Укрытый одеялом, так и не осмелившийся вылезти из-под вязаной шапки, он был похож на кипу сваленной неглаженой одежды. Дед сделал понятное — от смерти спрятался.

Запомнила, что по Первому каналу крутили программу «Звезды мировой эстрады в Москве». На сцене пел Тото Кутуньо. Черная бабочка, белый шарф, хомутом висящий на шее. Лашате ми канта-ре. Остап Бендер с гитарой. Кон ла гитар ал мано.

Запомнила, как Бабушка, спохватившись, вбежала в большую комнату и принялась нажимать на красную кнопку пульта. Выкл. Выкл. Но кнопка залипла, никак не нажималась. Лашате ми кантаре. Соно итальяно…

Запомнила, как она не стала дожидаться, когда кнопка «выкл» отлипнет, а Тото Кутуньо переста-

нет петь, зашла в спальню.

Запомнила, что хлебокомбинат за окном глухо, бесшумно, безглазо спал. Не светился.

Запомнила, как, не раздеваясь, легла на кресло, и не запомнила, кто переодел ее в пижаму и укрыл одеялом.

Запомнила, что перед тем, как закрыть глаза, думала о трупе. Может, это все-таки был не папа. Папа умер. А потом он не умер. Труп звали Андрюша, и он остался совсем один в церкви. А в церкви живут одни батюшки, старухи и гробы. Думала о мальчике, который так ни разу и не поднял глаза, и она не знала, они разноразмерные, каку женщины, или серо-зеленые, как у них с папой, с желтой радужкой — вечным солнечным затмением. Думала о втором гробе, который папе для компании, что ли, принесли. А потом она уже ничего не думала… Пережеванное время, как пережеванные грецкие орехи, проживать и прожевывать уже не нужно. Слюна в секунду все сама растворяет. Время сразу попадает в кровь, намазывает чуть взбитым яичным белком с сахарной пудрой глаза, ослепляет тебя до утра. Оле Лукойе вздыхает, жалеет: вот и еще одна девочка увидела смерть, — открывает над тобой зонт. Серебряный, под которым тебе в первый

раз покажут, что происходит за буферной зоной, после смерти. Но ты этого не запомнишь. Ты потом всю жизнь это будешь просто знать, но не помнить, пока сама из буферной зоны по ту сторону не выйдешь, не всплеснешь руками и не вскрикнешь: «Ах да! Точно!» Но это когда еще будет. А пока бьют барабаны. Кнопка «выкл» так и не отлипла. Тото Кутуньо допевает свою песню. Соно ун итальяно. Итальяно веро. Начинается совсем другая передача.

* * *

Бьют барабаны. Ту-у-у! Ту-ду-ду! Ту-ду! Ту-ду-ду-ду-ду! Ту-ту-ту-ту-ду-ду-у-у-ду! Ду! Ту-ду-ду-ду-ду-ду! Толстяк Ля Буль бьет в гонг. Аглаю будит Бабушка: «Пойдем, Агуля, нужно поесть и собираться. Папу хоронить». На кухне в летной кожаной куртке сидит дядя Валера, пьет растворимый кофе, оставшийся от сбора мембран Nescafe. У дяди Валеры черные густые брови, сросшенные наспех зашитым хирургом летного училища шрамом со стежками-зарубками. Стежков столько же, сколько видов самолетов, на которых дядя Валера летал. Дядя Валера бортовой инженер. Он сидит на папином месте, у окна, протягивает к Аглае ладонь. Ладонь у дяди Валеры крупная,

сильная, он на ней стоящую солдатиком трехлетнюю Вероничку на вытянутой руке держал — цирковой номер, от которого Бабушка пила валерьянку. Дядя Валера ничего не говорит, он вообще мало разговаривает. Гладит Аглаю вверх-вниз по руке. Кивает, но не Аглае, а себе. Аглая садится рядом с дядей Валерой. Пьет горячий чай. Несладкий. Но как будто с пятью ложками сахара. Есть Аглая опять отказывается. Бабушка молчит, не настаивает и даже свою жалостливую то ли про проданную, то ли про уведенную на убой коровку песню не заводит. Аглая смотрит на сломанные часы с кукушкой. Кукушка из домика не выпрыгивает. Гири-шишки залипли в одном положении. Аглая пыталась их тянуть, но они не тянутся. Аглая сегодня играет одна за всех. Ей нужно добыть побольше шариков у мастеров времени, отгадать все подсказки, разложить пушечные ядра, набрать в футболку монет, выкупить себя, маму, тетю Зою с похорон, успеть убежать, пока не опустится решетка и в сокровищницу не вернутся тигры.

Поклон. Попасть в комнату мастеров времени можно только через низкий лаз, поклонившись до земли. Мастера времени требуют уважения. Кланяйся, Аглая, кланяйся! На панихиду их ве-

зет дядя Валера. Он открывает дверцу красного «москвича», усаживает маму с тетей Зоей на заднее сиденье. Мама, похоже, совсем не спала, она сжалась, скукожилась, как прибитая сильным ночным ливнем уже немолодая августовская трава. Трава в конце лета долго после ливня оправиться не может, а может уже никогда и не оправиться. Аглая садится вперед с дядей Валерой, он оборачивается к ней, но говорит опять себе: «Ну, поехали!» Дядя Валера дергает рычаг передач, крутит руль. «Москвич» тарахтит, трясется, везет их в отделение на общественную панихиду, к мастерам времени.

Темница. Луч света из окна с решетками бьет прямо в гроб. Общественная панихида проходит в спортивном зале милиции. Папа водил Аглаю сюда на карате. Она с другими милицейскими детьми сидела на матах на полу и смотрела на дядю Алешу, папиного сослуживца, которого в спортивном зале нельзя было называть дядя Алеша, нужно было называть непонятным словом «сэнсэй». Луч света из окна с решетками бьет прямо в гроб. Солнце встает на востоке и точно указывает, куда смотреть. Толпа папиных коллег, друзей, неизвестных Аглае людей смотрит, куда указано. Аглая стоит в углу, на луч не смотрит,

смотрит на тети-Зоины сапоги. Она не плачет, сапогам единственным в этом зале нет дела, что она не плачет.

Огонь. Первый мастер времени указывает ей на свечку и листок бумаги, сложенный японским журавликом: «Бери!» Аглая с маской дочери покойного, которая не плачет, и мастер времени с маской тигра одновременно поджигают журавлей. Смотрят, как журавли горят — клюв, голова, шея, — ждут, кто первый обожжется, своего журавля бросит. Огонь опасен. К Аглае никто не подходит. Аглая стоит в углу одна, держит своего журавля. Мама и тетя Зоя стоят в голове гроба, вокруг них по пять сантиметров пустоты. Их, как и Аглаю, люди боятся. Они прокаженные. Люди подходят к бабе Наде и разноглазой женщине, соболезнуют. Разноглазая женщина переоделась. На ней черный обруч-рогалик, кофта с кружевом на груди и перстень на пальце, большой перстень. Супруга застреленного гангстера, использующая последний шанс выгулять на людях все лучшее сразу. Разноглазая женщина давно своего журавлика бросила. Аглая стойкая, у журавлика уже полыхают распахнутые крылья, а она его не бросает. Никто не смеет к ней приблизиться. Только Егорыч, дядя Егорыч, вдруг

очень старый и очень седой, подходит. В черных бровях Егорыча белые червячки волосков торчат в разные стороны, вьются. Глаза у Егорыча ясные, светятся. Первые глаза, которые Аглая видит с ночи, когда ей показали за-смертье. Глашунь, когда крылья у журавлика почти догорят, аккуратно стряхни с них пепел, иначе огонь сожрет тебя. Егорыч обнимает ее. Греби, Глашунь. Ты, главное, греби. Аглая стряхивает полыхающий огонь с крыльев журавлика. Мастер времени не успевает. Он проиграл. Она выиграла. Она остается в углу одна. Никого.

Память. Второй мастер времени указывает Аглае на стол. Тянет за веревочку, длинная дощечка посреди стола открывается. Внутри вразнобой в столбик лежат шарики. Красные, белые, черные. Десять секунд. Нужно запомнить последовательность цветов. Аглая повторяет про себя: белый, белый, черный, красный, белый, черный, черный, красный, красный, белый. Мастер времени отпускает веревочку, прячет. Ну что ж! Вспоминай! Белый, белый. Гудвин. Черный, красный. Он просто стоит перед ней, смотрит сверху вниз. Белый, черный, черный. Аглая смотрит на Гудвина. Вторая пара глаз за день.

Глаза у Гудвина грустные, обнимают ее крепко,

тепло. Как тогда на валу. Аглае хочется улыбнуться в ответ, но на похоронах не улыбаются, поэтому Аглая просто смотрит. Красный. «Мне очень жаль. — Аглая читает по губам. — Мне очень-очень жаль». Красный. Гудвин сам улыбается ей, нарушает правила. Кивает. Какой цвет шарика был последний? Белый? Черный? Красный? Гудвин едва заметно берет ее ладони в свои. Ладони у него теплые. У Гудвина всегда теплые ладони. Он легко сжимает Аглаины руки. А потом отпускает. И уходит. Она все позабыла. Какой же шарик последний? Желтый! Конечно, желтый! Как глаза у Гудвина. Только где же желтые шарики? Из маски тигра мастера времени слышится мальвовый, тихий голос Гудвина: «Какая ты смешная, А!» В этой игре нет желтых шариков. Один — один.

Монетки. Третий мастер времени устанавливает на столе гроб. Задача участников — по очереди подходить к гробу, целовать труп, доставать из гроба монетки. Достанешь последнюю монетку — выиграешь. Останешься без монетки — проиграла. Тетя Зоя, как ростовую куклу из картона, переставляет Аглаю из угла-укрытия, которое разгадали только Егорыч и Гудвин, в очередь на поцелуи. Аглая становится за муж-

чиной. Мужчина пахнет водкой, хвоей, треской. Панихидой. Аглая надеется, что до нее не дойдет ход. Она готова проиграть. Ей не нужна монетка. Но очередь неумолимо продвигается к гробу. Шаг за шагом. Шаг за шагом. Каждый вытаскивает свою монетку, отходит. Живот у Аглаи железный. Нужно было поесть. Руки и ноги ледяные. Даже тетины сапоги забыли, что у них подкладка синтетическая, не греют. Тетя Зоя толкает ее в спину. Аглая взбирается на ступеньку, оказывается рядом с гробом. Третья пара глаз, которые она видит за день, закрыты. Это глаза трупа Андрюши. Аглая моргает. Она была права. Это незнакомый ей труп. Белая накрахмаленная рубашка трупу мала, неестественно натянута на одутловатом непапином теле. Третья пуговица на сером праздничном милицейском кителе расстегнута, единственная осмелилась сказать правду, заявить во всеуслышание, что форма трупу подобрана не по размеру. Усы у трупа сбриты. Красивые филатовские усы кто-то у трупа украл, переклеил себе. Большой отяжелевший лысый лоб с родинкой будто решил, что ему мало места на лице, нужна вся голова, залез почти до макушки. Волос у трупа осталось очень мало, они серой бахромой кольца бледной поганки обнимают

череп. Труп лежит в алых оборках атласа, укрытый белым покрывалом по грудь, словно кто-то внимательный заметил, что труп замерз, и укрыл его, но промахнулся, выбрал не теплое пуховое одеяло, а жидкое, негреющее. На покрывале распухшие пальцы утопленника. Девять целых, длинных, безымянный на правой руке короткий. Таким червяка на крючок не насадишь. Труп пахнет лекарствами и залежавшимися в шкафу новыми, никогда не использовавшимися простынями. Аглая стоит и, не моргая, смотрит в гроб. Другая Аглая, смотрящая на эту неморгающую девочку со стороны, кричит ей что есть мочи из-за закрытой двери темницы: «Выходи! Выходи! Время почти закончилось!» Но Аглая и труп ее не слышат. Сзади, спереди, сбоку, повсюду — шумит шелудивый шепот. «Целуй отца, целуй», — продирается сквозь шум цепкий голос тети Зои. Тетя Зоя забирается на ступеньку рядом с Аглаей, подталкивает ее к гробу. Аглая снова изумляется. Отца? Что такое отец? Где отец? Перед ней только незнакомый труп Андрюша. Или, может, живой папа называется папой, а мертвый отцом? Горлу холодно. Горло кто-то сжимает очень холодными руками. Она не будет целовать труп. Она хочет повернуться к тете Зое, объяснить ей все. Вдруг

тетя Зоя не заметила, что это не папа? Аглая хочет вымолить разрешение не принимать участия в этом испытании. Она не справится. Пусть к этому мастеру времени пошлют кого-то другого, почему она должна одна проходить все испытания? Но не успевает. Ни повернуться. Ни объяснить. Старуха здесь. Старуха из детства. Старуха живет во всех церквях одновременно. Или только за Аглаей ходит. Ледяные пальцы старухи клешней хватают ее затылок, прочно держат, наклоняют к безусому лицу трупа. Аглая успевает задержать дыхание и плотно, до немоты, сжать губы. В кожу щеки трупа она упирается носом. Вытянутая ямочка над верхней губой к трупу не прикасается, ее ангел защитил. Бабушка так говорит: «Эта впадинка у тебя, Агуленька, от ангела. Когда ты родилась, такая ты славная была, что ангел приложил тебе под курносый носик пальчик и прошептал:

„Забудь все свои прошлые жизни, чтобы они не стали тебе преградой в новой!" Я все запомнила, Агуленька, ангел меня попросил тебе передать». Аглая поднимается. С другой стороны гроба стоит мама. Мама почему-то тоже не плачет. Она гладит труп по безволосому черепу и шепчет что-то, но Аглая не может разобрать что. Аглая хватает свою монетку.

Последняя ли? Выиграла или проиграла? Выиграла или проиграла?

Гиря. Четвертый мастер времени тестирует ее на выносливость. Нужно вытянуть руку над проволокой и держать гирю, не отпускать. Уронишь — проиграла. Аглая держит. Идет за катафалком по раскиданным вокруг отделения еловым веткам. Почему по еловым? Елки стонут под ногами топчащих их людей, у них забрали новогоднюю радость, понизили в чине, отправили смерть мести. Стон елок заглушается мучительным скрипом плохо, но громко играющего духового оркестра. Не трубят, а дымят трубы кровель. Все лица как пятна. «Ирод пьет. Бабы прячут ребят. Что грядет — никому непонятно»[92]. И куда они идут, тоже непонятно. Это задание на выносливость, вспоминает Аглая и просто идет. Вместе с сапогами. За гробом. Столько, сколько положено. Это задание на выносливость.

Гвозди. Пятый мастер времени вручает Аглае молот. Будем забивать гвозди; чей удар окажется последним, тот и победил. Первый удар. «Дядя Валера, можно я поеду с тобой на машине?» — «Нет, Глаша, нельзя. Близкие родственники

---

[92] Примечания: 92
И. Бродский «24 декабря 1971 года».

— в катафалке». «Видеть во сне катафалк — к напряженным отношениям дома и к печали, Агуля». — «Что такое катафалк, Бабушка?» Второй удар. В катафалке они с мамой. Тете Зое повезло, она не близкий родственник трупу. Баба Надя с другой стороны от гроба, не разговаривает, фыркает или чихает. Баба Надя делает вид, что их нет. Они делают вид, что нет ее. Разноглазой женщины нет по-настоящему. Есть гроб.

Слава богу, закрытый. Катафалк подпрыгивает по неровной земляной дороге. Третий удар. Кладбище. Аглая собирается и бьет со всей дури по гвоздю, промахивается прямо по пальцу. Радуется. Размозженный палец на левой руке — индульгенция боли, можно ни о чем не думать. Тебе просто очень больно. Мастер времени легко вколачивает гвоздь четвертым ударом. Вы признаете поражение? Признаю.

Вавилонская башня погребальных речей. Аглая вдруг понимает, что она не прибавляет времени для темницы, а забирает его у себя. Шестой мастер времени — папин начальник, тот, что любит духовые оркестры и длинные речи. Красные обвисшие песьи брыла подергиваются. Пил всю ночь. Мартыныча кто заменит? Первый кубик башни. Первая щепоть земли летит в яму вслед за

гробом. Люди по очереди подходят. Пытаются голыми руками закидать могилу. Заполнить дыру в земле. Два гробовщика смотрят на эти жалкие попытки с сожалением. Один — брат Костика с рынка. Из уголка рта у него свисает пережеванная сигарета. Шапка-петушок торчит на самой макушке. Второй — старый и уже пьяный, ни чей не брат — зевает. Он сидит на ящике. Это скучно и долго, когда хоронят важную шишку в городе. Аглая подходит к яме молча, ничего не говорит. Земля холодная, апрельская, возмущенная, что ее распотрошили раньше времени. Последним кидает большую горсть земли в могилу дядя Валера. Костик-гробовщик выплевывает сигарету, ухмыляется: «Наигрались в песочницу, сопляки?» Устало берется за лопату. Он сам достроит эту башню. Вороны знают брата Костика, гробовщика. Вороны выбрали брата Костика, гробовщика, себе в хозяева.

Номер отрепетирован. Когда брат Костика, гробовщик, закидывает последний шматок глиняной земли на холмик, хлопает лопатой могилу по плечу — все, братан, давай, — вороны считывают условный знак, взмывают с голых деревьев. Разом. С ором. Словно брат Костика, гробовщик, набрал в руки обугленную в костре картошку,

подкинул вверх и сам закаркал.

Палочки. Последнее испытание. Палочки от эскимо лежат на столе в ряд. Их можно брать по одной, по две или по три. Тот, кому придется взять последнюю, — проигрывает. Аглая аккуратно вытаскивает первую палочку. Похороны закончены. Всё. Вместо мастера времени появляется баба Надя, она хватает сразу три палочки. Потом еще три. И еще. Баба Надя не зовет их на поминки. Аглая радуется. Ее отпустят? Аккуратно тащит две палочки. «Пойдем отсюда, пойдем, — тетя Зоя берет маму за руку. — Догоняй, Глашка. У нас свои поминки будут. Без шалав». Тетя Зоя оборачивается на мастера времени и махом скидывает все палочки со стола. Всё. Наигрались! Тетя Зоя отдает команду Ля Булю: «Бей в гонг, толстяк! Аглая, залезай в машину!»

Аглая залезает в дяди-Валерин красный «москвич». Они выиграли? Или игра просто закончилась? Тетя Зоя сидит на заднем сиденье и безостановочно говорит. В ней за полдня похорон скопилось столько неприличных слов, что они выплескиваются из нее, как молоко из до краев наполненного бидона, который ты несла от бочки во дворе тихо-тихо, а потом плюнула, побежала со всех ног — «Гостью из будущего» по телевизору

показывают. Дядя Валера кивает. Мама молчит.

Патрис Лаффон, ведущий в дяди-Валериной кожаной летной куртке, качает головой: «Н-да, первый раз такая команда неудачников. У тебя, Аглая, времени осталось всего на три испытания, чтобы добыть подсказки. Всего на три. Никогда такого не было». Аглая стремглав несется в башню к старцу Фура. Угадывает Невод. Прыгает с тарзанки. Хватает капсулу. Мушки. Ныряет в подземелье, заполненное водой, так ловко, будто на самом деле умеет плавать. Усики. Время заканчивается. Засовывает левую руку в пасть к одному тигру. Соловецкий монастырь. Правую руку — к другому. Наговор.

Кладбище остается далеко позади. Тетя Зоя наконец выговаривает все накопившиеся внутри слова, выдыхает, падает головой Аглае на плечо, засыпает. Мама облокотилась об окно, тоже, наверное, спит. Дядя Валера подмигивает Аглае в зеркало заднего вида, хмурит свои сросшиеся шрамом брови: «Не переживай, Глаша! Ну не угадала! Бывает… Кому нужно сокровище форта Боярд? Жили без него, и сейчас проживем». Дядя Валера протягивает мощную ладонь к панели управления, включает радио. Дудит дудочка. Поет Барыкин: «Я буду долго гнать велосипед».

Щекочет в носу. «В глухих лугах его остановлю…»[93] Аглая вздрагивает. Да! Конечно! Луга. Детский гроб. Велосипед. Паспарту, я вспомнила! Я все вспомнила! Я готова войти в сокровищницу! Фелиндра, поверните голову тигра!

[93] Примечания: 93
Песня «Букет» в исполнении А. Барыкина. Автор текста Н. Рубцов.

Глава тринадцатая
Улей

Как океан-море из всех столбовых рек и протоков собирается и силен бывает, как полая вода дюжа и сильна бывает, ломает лес и урывает берега, несется через острова, кусты, зеленые луга и болота заливает, так бы у меня, раба Божия, пчела в пасеке сильна и дюжа была, и несла мед со всех четырех сторон, завела б себе детей, отпущала б сильные рои, работала б сама себе, в люди не ходила б и к себе чужую не пущала б, со всех сторон оборонялась. Небо — ключ, земля — замок.

Тамбовские губернские ведомости. 1864. № 16

Все тридцать лет, что он ее знал, он хотел обменять свою мать. Нелепая, назойливая, напрасная. С будто съеденными губами. Он не был на нее похож. Внешность досталась от фантомного отца. Отца он никогда не видел, просто знал: встретит, поймет — отец. Высокий, красивый, идеальный.

С римским носом.

То, что мать можно обменять, он понял довольно рано. В четыре года. На пятидневке. Но вторникам, четвергам и субботам дежурила Клаша Юрьевна, нянечка с отвисшими бегемотьими щеками, коричнево-розовыми. Клаша Юрьевна вечно притаскивала крошащиеся засушенные листья, желуди в стариковских беретах, твердый, как скорлупа грецкого ореха, пластилин. Диафильмы вечером смотреть не разрешала. Заставляла делать поделки матерям: лепить зверушек, клеить аппликации, рисовать бесконечные открытки. Он отказывался. Клаша Юрьевна сначала его уговаривала: «Ах какой упрямый мальчик! Матери ж приятно будет! Давай, сделай из шишки зайчика!» Потом угрожала: «Оставлю тебя завтра без полдника! Понял?! Посмотри, какой у Лени славный медвежонок вышел!» Трясла кулаком и бегемотьими щеками: «В кого ты такой говнюк?! Тебя потому и сдали в пятидневку, что ты маленький говнюк! Мать тебя обменяет на другого ребенка, посговорчивее! И правильно сделает! Такой говнюк никому не нужен». Сдавалась, отставала. Он сидел на стульчике молча. Слушал. Радовался, что он говнюк. Хотел быть еще большим говнюком, чтоб его

поскорее обменяли. Мать поделок не получала. Но все равно забирала каждую пятницу домой. Мать у него была такая никчемная, что ей даже обменять его не разрешали. Детдом. Восемь классов образования. Фабрика. Две смены через две. Комната в общежитии. Ребенок. Рожала она его в августе, жарком, как литейный цех. Под окнами роддома пьяные мужики горланили «Ой, мороз, мороз!».

Он поразмыслил, решил действовать. Если матерям можно обменивать детей, почему он не может обменять мать? Она была ему ни к чему. С двух месяцев он жил на пятидневке. Мать не успела его понянчить, вышла на работу. Он видел ее по выходным. Добираться до сада было далеко, на двух автобусах, пятьдесят минут в одну сторону, пятьдесят — в другую. Забирать на два часа домой вечером, чтобы снова вставать в ночи, долго зябко трястись в автобусе не имело никакого смысла. Но и такая напрасная мать смысла не имела.

Он завидовал детям, родители которых прилежно забирали их домой в семь вечера. Каждый день. Каждый день. Завидовал запоем, зверски. Нет, не завидовал. Он их ненавидел. Всех. Тех, кого забирали в пять, ненавидел еще сильнее.

Он не понимал, почему их, таких обыкновенных, таких глупых, таких скучных, забирают каждый вечер. Родители будто и не замечали, что есть мальчик умнее, красивее, лучше есть мальчик. И ходить никуда не нужно. Вот же он.

К родителям в саду он присматривался внимательно, въедливо. Стоял за шкафчиком в раздевалке. Скоблил ногтем отшелушивающийся лак. Выбирал. Больше всего мечтал обменять свою мать на тетю Марусю, маму Костика. Тетя Маруся пахла ирисками. У нее была длинная коса, вишневое драповое пальто с четырьмя пуговицами и серый пушистый меховой воротник. Воротник знал: таких, как тетя Маруся, больше не бывает, обнимал, прижимался к пухлой щечке, не отпускал. Зимнее пальто сменялось демисезонным. Демисезонное — пиджаком. Воротник не менялся. Тетя Маруся его аккуратно отпарывала. Перешивала. Выглядела как тетя из телевизора. Очень красивая тетя из телевизора.

Однажды он, как обычно прячась за шкафчиком в коридоре, смотрел на нее. Костик доедал вонючую рыбу с водянистым пюре, опаздывал. Тетя Маруся заметила, подозвала, взяла на руки, угостила «Золотым ключиком» — у нее всегда в кармане были ириски. А потом сделала неожи-

данное — назвала по имени. По имени. У него аж живот окаменел. Она знала, как его зовут. Может, она хочет обменять Костика, такого глупенького (никак до десяти считать не научится, а он уже до ста, до ста умеет), низенького, в толстых очках, на него? И он пообещал себе, что, если тетя Маруся обменяет его на Костика, он будет каждый день делать ей зайчиков из шишек и человечков из желудей и спичек. Тетя Маруся была очень красивая. С косой. С воротником. С ирисками. Но тетя Маруся его не обменяла. И на руки больше никогда не брала. Разрешила после того вечера Костику вовсе не ужинать. А он все стоял за шкафчиком, ковырял ногтем отшелушивающийся лак. Не работало. Тетя Маруся доставала ириски из кармана пальто, отдавала Костику. Костика же уводила домой. Такого низенького, такого глупого, такого обыкновенного. Который даже рыбу доесть не может.

Где берут мам, как у Костика, он не знал. И спросить было не у кого. Он животом чувствовал, что такое лучше у взрослых не спрашивать. Он рано понял: взрослые не любят отвечать на действительно важные, настоящие вопросы. Боятся. Зато он рано научился читать. Виктория Кимовна, воспитательница с шиньоном тети Вали из

«Спокойной ночи, малыши!», научила. Сажала его на табуретку, давала в руки «Мойдодыра», «Муху-Цокотуху», рассказы про слепого бельчонка, велела читать всей группе. Уходила на кухню пить чай. Он сидел на табуретке и читал. Сначала по складам, водя пальчиком. Потом все быстрее и быстрее. На него приходили любоваться нянечки, всплескивали руками, умилялись: «Это ж надо! Такой маленький и так читает! Сам! Ну ты посмотри, Валь!»

Дома он не читал ни Чуковского, ни Бианки, у них и книг-то с матерью не было. Но когда тетя Паша, вахтерша общежития, уходила к себе в комнату или засыпала на посту, он утаскивал у нее телефонный справочник. Внимательно изучал. Начал с буквы «О». Пытался найти «Обмен матерей». Буквы в справочнике были черные, мелкие, тараканами разбегались по страницам. Никакого обмена матерей на букву «О» не было. Были органы МВД, пожарная охрана, оргтехэлеватормельмонтаж, ОРС леспромхоза. Большинство слов он не понимал, просто знал: не то, не обмен матерей. Даже близко не обмен. Он прочитал справочник весь. Три раза. Ни в бюро находок, ни на коммутаторе, ни на молочном комбинате матерей не обменивали. Всегда наступал поне-

дельник. Автобус. Пятидневка.

Когда он, уже взрослым, встречал тех, кто отбывал детство на пятидневке, удивлялся, что многие из них ничего не помнят, будто им кто-то добрый и заботливый подтер память кохиноровским ластиком со слоном, самым мягким, не дубеющим в мороз. А он помнил. До сих пор. Отчетливо. Во всех подробностях. Воспитательниц, нянечек, поварих, охранника, деда Сома, с казацкими усами. Помнил, где стояла его кроватка. Помнил, сколько шагов двор был в ширину, сколько в длину, сколько по диагонали. Помнил, как в умывальне пахло содой, а на кухне — какао с пенками, молочной лапшой и чем-то кислым. Он все ел. Он был не Костик. Воротишь нос от свекольного супа — ночью хочешь есть так, о склизкой свекле мечтаешь. Он помнил распорядок дня, всегда одинаковый. Встать, умыться, почистить зубы, причесаться, позаниматься, погулять, пообедать, полежать с закрытыми глазами в тихий час, позаниматься, поужинать, постоять в коридоре за шкафчиком, если повезет — посмотреть диафильмы или «Спокойной ночи, малыши!», если нет — стойко игнорировать поделки тети Клаши. Спать. Иногда черно и спокойно. Иногда с тигром.

Ему часто снился тигр. Большой, красивый, сильный. Не тот плюгавый, которого они видели с матерью в приехавшем на гастроли зверинце. Худой, с приплюснутыми плешивыми задними лапами, жалкий. Тот лежал в углу клетки. На посетителей не реагировал. Бездумно смотрел в одну точку. Будто он умер, но пока не понял, что умер. По дурацкой привычке дышал. Владелец его боялся, на всякий случай держал впроголодь. Посетители от него отводили взгляд — то ли от жалости, то ли от отвращения. Нет. Ему снился идеальный тигр. Тигр для любования. Тигр, управляющий толпой одним взглядом. Шерхан из мультфильма. Только хороший Шерхан. Добрый. Шерхан, победивший огненный цветок. Получивший власть. Получивший сколько угодно свежего мяса. Счастливый… и вечно голодный. Во сне он все время ел. Ел. Но никак не мог наесться. Никогда. Просыпался утром он не по будильнику, жужжащему в комнате нянечек, а от воющего от голода тугого живота под белой худенькой маечкой. Через час был завтрак. Горячая манная каша или омлет-медуза. И щедрый ломоть батона с желтым жирным желанным кубиком сливочного масла!

Ночевали в саду обычно человек десять — две-

надцать. Но бывало, забирали всех, кроме него. Двадцать аккуратно застеленных железных кроватей. Его — у окна. Он залезал под жидкое бесцветное верблюжье одеяло в белом, пахнущем крахмалом пододеяльнике, аккуратно, чтобы не растормошить.

Подпихивал под себя с другой стороны. Лежал солдатиком. Представлял, что его кровать тоже застелена и пуста. Что его тоже нет на пятидневке. Что он тоже дома. Когда он не мог заснуть, вытягивал вверх руки, играл с пальцами или смотрел на тени на потолке от проезжавших по улице машин. Если смена была хорошая, в комнату заглядывала нянечка Гуля, звала на кухню чистить картошку. Он забывал про аккуратно застеленную кровать, вскакивал, натягивал полосатые пижамные штаны, бежал. Он любил чистить картошку с Гулей.

Кухня. Кастрюля большая, с него ростом. Холщовый, сказочный, мешок конопатой от земли картошки. Мягкий, байковый голос нянечки. Нянечка чистила и пела: «Матушка, матушка, что во поле пыльно?» Он чистил картошку и слушал. «Сударыня матушка, что во поле пыльно?» Он любил чистить картошку. «Дитятко милое, кони разыгралися». Гуля брала две картошины прямо в

кожуре. «Матушка, матушка, на двор гости едут». Варила. «Сударыня матушка, на двор гости едут!» Очищала кривыми пальцами, клала в железную миску. «Дитятко милое, я тебя не выдам!» Посыпала солью. «Матушка, матушка, на крылечко идут». Это было самое вкусное, что он ел за все детство. За всю жизнь.

А потом все закончилось. Картошка. Поделки. Пятидневка. Общежитие. В шесть лет он пошел в школу. Его взяли не в нулевку, сразу в первый класс. Все читали со скоростью двадцать слов в минуту, он — сто тридцать. Матери дали однокомнатную квартиру в новом районе. До школы было две минуты пешком.

В школе он быстро получил подтверждение тому, что интуитивно знал и на пятидневке. Он умный. Умнее всех в классе. Умнее всех в школе. Умнее даже большинства учителей. Кто-то из учителей им восхищался, но большинство — недолюбливали. Он их раздражал. Он задавал им вопросы, на которые они не знали ответов, он быстрее них решал задачки, он в их решениях находил ошибки. Учился исключительно хорошо, всегда. Чтобы мать, не дай бог, не вызвали в школу. Она досталась ему случайно и вызывала жгучее чувство стыда. Она даже не красилась.

Окончил он школу с золотой медалью. Без труда поступил в московский пед. Уехал. Наконец уехал. И первый раз в жизни почувствовал свободу. Свободу и странное, незнакомое чувство власти над людьми. Совсем не как в детстве. Университетские педагоги, сплошь женщины с пучками, его не боялись. Они его хвалили, восхищались, отправляли на межуниверситетские олимпиады и конкурсы чтецов английской поэзии. Уитман. Элиот. Киплинг. Шекспир. Шекспир ему никогда не нравился. «Чего Вы ждете, принц? Чего Вы ждете?» А «Бесплодную землю» Элиота он знал наизусть. Конкурсы выигрывал. Женщины с пучками восхищались еще больше.

В него все влюблялись: девочки из группы, с потока, со старших курсов. На первом этаже в гардеробе висело огромное зеркало. Он первый раз в жизни увидел себя во весь рост, по-настоящему. Первый раз искренне улыбнулся. Совсем не похож на мать. Красив, высок, у него римский нос. На деньги, полученные от частных уроков (женщины с пучками стали рекомендовать его детям коллег: «Исключительный мальчик, лучший на курсе, воспитанный, деликатный, он твою Верочку за полгода натаскает»), он покупал у фарцовщиков рубашки с острым воротником,

американские джинсы, кардиганы на четырех пуговицах. Брал за уроки больше среднего. Ему платили. Он очень нравился матерям Верочек. Он пил с ними чай. С восхищением смотрел им в глаза. Цитировал английскую поэзию. Заставлял краснеть. А Верочки приносили домой одни пятерки по английскому.

В первый раз в жизни он почувствовал себя на своем месте, в естественном ареале, перестал притворяться зайчиком из желудей. Девочки, аккурат согласно XXI главе «Опытов» Монтеня, воспламеняли его лихорадочным возбуждением. Он не сопротивлялся. Зачем? В ответ он воспламенял их воображение цитатами из того же Монтеня, а еще Платона и Бродского. Они смотрели на него, как тетя Маруся на Костика. С полным обожанием. Некоторые, конечно, вели себя странно. Ленка с четвертого курса устраивала истерики. Хотела опять загнать в клетку. Ставила ультиматумы, съедала себе от слез губы. Его это не трогало. Он их обменивал — быстро, без раздумий, без справочников тети Паши. В отличие от матери, обмен девочек был простым и легким. В педе на инязе училось на всем потоке в шестьдесят человек всего три парня, и он единственный был красив, умен, в джинсах, белой рубашке с

острым воротничком и кардигане на четырех пуговицах. Когда он поступил, на востоковедении учился еще грузин Вепхо, другой любимец женщин с пучками, но Вепхо пришлось терпеть недолго. Он через год выпустился. Говорили, его распределили куда-то на Дальний Восток.

На третьем курсе Жанна, дочка дипломата, москвичка в пятом поколении, с которой он тогда спал, подсунула ему почитать «Мы» Замятина. Он и встречался-то с Жанной из-за библиотеки ее отца, где были запрещенные книги. Он прочитал «Мы» и все понял. И про воспитание. И про твердую любовь. Но главное — про пчел. Про пчел, губы, сладкую боль цветения.

Девочки так на него и смотрели, восторженно, по-пчелиному, подчиняясь. Отдавали ириски, пластинки The Beatles, девственность. Ириски он не брал, сам угощал их эскимо и жвачкой, катал на каруселях в парке Горького, водил гулять на ВДНХ и Воробьевы горы. Некоторых счастливиц ночью, стараясь не шуметь, а все равно громко смеясь, проводил в общежитие. Вовка, сосед-физик, покорно уходил спать на матрасе к друзьям.

Довольно быстро он понял, что жизнь пчелы недолгая. Некоторые, как Жанна, держались, но даже она больше полутора лет не смогла. У пчелы

была норма часов полета, а потом она узнавала про других пчелок, жалилась, беспомощно трепыхала поврежденными крыльями, но взлететь уже не могла. Пчела обязана подчиняться. Смотреть с восхищением. Вожделеть. Это всегда было тяжело. Смерть пчелы. Он их в этот момент ненавидел сильно, жадно, как Костика, как тетю Марусю. Но никогда не истерил. Просто уходил. Молча. Холодно. По-английски. Здесь больше не было обещанного рая. Здесь был еще один труп пчелы.

А потом случился путч, и он встретил Марго.

Марго стала недостающим элементом улья. Маткой. Королевой. Центром, без которого улей не выживает. Он всегда подсознательно искал ее, ждал, чуял их встречу.

Встретил в девяносто первом. Возле танков. У Белого дома. В судьбоносный год для страны. И для него. История его выделила, взяла в сообщники, наградила. Теперь все наладится. Будет по-другому, по-новому, как надо будет.

Марго никогда не была рабочей пчелой. Это было понятно сразу. Решительная, цельная, спокойно красивая. Не мучительно, разнузданно, непокорно красивая, как Полина — красоту Полины он не мог себе объяснить, — а геометрически

выверенно, точно. Высеченная не гениальным, но талантливым скульптором-отличником. В Марго все было симметрично, четко, по правилам, без изъянов, она служила ему с полной самоотдачей.

Марго никогда не была просто наблюдателем, она соучаствовала, содействовала, сопереживала, находилась рядом. Марго управляла жизнью. Четко, без сбоев. В красном берете и коротком платье. Вагоновожатая, а не одна из этих напрасных Аннушек-Пелагеюшек, которые только и делают, что торчат в бакалейных магазинах, а потом вечно, пролив масло, загаживают себе юбки. Не отстирать. Как пятна на простынях на пятидневке.

Марго влюбилась в него сразу. Вручила ему тогда на площади марлевую маску против нервно-паралитического газа и всю себя, как с обрыва в холодную реку прыгнула. Разбежалась, сложила ладони и полетела. Не задумалась. Не зажмурилась. Красиво, без брызг прорвала воду кончиками пальцев. «Ах, скорей, скорей! Друг мой! Радость моя!» Тут не было ничего удивительного. Они все так прыгали. Удивительное случилось потом. Марго, в отличие от других, о воду не разбилась. Стала ее частью. Научилась

плавать, не умирать, задерживать дыхание.

Когда Марго в первый раз узнала — О позвонила им домой, — не сказала ни слова ни истеричной О, которая своим пухлым голосом предъявляла на него самовыдуманные права, ни ему. Положила трубку, спокойно спросила, что он предпочитает на ужин. Погладила по руке, улыбнулась мягко, без брызг. Он предпочитал запеченную картошку с курицей. Она приготовила. Очень славно вышло, он до сих пор помнил вкус сочной, не пересушенной курицы, запеченной картошки и вкус полной, истинной сытости, которую он искал всю свою жизнь.

Марго единственная его поняла и приняла. Полностью. Как есть. Единственная не пыталась загнать обратно в клетку. Единственная смотрела на него снизу вверх и не оскорблялась этим, не ранилась. Стала тети-Марусиным воротником. Знала — отпускать нельзя. Нужно приспособиться, привыкнуть, потерпеть. Когда воротник отпарывают и перешивают, воротнику колко, смутно, больно, но потом снова будет тепло, нежно и щека тети Маруси. В жизни нет ничего бесплатного, вопрос — чем ты расплачиваешься.

Союз рухнул. Они поженились. Уехали в Америку по программе Work & Travel. Все стало просто,

спокойно, предсказуемо. С Марго все всегда было просто, спокойно, предсказуемо. Так, как никогда раньше не было.

Когда тело Марго утратило медовость, упругость, молодость, она это приняла. Так же просто. Так же спокойно. С достоинством. Без истерик. Как настоящая королева. Нет, Марго не потолстела, боже упаси. Да, он любил юные пухлые тела своих пчел: любил мять их, нежиться ими, слизывать розовость их кожи. Но пухлость тела пчелы была юной и упругой. Как у Н. Быть толстой женщиной среднего возраста… это другое. Они в Америке насмотрелись, thank you very much. Распущенность. Мерзость. Нет, Марго не могла потолстеть. Это было невозможно. Она и сладкое-то не любила, особенно ириски. Проклятие, а не конфеты. Мерзкие, липкие, портят зубы. Марго зубами гордилась — белые, прямые, твердая костная ткань. Генетика хорошая. После родов он подарил Марго абонемент в лучший спортзал города, самый дорогой пакет услуг с личным тренером, смахивающим на Патрика Суэйзи. Марго послушно ходила три раза в неделю. Через полгода легко влезла в свое гимназическое платье: «Представляешь, как раз!» Он ее очень хвалил, подбадривал: «Идеально на тебе сидит, Марго».

Но интерес к ней как к женщине он, конечно, потерял. Играть в карты против природы — бесполезно и глупо, проиграешь. А жульничать, как делали некоторые, уродуя себя пластическими операциями и надутыми, как задница павиана, губами, и вовсе опасно. Нет, Марго была умна, она понимала свои ограничения. Уважала их. А он уважал за это ее.

Сторге. Идеальная сонастройка. Идеальный механизм из двух человек. Марго чувствовала, когда пора навестить мать в соседнем городе или коллегу в Москве. «Знаешь… — Она всегда опускала глаза на свое „знаешь". — Знаешь, мы давно не были с Андрюшей в зоопарке. Наверное, останемся у Марии Александровны, ты же тут справишься без нас». Он прекрасно без них справлялся. Сладко, неистово, вольно. Обещал скучать. Не скучал. Некогда было. Но честно ждал их с мальчиком домой. Приезжал встречать на вокзал. Сытый, довольный, получив укол молодости, восхищения, меда, вожделенную дозу. Всегда с цветами для Марго и мороженым для мальчика.

«Поздравляю, у вас мальчик!» Он мечтал о девочке. Родился мальчик. Акушерка вся светилась. «Мальчик!» — повторила она, и он спохватился, изобразил ожидаемую радость: «О, мальчик!

Спасибо!» Так его и звал всю жизнь с тех пор — мальчик. Никак не мог вспомнить, какое имя Марго ему все-таки выбрала. Он все в жизни помнил, а имя мальчика забывал. Оно что-то значило для Марго.

Марго никогда не приезжала раньше оговоренного. «Не делай так, Марго, больше никогда так не делай». Хотела как-то удивить его, сделать сюрприз. Он ненавидел сюрпризы: «Не лишай меня возможности встретить тебя как полагается. Я люблю встречать тебя. Люблю покупать вам ирисы и шоколадное мороженое. Люблю тебя ждать, везти домой. А так не делай». И она не делала. Она единственная оказалась не дура. Она все поняла. С первого раза.

Марго никогда не повышала голос. Только однажды чуть не сорвалась. Постояла на краю, посмотрела бездне в глаза, сделала шаг назад. «Мне как будто легче!» А о жизни, о жизни думать нужно. Опять жить. Да, да, надо. Хорошо! Просто, спокойно, предсказуемо. Марго была умница. Марго обещала заботиться о нем всю жизнь. Любить его. Не предавать. Заботилась. Любила. Не предавала.

Избавила от суровой, мучительной обязанности поздравлять мать с праздниками. «Я купила

твоей маме электрический чайник, она очень хотела. Я съездила помыла твоей маме окна, уж совсем грязные стали. Да, она спрашивала про тебя. Я сказала, у тебя много работы. Андрюше так нравится у твоей мамы кот ее, такой хороший, такой ласковый, очень Андрюшу любит. Андрюша все просит теперь тоже котенка… Да. Ты прав, конечно, ты прав. Куда нам еще кота. От животных запах, действительно же запах, я не подумала, прости».

Мать умерла. В прошлом месяце, напрасно, нелепо, назойливо, так же, как и жила. Одни хлопоты. Умирала назло ему долго и мучительно. От рака. Какая пошлость. Врач, уставший московский интеллигент с желтыми руками, предлагал варианты. На год. Максимум на два, если достать хороший немецкий препарат. Нет, не больше. Больше двух она не… Медицина пока бессильна. Мне очень жаль. Он без удивления смотрел, как врач ему врет. Даже ему было не жаль, а этот чужой мужчина, у которого у самого отказывала печень, никого не жалел, давно принял смерть, как дано во всех предлагаемых ему жизнью задачках.

Он не стал мучить мать. Всему свое время. Решение было легкое и правильное. Стоимость до-

рогого немецкого препарата он отдал не клинике, а внес в фонд ежегодного гранта для талантливых детей на учебу в Британии. Конкретное действие. Конкретная помощь. Конкретное будущее конкретных детей. Живых.

Врач с желтыми руками позвонил вечером, около девяти, сказал, что счет пошел на часы. Он помолчал в трубку, обещал приехать утром, но ехать не пришлось. Мать умерла ночью. В Москве. В дорогой палате. Врач заверил, что боли она не чувствовала. Он сомневался, что его мать вообще способна что-то чувствовать. Последней ее просьбой было позаботиться о коте. Марго, кажется, соседке его пристроила.

Мать хоронили в закрытом гробу. Поминки он устраивать запретил. Три бабки какие-то все равно приперлись. Повыли, выпили водки, ушли. И этот был. Мерзкий, с торчащими седым волоском из надутого треугольного, будто залатанного красными заплатами носа. Вонял стариком. Хотел обнять. Он, конечно, не дался, только руку пожал, потную, липкую, потом долго дома отмывал под очень горячей водой. Утешился Н. Н он приберегал для особых случаев. Н была самая свободная, разрешала то, что никто не разрешал. Мягкая, податливая, темная, обожженная амери-

канская ириска.

Марго великолепно преподавала. Он так ею гордился. Педагогическая фуга Баха. Клубы дебатов, настольные игры, судебные заседания, авторская система заучивания слов на карточках. А как она оформляла доску! Отдельная колонка для новых слов справа, отдельная для произношения. В середине аккуратно, будто по линеечке нарисованные схемы, смешные мнемонические картинки для лучшего запоминания слов, уникальная система объяснения видовременных форм глаголов. Ее выпускники легко давали фору второкурсникам Мориса Тореза. Большая очередь в группы была только у него. Марго обожали все: ученики, родители, их мальчик.

У них был хороший мальчик, смышленый, тихий, с отличным потенциалом, если посмотреть на него беспристрастно. Вылитый Марго. Такие же черные глаза, такое же каре, такой же носпуговка. Совсем не его, не римский, проигрыш в генетической лотерее, но по-своему милый, даже симпатичный.

Он не любил мальчика. Он себя не обманывал. Он всегда был с собой честен. Мальчика любила Марго. За них двоих. Негласный договор. Но он делал для мальчика все, что нужно. Даже больше.

Конечно, больше. Как же иначе? Он был настоящим, не фантомным отцом: ответственный, презентабельный, всегда на месте. Его не нужно было мечтать встретить на улице, ему можно было просто позвонить, и он всегда отвечал: «Да, хорошо, я скоро буду, жди у школы».

Мальчик не ходил в сад. Совсем. Нашли няню. Читать, считать он научил его сам. Мальчик оказался не в него, так, Костик. Еле-еле к шести годам читал со скоростью восемьдесят слов в минуту. Он на него злился, но не показывал этого. Главный принцип дрессировки — игнорировать нежелательное поведение, поощрять желательное. Он повторял еще и еще раз. Что ж делать. И Костика, наверное, можно было научить, если постараться.

Он был хороший отец. Выбрал мальчику лучшую школу в городе. Ходил на собрания. Единственный отец из всей параллели, особая гордость Марго. На собраниях он был галантен, инициативен, всегда в пиджаке и отглаженной рубашке. Марго все мамаши завидовали. Да что мамаши! Даже классная. Ему было приятно доставлять Марго это маленькое удовольствие — быть трофейным мужем. Ему было несложно. Он нашел мальчику лучшего репетитора по ма-

тематике, лучшего репетитора по испанскому, лучшую учительницу по фортепиано, строгую, профессиональную. Нет, она никого не бьет по рукам. Что за глупости? Просто требует должных усилий и сосредоточенности, на слезы не поддается. Настоящая Ю. Строгая любовь. Мальчик хныкал, ходить в музыкалку отказывался. Он не обращал внимания. Не любил нытиков. Настойчивость, целеполагание, дисциплина. Он нашел ему няню. Он позволил иметь идеальное детство без пятидневки. Он был хороший отец.

К тридцати двум у него было все: семья, растущий бизнес, миссия, а главное, его радость — улей. Сконструированный по всем правилам пчеловодства. Работающий как часы. Тик-так. Тик-так. Матка одна. Количество рабочих пчел варьируется. Каждая на своем этапе инициации. С кем-то еще танец. Кто-то уже вовсю производит мед. А к кому-то он только присматривается. «Одну ягодку беру. На другую смотрю. Третью замечаю. А четвертая мерещится»[94]. Гуля ему в детстве сказку рассказывала про дудочку и кувшинчик, когда они картошку чистили. Н, А, Э и… Полина. Полина ему только мерещилась. Давно.

---

[94] Примечания: 94

В. Катаев «Дудочка и кувшинчик».

Навязчиво. Против правил.

Пчелы любили сладкое. Цветок, пыльца, ириска. Он всегда носил ириски в кармане, мягкие, американские, темные, как жженый сахар, в шуршащих фантиках. Не ириски даже. Фадж. Нектар. Он дарил им ириски тайно, делая пчел сообщницами, смотря прямо в глаза. В пчелиных глазах он множился, становился объемным, занимал всю зону видимости, каждый из пяти тысяч крошечных глазков мозаики. Дрессировал. В такие моменты он был почти счастлив.

Пчелиная дрессировка давалась ему легко, не как с мальчиком. Прикормить, сделать вид, что охладел, заставить следить за каждым движением. Меня! Меня! Выбери меня! Личинки выбирались из закупоренных воском сот, расправляли крылья. Летели. Свободно и легко.

Улей — множество. Одной пчеле никогда не произвести столько меда, чтобы досыта его накормить. У пчелы ограниченный ресурс. Даже если она сообразительная, мягкая, покладистая. Даже если она трудится с утра до ночи. Пчел всегда должно быть несколько. С одной пчелкой он сидел на валу, слушал Земфиру[95], нежно,

---

[95] Примечания: 95
Внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.

едва прикасаясь, заправлял непослушные рыжие прядки волос за уши, любовался молчаливой, вяжущей надеждой в ее янтарных, совсем как у него, глазах. «Держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб»[96]. Он тянул этот момент, длил. Медленно окунал в мед ложку-веретено, крутил, ждал, пока мед затечет в каждый деревянный зазор, когда можно будет его наконец слизать. Когда пчелка была готова, он переставал верчение, доводил себя и ее до ворот рая, останавливался. Теперь подожди, милая. Преддверие блаженства слаще самого блаженства. Побудь в нем. От другой пчелки в тот же день он благосклонно принимал в дар мед, с такой любовью для него собранный, отстоявшийся, готовый. Можно. Третьей пчелке, еще личинке, смотрящей на него сквозь мутность соты, он писал письма, длинные, только намекающие, что где-то там есть рай. Монтень, Бродский, Платон, он направлял своих пчел. «Посмотри „Общество мертвых поэтов“, А, — только непременно посмотри, я хочу с тобой его обсудить», — а на следующем уроке в группе, где была А, залезал на стол, читал стихи. На английском, конечно. На А не смотрел. Дарил

[96] Примечания: 96
Ветхий Завет. Книга притчей Соломоновых. Глава 20, стих 13.

ей один из самых исключительных моментов ее жизни. Знал, она запомнит. Навсегда запомнит. Приманивал. Распылял пыльцу. Учил собирать.

Его было много. Его хватало на всех.

Иногда случалось неприятное. На улей нападали шершни. Налетали из ниоткуда. Крупные, мерзкие, всегда страшно идейные, как бывшие секретари парткома. Опаснее, чем бывшие секретари парткома. Те обороняли навязанные им идеалы, эти — самопридуманные, «высокоморальные», свои. Вирусы системы. Шершни пытались разрушить то, что он так долго, с такой любовью и заботой строил. Шершни никогда ничего сами не производили. Они только рушили. Первый раз он испугался. По-настоящему. Неуклюже. Голо. Стыдно. Анафилактический шок. Крапивница. Асфиксия. Потеря сознания. Выжил. Сильный организм справился, выработал антитела, укрепил иммунитет. И он привык. Что поделать? Шершни — часть сложной экосистемы. Им тоже хочется жить. В них даже была некоторая польза. Шершни держали их с пчелками в тонусе, делали ближе, заставляли сбиваться вместе, защищать улей.

Шершни нападали поодиночке. Трусливо, подло. Залетали в кабинет. Мялись у порога. Жалко,

неуверенно, глупо. Жужжали. «Я хотела с вами поговорить…» Всегда омерзительное толстое брюшко. Литография Гюстава Доре. Гаргантюа в женском обличье. Доре окружил бы их селедкой под шубой, жирными шмотьями докторской колбасы, мясом по-французски. Свинина, картошка, толстый слой майонеза. Блюдо-оксюморон. Они сами были оксюмороном, насмешкой русского метаболизма: все время сидели на диетах — диета по группе крови, диета Аткинса, диета на капустном супе — и все время толстели. Vespa mandarinia. Эусоциальная хищная оса. У нее нет своих детей, она нападает на чужих. Матери без ребенка, опасные, пустые и оттого озверелые.

«До меня дошли слухи…» Всегда костюм с рынка. Всегда с пуговицами, обтянутыми материалом тон в тон. Трикотажный пиджак, юбка, все без талии, прямоугольное — одежда, единственная функция которой состарить женщину лет на двадцать, обезличить, вытравить из нее пчелиность. Одежда, которая справляется с этой функцией на отлично.

В тридцать они, его ровесницы, выглядели на пятьдесят. Марго никогда бы себе такого не позволила.

«Есть одна девочка…» Они удивительным

образом пропускали состояние «женщина», из девушек перескакивали сразу в теток, а потом в старух. Девочка, девушка, тетка, старуха — уникальная цепочка русской ветви женской эволюции. Эквивалента теткости не существовало ни в одном известном ему языке. Теткой можно было стать только здесь, на постсоветском пространстве. Ловушка, в которую они все попадались: обрюзгнуть, носить бесформенное, убаюкивать себя мантрой «внешность неважна», ненавидеть молодое, красивое, медовое, настоящее.

«Я заметила…» Желтый осиный пушок над губой. Эти женщины — а это всегда были женщины — будто специально делали все, чтобы потерять привлекательность, стать тем самым средним родом из «женщина, вас здесь не стояло». Лингвистически гендерно нейтрализоваться. Они красились синими тенями, запасы палеток которых остались у них с восьмидесятых, не закончились и к концу девяностых. Они не брили ноги. Тогда, в первый раз, он не сориентировался, опустил взгляд — обезьяньи, покрытые шерстью, в одиноко торчащих по всей голени черных волосках. Вот в кого выросла Мартышка. Блестящие колготки пытались спрятать вылезающую на поверхность зону. Они выглядели как сломанные

и неправильно собранные обратно куклы Барби: вверху белокожие, внизу цвета визон.

«Знаете, если это правда, это неправильно…» Они пахли теткостью. У теток был особый кислый майонезный запах. Они хотели пахнуть медом, покупали себе дорогие духи — они хорошо работали, он хорошо платил. Но на них Poison от Dior превращался в яд, пах не медом, а ладаном. Ладаном и кислым майонезом. Он морщился. Он не терпел уродство. И вонь пятидневки.

«Я вас прошу…» И скуку не терпел. А это всегда было скучно, всегда одна и та же история. Ночь, фабрика, слухи, девочка. Ни одного достоверного свидетельства. Ни одной улики. Бессмысленно и тускло. Ночь. Девочка. Фабрика. Слухи. Он был в себе уверен. В своих пчелках он был уверен еще тверже. Ни одна из них никому бы ничего не рассказала. Пчелы верны улью. «Рой, гуди, в поля лети!» У пчел есть цель. «С поля домой возвращайся — медок неси!» У пчел есть принципы. Пчелы приносят пользу. Они не напрасны. Он всегда защищал их от шершней. Жалких. Ничего не производящих. Пустых.

Они сглатывали, мяли в руках свои шпаргалки… Шершней хотелось прихлопнуть и расплющить, выдавить, как зубную пасту, медленно и

мучительно сворачивая алюминиевый тюбик от края. А потом размазать. Он сдерживался. Он воспитывал в себе сострадание к их жалкости. Он напоминал себе, что они хорошие педагоги, что в полиморфности они просто выбрали не то состояние. Ошиблись. Заклинило. Бывает.

Вы понимаете, что делаете? Он их внимательно слушал, оскорбленно и отрешенно. Одно и то же. Он все отрицал, стыдил. Никаких резких движений. Не дать им мобилизоваться целым гнездом, напасть, разрушить. Одну, особо назойливую, пришлось даже уволить. Нет, не уволить. Вежливо попросить уйти: «Мне больно это слышать, Тамара Михайловна. Особенно от вас. Как вы могли, Тамара Михайловна». Она стояла и, как потерявший маму гусенок, молчала. А он говорил и говорил, спокойно, медленно, уверенно. Он предложил ей двойную зарплату. Он не был мелочен. Она пару дней пожужжала. Полетала вокруг улья. Даже к пчелкам его подлетала. Он наблюдал, не вмешивался. А потом забрала двойную зарплату и ушла. Оставила его без администратора. Как оказалось, к лучшему, у них появилась незаменимая Светлана Сергеевна.

«Я не знаю, как начать…» Эти фантомные боли. Советская кома. Нет такой кушетки, доктор

Фрейд, которая выдержала бы эту страну. Не придумали еще. Да даже если бы и была, времени все равно не хватит. Сколько займет этот психоанализ? Лет двести? И еще сто, чтобы из терапевтического процесса выйти. Нет, у него не было времени ждать, пока все эти советские тетки придут в себя, разберутся со своей сексуальностью. Все мужики их возраста спились давно. Как и многое в этой стране, секс — чисто теоретическое знание. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе? Науке это неизвестно. Тетки даже произнести вслух слово «секс», записанное, вероятно, на листочках, которые они мяли в руках, не могли. Слово «секс» застревало гармошкой бумаги, замазанной чернилами плохого качества, зажевывалось в глотке, как в принтере. «Секс» першил у них в горле, не выплевывался.

Они ничего так и не поняли.

Он понял.

Секс всего лишь игра. Танец. Вожделенное мгновение наполненности и сытости. Безвременье, стягивающее в себя прошлое, настоящее, будущее. Солнцестояние. Прямо над тропиком Рака. За секунду до пустоты.

У него, слава богу, все с либидо было хорошо. Работало как часы. Как и должно работать либи-

до здорового мужчины. Высвобожденная энергия шла на созидание, на построение того самого прекрасного далёко, которое так и осталось навсегда песней трио «Меридиан». Они с Марго в прекрасное далёко не верили, строили прекрасное сейчас. «Я же не с мальчиками сплю, Тамара Михайловна. Что вы устраиваете?» — думал он, молча смотря на шершней, скучая.

Шершни были ошибкой природы, напоминанием о значимости улья. «Господа присяжные…» Шершни хотели убивать. Жало. Мощные челюсти. Яд. «…Милостивые государи и столь же милостивые государыни!»[97] Шершни убивали пчел не для того, чтобы их съесть. Не для того, чтобы их спасти. Пчела без улья жить не может. Пчела без улья умирает. «О, крылатые господа присяжные!» Шершни расчленяли свою жертву, чтобы в виде суспензии отнести в гнездо, скормить личинкам, вскинуть вверх на собрании парткома добычу: «Посмотрите, посмотрите! Я остановила! Я поймала! Я…» Секс — игра, господа присяжные заседатели! Эне, бене, лики, паки, цуль, буль-буль, калики-цваки, эус-беус, кликмеде-ус, бокс… И я, выходит, в этой игре вода.

---

[97] Примечания: 97
В. Набоков «Лолита».

Что ж…

Он любил всех своих пчелок. Он внюхивался в их волосы, считалкой повторял запах шампуней. У А «Яичный». У Н «Ромашковый». У Э розовый Gliss Kur.

Он почти всегда контролировал процесс от начала и до конца. Он не любил терять контроль.

В университете с ним это случилось дважды. С Марго — никогда. А вот с пчелами… Пик сытости, блаженства и уродливого, перекашивающего жизнь ужаса. Одномоментность. Луна, загораживающая солнце. Солнце, рвущееся наружу. В такие моменты у него до онемения леденели ступни. Он переставал их чувствовать, совсем, будто ему их отрубили по щиколотку. Тигр поднимал свое мощное тело, покидал клетку. Он знал, что сейчас пчеле придется поработать. Они не знали. Им лучше было не знать.

Да и случалось это редко. За последний год всего два раза. С А. И с безотказной Н в день, когда хоронили мать. Он угостил Н мороженым. Она, всхлипывая, съела два стаканчика.

Но эрос никогда не был главным видом любви. Эрос просто притуплял голод, соединял его с пчелами, укреплял стенки улья.

Он долго пытался понять, что чувствует, когда

пчелы ломаются — «пожалуйста, перестаньте», — умирают или отказываются умирать. И понял — что уже ничего. Привык. Ни боли. Ни разочарования. Ни ненависти. Погружался в пустоту. Полную. Первичную. Пустоту тигриной клетки, из которой не выбраться. Уходил.

Раз пчелка
Сидит на цветке.
Два пчелка
Улетела к реке.

Пчелы улетали неожиданно, не предупредив. Столько сил было вложено в каждую. Столько меда обещано.

Три пчелка
Уже умерла,
Пчелку четыре
Она назвала.

Одна бросила его, уехала учиться в Голландию. Никогда больше не писала. А когда он написал ей сам, просто так, узнать, как дела, ничего не ответила. Ни слова.

Четыре пчелка
В мед превратилась.
Пять пчелка
С шестою сразилась.

Вторая приходила с замазанными тональни-

ком синяками из дома. Хотела, чтобы он заметил. Он не замечал, он терпеть не мог насилие над детьми.

Семь пчелка
К липе летит.
Восемь пчелка
В поле лежит.

У третьей оказалась слишком прозрачная кожа на пояснице, похожая на тонкость плетения мутных сот. Она смотрела на него своими пчелиными глазами и молчала.

Девять пчелка
Пергу уложила,
Десять пчелка
Матку убила.

После Петербурга это стало очевидно. А не успеет отлетать положенные пчеле часы. Хотела, видно, что хотела, но не могла. Красивая, нежная, умная. Рано. Он увидел в ней лишь будущую пчелу, тень будущей личинки, не удержался. У А была слишком прозрачная кожа. Год. Нужно было подождать один год, подрастить, обучить. Прикормить. Ласково. С руки. По чуть-чуть. Не сдержался. Потерял контроль. Он вел себя с А как ребенок, который так ждал новую игрушку, так о ней мечтал, так хотел заполучить, что, как

только получил, тут же сломал. Пчелы полиморфны. Каждая имеет потенциал стать в улье кем угодно. Но каждую нужно взять в улей в свое время. Каждую взрастить по-своему. Это был важный урок для него. В следующий раз он будет осмотрительнее. Дело не в возрасте. Обидно. Он на нее рассчитывал. У нее был потенциал стать его медом хотя бы на пару лет. Смотрела на него просто, восхищенно, не моргая. Откроет большие янтарные глаза и смотрит. Он старался, очень. А все делала. Вставала. Садилась. Ложилась. Делала все, что бы он ей ни говорил. Но как-то жутко, холодно, солдатиком, как он в детстве, на пятидневке.

Он не верил ни в астрологию, ни в Бога, ни в экстрасенсов. Но он верил тигру. Когда ему снился тигр, пора было пчелку отпустить. Еще один нумер. Проходной. Не И. Обманула. Себя обманула, что готова. Его обманула, что готова. В Петербурге, когда он попросил ее помочь с Полиной, она заплакала. Он не любил, когда пчелы плачут. Это было жалко, нечестно. Он вздохнул. Он знал алгоритм действий. Злых пчел из улья выселить, добрых подселить. В Москву он ехал с Н. Радостно и легко. Когда он вышел на вокзале, уже все решил. Стипендию он даст Н. В Н так

много меда, так много радости, так много жизни. А он отпустит. Пока.

Но место в улье не может пустовать. Улей — это живая система. Улью нужны пчелы.

А я пчельником родился, не на шутку рассердился, пчелы все мне надоели, кроме…

Полина.

Он повторил ее имя вслух три раза.

Полина.

Полина.

Улыбнулся. Имя-заклинание. Он принялся полировать ее имя языком. Полина. Судьба харкнула счастьем. Лежа в кровати, он видел на потолке, в светотени ветвеногих прутьев английское pollinate. Он вытягивал вверх руку, обводил указательным пальцем липово-желтую, лопающуюся придыханием P, пропевал округлую, ореховую O цвета слоновой кости, переходил к ровным лазоревым палочкам двух L, полоскал горло настоем яблочнозеленой I, упираясь кончиком языка в альвеолярные бугорки за зубами, успокаивался, N, закрывал глаза, отпускал контроль и падал в первородный, изначальный крик любого младенца, асинхронный, аритмичный, апельсиново-алый A-A-A, оповещающий изможденную родами мать о том, что он уже здесь, что

он уже сделал первый вдох, что он немедленно, безотлагательно требует положенную ему по праву рождения, по праву еще пульсирующей между ними, еще живой пуповины, ее материнскую любовь, настоящую, животную, безусловную. Всю. До капли.

Полина была первой пчелой, имя которой он не хотел усечь до одной буквы, хотел оставить целиком. Полина.

Он был терпелив. Пятидневка научила его ждать. Он всегда дожидался. А когда становилось совсем невмоготу, просто принимал лекарство. «Матушка, матушка, что во поле пыльно?» Смолы, воск, пыльца. «Сударыня матушка, что во поле пыльно?» Секретные челюстные железы его пчелок работают бесперебойно. «Дитятко милое, кони разыгралися». Производят лекарство. «Матушка, матушка, надвор гости едут». Темно-бурое. Горькое. С древесным запахом. «Сударыня матушка, на двор гости едут!» Похожее на тот твердый пластилин, из которого пыталась заставить его лепить Клаша Юрьевна. «Дитятко милое, я тебя не выдам!» Его… радость. «Матушка, матушка, на крылечко идут». Его прополис.

Эпилог
Прополис

Укус.

Жало застревает в коже рыболовным крючком. Покраснение.

Головокружение.

Обморок.

Синий.

Пчелы всегда летят на синий. Такова природа пчелы.

Сота.

Теплая, непрозрачная, мутная, ажурная тюремная камера.

Маточное молочко.

Сладко-кислое, питательное, растящее. Рождение.

Неожиданное, выпуклое, прорывающееся. Голод.

Дикий, неудержимый, выталкивающий. Хоботок.

Хоботок.

Поцелуй другой пчелы.

Благословение. Крылья. Прозрачный узор. Пи-

ща. Мед. Жизнь.

У жизни вкус меда.

Теплый. Материнский. От него сладко и немного першит горло.

Матка. Королева. Пульс.

Главное в матке — ее запах.

Толстый. Надменный. Хватающий за жабры. Втереть.

Перенять.

Стать частью.

Передать другим.

Получить в ответ душистый пароль танцующей пчелы-разведчицы.

Что это?

Лиловая альпийская фиалка или персиковый флокс?

Синяя горечавка или голубой ластовник? Бледно-пурпурный чертополох или лимонный лютик?

Красные бобы или желтый иммортель?

Липа?

Должно быть, липа.

Липа всегда цветет первой.

Обильно. Мелко. Желто-зелено.

Богатая белком пыльца хватается за задние лапки. Льнет.

Собирать.

Делиться.

Пьянеть.

Красный язычок.

Опыление.

Протеком застрявший на потолке кит.

Быть осторожной. Выживать. Охранять улей от шершней.

Драться. Защищаться. Быть уникальной.

Всегда быть уникальной.

Холод, дождь, закат — все смерть.

Отлетать свои пятьсот часов.

Износить крылья

Как?

Когда?

Почему?

Умереть. Тихо. Спокойно. Без истерик

Пчела никогда не плачет. Пчела выполняет свой долг и с достоинством умирает.

На ее место в теплой, непрозрачной, мутной ажурной соте вызревает личинка.

Новая, жирная, уже живая.

Королева работает без остановки.

Улей работает без остановки.

Тигру постоянно нужно свежее мясо.

Трупы в улье лишние. Трупы не дышат. Трупы

занимают ограниченное, столь ценное жизненное пространство.

Пчелы знают, что делать.

Две пчелы аккуратно, двигаясь боком, выталкивают твое тело туда, вниз, в подлесок. Северный ветер сдует тебя, жирная капля дождя прибьет к земле где-то не дома, где-то в темном лесу, за косогорами, там, где бродит твое детское сердце, так и не отпетое, не похороненное и оттого беспокойно живое. Ты станешь почвой, перегноишь в сок корней, в пыльцу липы, в пищу новых пчел.

Аглая вытянула руку, достала карандаш из мать-и-мачехи, поковыряла. Подцепила обгрызенным ногтем рассохшееся дерево, выскребла грифель. Надавила так сильно, что там, где на листке было написано слово «мания», целлюлоза не выдержала, пискнула мышью, порвалась.

Аглая захлопнула дневник, сунула в рюкзак, сбежала с вала. К остановке у пешеходного перехода подошел восьмой автобус, тот самый, что возит их летом на дачу. Автобус попыхтел, высадил пассажиров, загрузил новых, уехал. Все почти по расписанию. Аглая перешла дорогу. За супермаркетом возле дома простынью цвела черемуха, горчила воздух.

Аглая не остановилась, пробежала двор, забра-

лась по лестнице на седьмой этаж.

— Агуля, ты?

Аглая молча кивнула в ответ, будто Бабушка видела ее из большой комнаты. Чегевара подставил лохматую голову под ее ладонь: «Гладь!» Аглая наклонилась, взяла его морду в ладони, поцеловала. Чегевара довольный побежал докладывать: «Пришла! Домой вернулась! Невредимой!» Аглая уперлась носком левого кеда в правый. Сняла. Голыми пальцами левой ступни в холодный кожаный задник правого кеда. Сняла. Бросила сумку с дневником на галошницу.

Бабушка сидела на кровати, читала «Семь дней». Аглаина растянутая футболка с Розой, Джеком и «Титаником». Черная цветастая рубашка с геометрическим узором. Незастегнутая. Как шелк на ощупь. Совсем как шелк. Мамина. Только байковые клетчатые штаны в цветочек у Бабушки свои. С рынка. Мама на Восьмое марта подарила. Бабушка заказывала себе в подарок мочалки и стиральный порошок. Мама дарила штаны, халаты из ивановского трикотажа (очень хорошее качество) и подписку на «Семь дней». Бабушка прочитывала каждый выпуск от начала до конца, пересказывала всем новости отечественной и зарубежной эстрады. Одинаково

интересовалась судьбой и Натальи Орейро, и сэра Пола Маккартни, и Аллы Пугачевой. Прочитав, ничего не выбрасывала. На широких разворотах с интервью Киркорова или Меладзе потрошила рыбу, надеясь однажды найти в кишках золотое кольцо, чистила картошку. Чегевара сидел у Бабушкиных ног, пялился на журнал, будто тоже читал.

«Ученые говорят, что угроза существованию амурского тигра миновала. Он сейчас имеет широкие охотничьи участки. Его добычей оказываются кабаны, косули, другие копытные. — Из телевизора доносился ламповый голос Дроздова, очевидно одинаково сочувствующий и людям, и косулям, и тиграм. На экране в снежных шапках прыгала красная рябина, а потом все стало черно-белое. — В отдельных случаях выдаются лицензии на отлов тигров. На отлов выходят бригады тигроловов…» На экране появились мужики в тулупах и меховых шапках. С большими собаками. Все гудели, кричали. Мужики бежали по снежному лесу. Возбужденно копьями выбрасывая слова: «Вперед! Вперед!» Собаки перепрыгивали сугробы. Вели. Голос Дроздова, спокойный, летний и тягучий, что-то говорил поверх лая собак и криков охотников, но был

им чужероден, эволюционно ошибочен. Заревел тигр. Некрупный. Молодой совсем. Собак было слишком много, и тигр это знал. Одна овчарка уже тащила его за шкирку. Вторая дергала за переднюю лапу. Третья намертво вцепилась в спину, ожесточенно мотала головой: «Нет! Не отпущу! Долг!» Собаки рвали тигра и виляли хвостами. Возбужденно. Радостно. Они выполнили задачу хозяев. Они всё делали правильно. Они были хорошие, честные собаки. Охотники подбадривали их, тыкали тигра большими деревянными палками. Одна из палок рогаткой пригвоздила шею тигра к снегу. Тигр рычал. Пытался выбраться. Но не мог. Беспомощно бултыхал лапами в воздухе, как перевернутый на спину жук. Собак оттащили. Тигра связали. Дроздов сообщил, успокаивая то ли зрителей, то ли себя самого, что тигров отлавливают, чтобы передавать их потом зоопаркам страны, проводить научные исследования и вообще для сохранения генофонда. На экране застыла морда связанного тигра с широко открытыми глазами. Тигр не моргал. А потом картинка снова стала цветная, осенняя. Аглая сглотнула и отвернулась.

— Бабушка, что ты смотришь? — Села на кровать рядом с Бабушкой, положила ей голову на

плечо. Мягкое. Мама всегда носила рубашки с плечиками.

Бабушка застыла на секунду, неловко прикоснулась тонкими губами к Аглаиной макушке.

— Да это ж… Я и не смотрю, я вон читаю. А это так, рассказывают что-то. Ой хорошо рассказывает! И про медведей, и про кротов. — Бабушка закрыла «Семь дней». — Ты голодная?

— Очень.

— Картошку пожарю?

Аглая закивала. Ухо терлось о Бабушкину мамину рубашку. Бабушка пахла домом. Чегевара опять засунул ей мохнатую голову под руку: «Гладь!»

С корочками.

Аглаин ответ Бабушку обрадовал.

— Давай, Агуля! Давай-давай! Я быстро. — Бабушка раскачалась на кровати, туда-сюда, туда-сюда. С каждым годом ей все сложнее было вставать. Поднялась, застыла, поймала баланс. Стою. Кинула «Семь дней». — Я быстро. — Пошаркала на кухню.

Чегевара задумался на секунду, побежал следом. Аглая взяла пульт. Дроздов в синем свитере беседовал с лесником, похожим на папу. *Только без усов Без* филатовских усов. Филатовские *усы*

давно вышли из моды. Щелкнула. «Форт *Боярд». Щелкнула.* «Шерлок Холмс». Щелкнула. «Дог-шоу». *Выключила.*

На стене висел красный ковер. *Дед запретил снимать:* «Только через мой труп». *Три трехлитровые* банки помидоров под тумбочкой. *В этот раз ни одна* не взорвалась. Мама с Бабушкой все хорошо *прокипятили.* Аглая посмотрела в окно. В этом году они *не* сажали картошку. Первый *раз в жизни не сажали.* Мама сказала: «Купим, надоело». *Между домами* мыльным пузырем, надутым из *деревянной катушки* ниток, опускалось *розовое майское солнце. Но даже* когда оно совсем сядет и *станет холодно, Аглая не* умрет. Она успела *долететь до дома.*

Аглая встала, подошла к серванту, *потянулась на* цыпочках, достала Бабушкину золотую рыбку. Керамическая, вечная, не тухнет. *Посмотрела рыбке в* глаза. Сжала губы. Краем футболки *протерла рыбку* от пыли, поставила *обратно. Есть вечные рыбы.*

На стене кухни играло радио. *Хрипел голос Высоцкого,* скребущий, сказочный, папин. Аглая *согнала* Чегевару с кресла, *забралась на него сама. «Здесь* лапы у елей дрожат на весу». Плита, чугунная сковородка, картошка. «Здесь птицы

щебечут *тревожно».* Крышкой не накрывать, а то корочек не будет. За-клякнет. «Живешь в заколдованном *диком лесу».*

Средний огонь. Не маленький. Не *большой. Средний.*

«Откуда уйти невозможно»[98]. Аглая *прислонилась* головой к холодильнику, втянула запах *картофельных* корочек, медово-сладкий, из детства. *Чегевара* повторил за Аглаей, внюхался, облизнулся. Они вместе посмотрели на Бабушку. Бабушка висела в окне, смотрела на небо, гудвиновско-синее, крошила голубям хлеб. Бабушка говорила, что у нее такие синие глаза, потому что она часто смотрит на небо. На плите в чугунной сковороде, шкварча, жарилась картошка.

P.S.

По данным Генпрокуратуры, количество преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних в России выросло с 2010 года на 44 % — в 2021 году в стране было зафиксировано 16 887 таких случаев.

* * *

Гудвин иммигрировал в Израиль, где живет по сей день с Маргаритой Антоновной. Они открыли

---

[98] Примечания: 98

В. Высоцкий «Здесь лапы у елей дрожат на весу...».

школу английского языка для детей.

* * *

Аглая переехала в Москву, защитила диссертацию по лингвистике, вышла замуж, у нее трое детей. Дочь она назвала Ниной, в честь Бабушки.

Это мог бы быть роман о взрослении, роман о подростковой любви или роман о насилии, но «Пчелы» больше каждого из подобных определений. Слово за слово, образ за образ, мысль за воспоминание — в этом романе всё цепляется и цепляет, вытаскивает из бездн нашей памяти, как длинную гирлянду платков из шляпы фокусника, бесконечное количество деталей, цитат, ощущений, ассоциаций, казалось забытых, — но нет, ставших культурным кодом. Насыщенный и узнаваемый в запахах, вкусах и ощущениях каждым, кто прожил это время, портрет изломанных, скомканных девяностых, где так отчаянно хотелось и так болезненно не моглось найти свободу, надежду и любовь.

Мария Орлова,
организатор благотворительного
книжного фестиваля «Фонарь»
и PR-директор Мастерских
творческого письма
Creative Writing school

NoAge

18+ содержит нецензурную брань

ISBN 978-5-6054562-9-2

